Юрий Домбровский

3



собрание сочинений
в шести томах

том третий

4 5 6 * *

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

НОВЕЛЛЫ О ШЕКСПИРЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ



издательский центр
«Терра»

3

Юрий Домбровский





собрание сочинений

в шести томах

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ

ЦЕНТР ••ТЕРРА••

Юрий Домбровский

собрание сочинений в шести томах



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ••ТЕРРА••

МОСКВА 1992

Юрий Домбровский

собрание сочинений *том* **3**

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

НОВЕЛЛЫ О ШЕКСПИРЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ••ТЕРРА••

МОСКВА 1992

ББК 84.Р7
Д 66

Редактор-составитель
К. Турумова-Домбровская

Художник
В. Виноградов

Домбровский Ю. О.

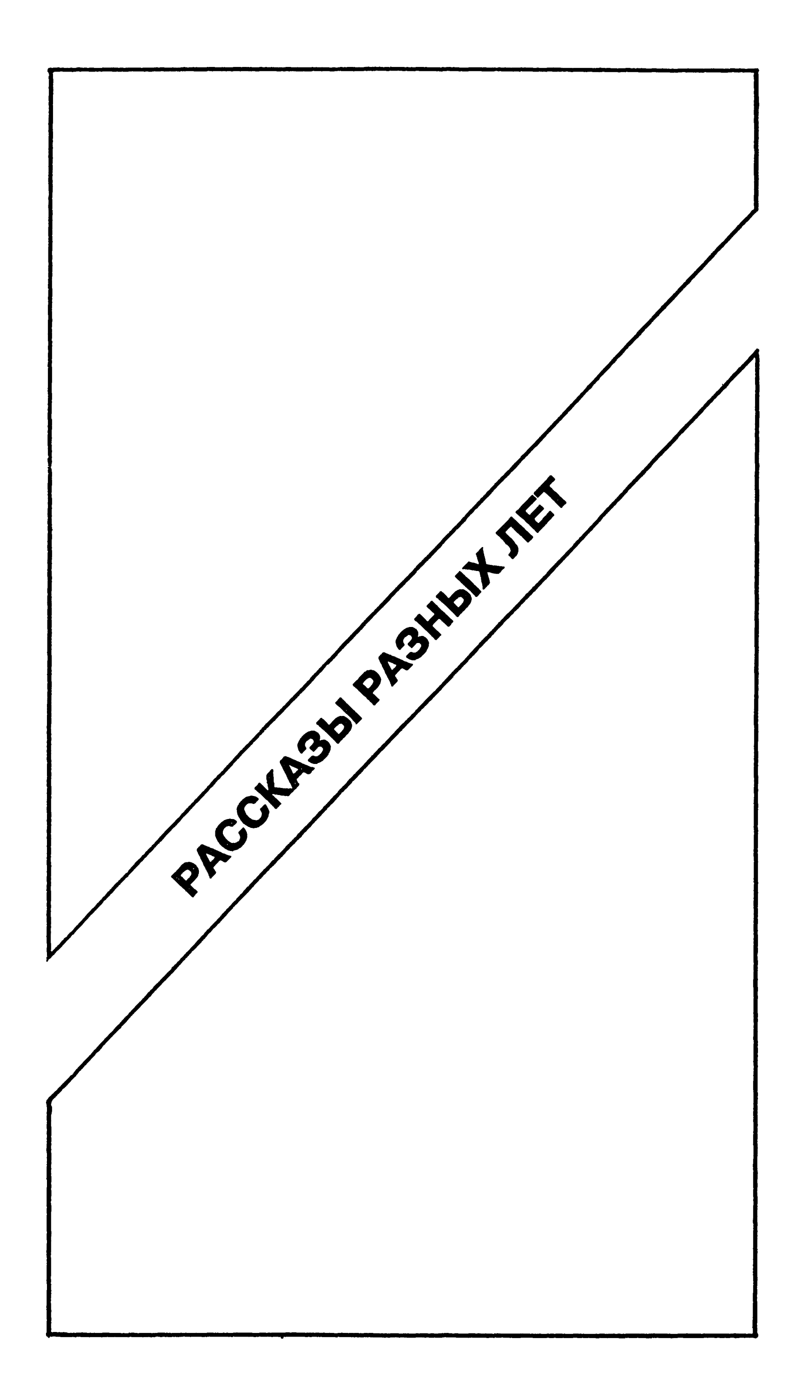
Д66 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3 : Рассказы разных лет; Новеллы о Шекспире; Приложение; Комментарии / Ред.-сост. К. Турумова-Домбровская. Худ. В. Виноградов. – М.: ТЕРРА, 1992. – 368 с.

ISBN 5-85255-233-X (т. 3)
ISBN 5-85255-173-2

В третий том собрания сочинений Ю. Домбровского вошли рассказы разных лет, три новеллы о Шекспире, объединенные общим названием "Смуглая леди", статьи писателя, посвященные великому драматургу, а также фрагменты незавершенного романа "Рассказы об огне и глине".

Д $\frac{4702010200\text{-}118}{А30(03)\text{-}92}$ **Подписное** **ББК 84. Р7**

ISBN 5-85255-233-X (т. 3)
ISBN 5-85255-173-2


РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

ТОЛЬКО ОДНА СМЕРТЬ

Убили Женьку, молодого парня, моего бывшего соседа по квартире. Убил неизвестно кто, за что и даже где. Просто ночью сзади рубанули топором и все... Он как-то сумел все-таки добежать до дому (а случилось это в темном проходном дворе, и за двором еще был сад и школа). Скончался он не сразу, а через пять дней в больнице. Убийц не назвал, причины не пояснил, подозрений не высказал. Просто умер — и все.

Это было десять дней тому назад, и вот все эти дни я не могу найти себе покоя. Хожу и думаю, и иногда вспоминаю, что-то записываю. Только вот спрашивать не спрашиваю. Просто некого мне спрашивать.

За стеной живет его молодая жена, но она давно уже жена другого. Еще через коридор, за другой стеной — тесть и теща. Но они говорят: "А мы ведь его сколько раз предупреждали", — и значит говорить мне с ними тоже не о чем. И я это знал, чувствовал, только вот предупреждать не предупреждал. Но от этого мне не легче, а много, много труднее. Нет, существует, наверно, все-таки трагическая вина. Какая-то мировая симпатия, ответственность одного человека за другого, и с этим уж ничего не поделаешь. Древние греки отлично понимали это, ведь они впервые открыли муки совести и пение Эриний (у римлян — Эвменид) — ведьм, которые пением гонят в Орестее убийцу сначала к безумию, а потом к могиле. Вот и сейчас поют они и надо мной, и над всей нашей квартирой. Но голос их, кажется, слышу только я. Поэтому, наверное, и пишу.

Впервые Женька предстал передо мной в виде черного, без единого пятнышка котенка. Принесла

его мне моя соседка — Ирина, тогда еще Женькина невеста: "Вам надо котеночка?" Котеночка мне было надо, и он отлично у меня прижился. Дня через два оказалось, что котеночек — кошка, и я подумал: "Ну, разведу я теперь у себя на пятнадцати метрах площади молодняка". Но делать было нечего, и котенок остался у меня. Сначала я не особенно обращал на него внимание — ну, котенок как котенок. Что котенку нужно? Молока налить, принести песок, вынести песок, поиграть с бумажкой, почесать шейку и все, пожалуй. Но вскоре выяснилась первая странность. Котенок не умел мурлыкать. У него иногда появлялась такая страстная потребность замурлыкать, что он весь как-то вытягивался, поводил подбородком, из него вылетали мучительные отрывистые звуки, что-то вроде шипения, но вот мурлыканья никак не получалось. Так я и показал его одной моей знакомой. "Очень странная кошка, — сказала знакомая, — очень! Просто ведьма какая-то". И тут котенок (а он лежал вытянувшись) встал, всласть зевнул, показал коралловый острый язычок, весь в серых иголочках, и пошел прямо к ней. Она взяла его на колени, посадила и стала гладить. А он сидел и смотрел ей в глаза голубыми чистыми глазами.

— Ведьма! — сказал я.

И тут котенок встал и пошел ко мне.

Так он получил кличку свою и с первого же раза признал ее. Стоило просто войти в комнату и сказать обычным голосом "Ведьма", как котенок, а потом уже взрослая, прекрасная кошка, эдакая черная пантера с шелковистой блестящей шерстью, вылезала из шкафа или прыгала со стула и шла ко мне. Но только за нами двумя она признавала право называть ее так. Другим она не откликалась. Даже "кис-кис" и то не признавала. Да и вообще, по правде сказать, не особенно-то она любила этих других.

Это была вторая особенность черного котенка.

Теперь вот третья — я узнал о ней на второй день нашего знакомства, когда до настоящей дружбы бы-

ло еще очень далеко. Я сидел за столом и что-то писал, и тут вдруг котенок — раз — и оказался у меня на плече. Я удивился, да как же он сумел так прыгнуть? Ссадил его на пол и продолжал писать. И опять — раз! — и он у меня на плече! И тут выяснилось, что он прыгает в три такта: стул, стол, плечо. А на плече подбирает хвост, сидит вытянувшийся, строгий, молчаливый, неподвижный и смотрит внимательно на мои руки — только глазенки бегают вслед за пером. Иногда же, когда молчание становится невмоготу, он легонько потрется щекой о мою щеку. Но так еле-еле — символически. Потом, когда Ведьма стала уже взрослой кошкой и черной пантерой, выдерживать мне ее было трудновато, особенно когда я писал, но я никогда ничем не нарушал нашего молчаливого сговора.

Так впервые вошел Женька в мое сознание.

А недели через две я как-то спросил:

— Ира, откуда у вас этот котенок?

И она ответила:

— Это одного парня. Он в армию ушел, — помолчала и прибавила: — Женькин котенок.

И тут я по голосу понял, кто такой ей этот Женька, хотя до этого имени его не слышал.

Пропала Ведьма внезапно. Однажды я проснулся среди ночи. Передо мной сидела Ведьма, смотрела на меня и мяукала, и как-то очень странно она мяукала, так, как никогда не мяукала днем, пожалуй, даже так, как никогда не мяукают кошки, — громко, отчетливо, полногласно: и даже не мяукала, и просто выговаривала всеми буквами: мяу, мяу, мяу. Я встал, взял ее, погладил и положил рядом. Она поворочалась, поворочалась, лизнула мне руку и сразу же заснула, блаженно вытянувшись во весь рост. А на другой день она исчезла. В нашей квартире не терпят ни животных, ни чужих детей. Но то ли ее ловили уже до этого, то ли уже уносили куда-то или отдавали в другие руки (я жил тогда за городом, домой приезжал

редко и поэтому ничего не замечал), то ли еще что было, но, кажется, в эту ночь она меня предупреждала, что ей будет худо, а я ее не понял и сказал: "Да спи, пожалуйста, ну что ты развоевалась? Все будет хорошо". И она поверила мне. А наутро я ушел и она исчезла. Так мы, по крайней мере, решили с Женькой. "Да разве в этой стороне что-нибудь уживется", — сказал он мне и ткнул в соседнюю стену.

Я очень скучал по Ведьме, искал ее, спрашивал, сулил награды ребятам, развесил даже на водопроводных трубах записочки: "Пропала черная кошка, нашедшего прошу вернуть за приличное вознаграждение" (а имя не написал, все равно не откликнулась бы). Но все мои записки были тщетными. Ее, вероятно, просто-напросто убили — так мы под конец решили с Женькой.

Ведь эта сторона, действительно, может все.

Прошло еще несколько месяцев, был день моего рождения. В этот вечер ко мне пришло много друзей. И вот в разгаре всего хорошего — гостей, шампанского, поцелуев, речей, великолепных сравнений (им никто не верит, но слушать все равно приятно) пришли ребята с нашего двора и принесли мне черного котенка. Он был еще меньше, чем тот. Но уже великолепно мурлыкал и довольно щурил зеленые щучьи глазки. Как только его положили на диван, он сразу же свернулся и заснул. Мы его назвали Крак (это из "Словаря ручной натуральной истории" Левшина, 1788 года, что достался мне по наследству. Там есть такое место: "Крак — чудовище морское, в существовании коего еще неудостоверенность... по рассказам Крак есть рак величины непонятной, обитающий в Северном море, он занимает ужасное место"). Это прозвание почему-то прилепилось и ко мне, и с тех пор кое-какие друзья мои называют в добрую минуту меня тоже Краком.

А месяца через два и приехал Женька. Он сразу же вошел ко мне, котенок спал. "Как, это все тот?" —

спросил он. — "Нет, — ответил я, — того уже давно нет". И я рассказал почему — вот тут-то он и поглядел на ту стену и сказал: "В этой стороне..." Меня поразило, что он даже не подумал, что кошка могла просто пропасть, он твердо знал: убили. А потом он спросил меня, что такое Крак. Я ему ответил. "Крак чудовище морское, о существовании коего еще неудостоверенность..." Он рассмеялся. У меня в это время был весь Эйвельманс, все три тома его криптозоологии. Я сказал: "Слушай, откуда это", — прочел я и перевел ему место о краке, а потом показал и самого крака на картинке. "Нет, ты подумай, — сказал Женька, — ты только подумай", — и начал расспрашивать. Это в то самое время, когда за стеной раздвигали стол, раскупоривали столичную, две мамы и двое пап бегали возле, а около двери топталась невеста и повторяла: "Женя, Женечка же!" Он встал с дивана, красивый, стройный, в очень ладном костюме (он был на нем просто влитый). И тут я впервые (впрочем, мы и виделись-то впервые) обратил внимание на его глаза — они были очень большие, черные и какие-то странные — не ровные, а резко сдвинутые вниз. Не один зрачок, а полтора, вот такой попадается иногда желток в яйце. Я даже оторопел на секунду, когда наши взгляды встретились. А в дверь стучала его невеста, обыкновенная сероглазая пригожая девушка, которая никак не могла понять, и чего это Женьке понадобилось в моей комнате, раз он и не видел меня ни разу. За столом сидят родственники и ждут его, а он здесь болтал со мной Бог знает о чем, о пропавшей кошке, о следах невиданных зверей, а всех сидящих за столом называл "та сторона" и еще "та сторона все может". И тут я впервые, совершенно бессознательно, но очень остро и точно подумал, что ничего ладного у этой пары не получится.

Затем была свадьба, она совпала с Первым маем, не то еще с чем-то праздничным. Впрочем, не знаю. Женька, одетый в новый костюм песчаного цвета,

восхитительно молодой, красивый, краснощекий, в ярком галстуке, в белейшей сорочке, то появлялся, то исчезал из нашей квартиры. С гостями он, пожалуй, и двумя словами не обмолвился. Уже был накрыт стол, уже сверкал хрусталь, блестели белые тарелки с золотой и синей каемочкой, уже кто-то поставил для чего-то среди бутылок серебряный молочник, уже невеста в шикарном белом платье, совершенно гладком и матово лоснящемся, сидела на своем королевском месте, а Женька все не мог успокоиться — появлялся и исчезал, исчезал на минуту и появлялся снова, прикладывался к невесте, говорил несколько слов теще — сырой полной даме с мужественным подбородком (я долго не мог понять, на кого она похожа, а тут вдруг понял: да на медведицу!).

И снова куда-то пропадал. Он был весь в движении, в кипении, в заботах, относящихся отнюдь не к свадьбе и торжеству этого дня, а к чему-то еще другому, непонятному. А потом он вообще исчез. Уже гости сели за стол и бутылки откупорили, а его все не было. Теща с мужественным каменным подбородком сидела прямая, бледная и негодующая, мать жениха ее уговаривала, и невеста то и дело вставала и выходила в коридор, чтоб отереть слезы. Никто, однако, не показывал, что свадьба с каждой минутой летит черт знает куда и что это все творится почти по Гоголю. Наоборот, все держали себя так, как будто ничего не случилось. "Жених? Да он сейчас придет! Это его мать послала за..."

Жених пришел не сейчас, а примерно через час, когда уже и шампанское раскупорили. Он был сильно навеселе, глаза блестели, галстук он сорвал, как вошел, ворот расстегнул (жарко, мать!). Чеканным шагом — ну прямо так, как в кинофильмах снимают свадьбу во дворце бракосочетающихся, подошел к невесте, обнял ее, бледную, завитую, всю скатанную из тафты и белого шелка, поцеловал и державно сел рядом во главе стола. И сразу начался шум, смех и поздравле-

ния. "Кипенье пенистых бокалов". "Горько, горько!" — кричал кто-то. Обе мамы сразу встали и с двух сторон побежали к молодым — обе с предупредительной целью. Пить жениху можно было сейчас только с опаской, уж до того нехорошо блестели глаза! Невеста то сияла, то плакала. И никто не мог догадаться, где жених блуждал столько времени. И только я понимал все и клял самого себя.

А впрочем, и я был не особенно виноват. Ведь получилось вот что. Меня послали докупить еще две бутылки шампанского. И тут, около одного из проходных дворов, я повстречал Женьку. Он стоял в группе ребят и хохотал. И все хохотали тоже. "Старик! — крикнул он мне отчаянно весело — я подошел. — Дай сотню, надо ребят угостить." Я дал. Он передал бумажку кому-то из товарищей и наказал: "Дуй в гастроном, на все — водку, а закуска вот". Закуску он стащил со свадебного стола, и она у него в газете за пазухой. "Слушай, Женька, — сказал я. — Не вышло бы чего? Там ведь гости, а ты тут набираешься, а, Женька?" Он усмехнулся как-то очень скверно и криво. "А это тебе не гости? Я с ними вырос, а вот никого позвать туда нельзя. Мать ни в какую. Не та сторона, понимаешь?" "Да ты что? — спросил я, присматриваясь, — ты уже того?" "Сто грамм, — ответил он мне. — Вот ребята поставили, а я их туда не могу и позвать. — И скрипнул зубами. — Не та сторона, черт ее побери".

Вот почему запоздал Женька, вот почему у него так блестели глаза.

А ребята были те самые, что принесли мне Крака.

А потом молодые стали жить-поживать да добра наживать. Тихо, мирно, в любви да согласии. Этого я, признаться, никак не ожидал. Наверное, с ними провели какую-нибудь воспитательную работу. Встречаясь со мной, Женька кланялся чинно, вежливо, а главное — молча. Молча подавал руку дощечкой и,

раз поздоровавшись, больше уже не разговаривал и называл не "старик", как раньше, а по фамилии. В комнату мою не заходил, даже чтобы попросить книжку и то не заходил. Работал старательно и, кажется, посменно. Приходил, переодевался и шел с женой в кино или театр. Жена тоже где-то работала, и, когда он был дома, а она на работе, он часто бегал ей звонить. Однажды мы стояли рядом в разных кабинах в переговорном пункте, и я слышал, как он спрашивал: "Когда ты придешь? Ты не задерживайся! Васек обещал прийти! Пойдем куда-нибудь". Всего этого я, повторяю, никак не ожидал, и все это меня очень радовало. Я ведь никак не мог позабыть его первые слова "о той стороне". Ту сторону ненавидел и я, и то, что она существует рядом с моей стороной и даже не рядом с ней, а внутри ее, как матрешка в матрешке или вот — как спириты помещают свое четвертое измерение в глубине наших трех, было для меня порой совершенно нестерпимо. Нестерпимо до безумия, до крика, до воя. Но ведь то я, а то Женька. Поэтому я повторяю — я искренне порадовался, что все в порядке. Особенно у меня не выходило из сознания первое впечатление от Женьки, те его страшные, расширенные, лунатические зрачки — зрачки человека, всматривающегося в темноту.

Но месяцы слагались в год, семейное счастье текло, продолжалось, умножалось, обрастало посудой, чешским хрусталем, важными знакомствами. И вот жену отвезли в роддом, и я окончательно перестал думать о Женьке. А потом мы по какому-то поводу разругались, так переругались, что даже перестали здороваться. Вот и все.

Прошел еще год, и однажды я проснулся от крика. Что-то творилось по ту сторону коридора: летели стулья, что-то дребезжало, что-то разлеталось вдребезги. Я по-настоящему испугался, я ведь знал, что для той стороны значит ее хрустальная горка: она — все: она дороже жизни, чести, всего человечества.

Я вскочил на ноги и прижался ухом к двери. И вдруг я услышал голос Женьки: "Да я тебя, такую..." — и он прибавил еще что-то нехорошее. Но тут взревел отец жены, дверь распахнулась, на пороге показался Женька, он был в одной рубашке, рукав висел, даже при очень слабом свете было видно, какое у него лицо, как прыгают губы. Рядом стояла жена, и руки ее были прижаты к груди. "Ради Бога, только ради-ради Бога", — казалось, говорили эти умоляющие руки. А сзади глядела медведица с каменным подбородком и тоже дрожала. И подбородок у нее был уже просто бабий, а не каменный и не медвежий. Это меня удивило, я тогда еще не знал, что этот человек абсолютной бесчувственности, безжалостности, обладающий железной властью, теряется при первой же опасности.

Женька стоял в дверях высокий, белый, с растрепанными волосами, похожий на ангела со стен собора: рукава его висели, лицо его было иссиня-красным, багровым. Он рванулся, хотел что-то сказать или сделать, но вдруг сильно вздохнул и стал клониться к дверному косяку. Его сразу подхватили и утащили в комнату.

Утром он на работу не пошел, а днем, когда дома никого не было, вдруг зашел ко мне.

— У тебя нет ли чего-нибудь почитать, старик? — сказал он, смотря не на меня, а на полки. — Не пошел на смену, голова что-то разболелась.

И выбрал у меня книгу — Сетона-Томпсона "Лоббо — король Курумпа".

Это книга про волка.

Ну а потом опять все наладилось за белыми закрытыми дверями, и раз там даже раздалась гитара. Только та сторона еще больше ощерилась — замками, цепочками, крюками, крючками, палками. Дверь в комнаты теперь запиралась, даже когда хозяйка выходила, ну, например, в ванную. И Ира тоже, приходя с работы, прошмыгивала мышкой, мышкой,

мышкой. Только, кажется, тесть изменился мало. А впрочем, и он перестал выходить в кухню, чтобы порассуждать о высокой политике. Что касается Женьки, он проходил по коридору с самым независимым видом и ни на кого не смотрел, глаза у него было поверх наших голов. Так актеры смотрят в зрительный зал. А вот походка у него изменилась — стала неторопливой, развалистой, даже вальяжной, "ровно ничего не произошло, — говорила эта походка, — мне стыдиться нечего, видите, как я хожу?" Со мной он по-прежнему не разговаривал. Только однажды, когда я проходил по коридору, он вдруг меня подстерег, вышел из комнаты и протянул мне Томпсона. "Нате вам вашего лобика-тобика", — сказал он очень обидно и фыркнул, потом оделся и ушел куда-то. Без жены. Пришел ночью. Пьяный. Я слышал, как его уговаривали, раздевали, ублажали, укладывали, он все время пытался что-то выкрикнуть, но ему затыкали рот, успокаивали. "Тише, тише, ну что ты людей-то будишь?" На другой день это повторилось, только с той разницей, что он пришел не только очень пьяный, но и буйный и вдруг забарабанил в мою комнату. Но прежде чем я успел подойти, его оторвали, оттащили, заперли и опять стали тихонько уговаривать. Ворковали мать и дочка, и даже отец, проходя по комнате, из передней бросил что-то успокаивающее. Надо сказать, что наших мужчин я не уважал. Их было двое, один — архитектор, даже преподаватель архитектуры в институте, другой — проводник дальнего следования. А в квартире нашей царил полный и безоговорочный матриархат. Мужская самостоятельность, мужество, честь, даже, пожалуй, совесть — все, все прахом. А ведь в свое время они оба воевали. "А где же твое мужество, солдат", — поет Окуджава. Молодежь в нашей квартире тоже неблагополучная. На три брака три развода. Было два парня — один угодил за решетку, о смерти другого я вот сейчас рассказываю. Конечно, невольно приходило в голову: да почему же так получается? Чем

особенно плохи, порочны и несовместимы с жизнью наши соседи? И тогда, все взвесив, и обсудив, и отбросив все личное, и признав все свои собственные вины, приходилось согласиться — да нет, все люди как люди, ничего уж больно плохого-то они не делают. Продукты запирать не приходится. В кастрюли никто никому не плюет. Двери друг другу не мажут. Жалоб пока друг на друга не пишут (впрочем, вот в этом-то я был не прав — пишут. "Меня женщины научили", — сказал мне архитектор, когда я прочел в милиции жалобу на себя). Так как будто не хуже мы других, а вот никак не вырастает молодежь в нашей квартире до нормального здорового роста. Нет. Никак не вырастает что-то!

Другой день я запомнил особенно хорошо. Мать и дочка, а вдобавок еще и разведенная жена посаженного мужа попытались мне сначала устроить шантаж, а когда он не удался — скандал. Шантаж был идиотский, сварганенный наспех. Он и не мог удасться. Я не скажу, что в своих чувствах ко мне они были со своей стороны уж вовсе-то не правы. Нет, я даже кое в чем понимаю их: в самом деле квартира — их цитадель, их крепость, их сторона, страна на замке. Гость тут всегда ЧП, а ко мне же валят каждый день. И они против: мы не хотим, — говорят они, — делать из нашей квартиры проходной двор. И гости у меня все им неизвестные. Паспорта у них никто не проверял, и если что пропадет, ну с кого же спрашивать. "Но ведь, дорогие товарищи, сколько я с вами живу, — сказал я как-то, — у вас ведь даже иголка не пропала. А вы кричите." А мне резонно возразили: "А когда иголка пропадет, то будет уже поздно нам кричать." Ну, тоже, конечно, верно.

Затем второй, еще более щекотливый момент. Одна из соседок, с которой мы особенно не ладили, однажды сказала мне негромко, таинственно и зловеще, смотря прямо в глаза: "Сегодня мой мальчик спросил — почему к нему ходит столько женщин?" "Черт знает что, — сказал я, действительно

ошалев. — Да за кого же тогда вас-то, свою мать, считает ваш мальчик, если для него женщина не человек?"

И третье — самое главное: почему Женька рвется в мою комнату, каким там его медом мажут, а?

Повторяю, шантаж был мелкий, поспешный, он тут же с грохотом провалился, и писать мне о нем просто противно. Но тем страшнее был взрыв страха и бессильной ярости, который обуял наших женщин — мать, дочку и соседку. Женщина с каменным подбородком — и сейчас он у нее был точно каменный — по-медвежьи вставала на дыбы и ревела: "И чтоб ни мой муж, ни мой зять, чтобы они никогда, никогда... Посажу!" И тут я вдруг понял — не на медведицу она, а на разъяренную волчицу, на Лоббо — короля Курумпа похожа. Визжала дочка, но у ней получалось жидко, дробно, много хуже, чем у матери, — еще опыта не было. Я не стал говорить, я просто захлопнул дверь у них перед носом. Кроме всего прочего, у меня в тот день ночевало два моих старых приятеля по Тайшету. Муж и жена. Как всегда во время отпуска они в эту пору приехали в Москву, чтобы работать в Ленинской.

— Что там происходит? — спросил меня муж.

— Ничего, — ответил я. — Но этого парня они, кажется, точно упустят.

А вечером Женька зашел ко мне. Мы сидели втроем и пили чай. Он остановился на пороге красный, франтоватый, совершенно трезвый и сказал:

— Здравствуйте, товарищи!

— Здравствуй, Женя, — ответил я. — Чаю выпьешь?

Он подошел и сел.

Моя знакомая налила ему стакан, и он стал молча пить и так о чем-то задумался, что даже положить сахар забыл.

— Прости меня, старик, — сказал он как-то по-особому.

— Да Господи же! — ответил я.

— Вот ты видел вчера, какие они?

— Ну, ладно, ладно, — ответил я торопливо. — Еще налить?

Он посмотрел на меня, поколебался и робко спросил:

— А вот этого самого бы, а?

Я тоже поколебался, — ведь это на меня орали из-за него сегодня утром. Ну да черт с ним, впрочем, — подумал я, подошел к шкафу и налил ему полстакана водки.

— Вот все, Женя! — сказал я строго.

Он махнул рукой:

— Да ладно, старик.

— Это вам ладно, а не ему, — ответил за меня мой гость. — Вы знаете, что сегодня было...

Он выпил водку залпом, просто влил ее в глотку и задумался.

Мы трое сидели молча и смотрели на него.

А у него было очень задумчивое и ясное лицо — не печальное, не скорбное, а именно ясное и задумчивое.

— Ты же сам все видишь, — сказал он мне вдруг.

Я ровно ничего не видел, кроме того, что все получается очень, очень скверно. Но все-таки сказал:

— Вижу, конечно. — Мне не хотелось говорить обо всей этой мути при друзьях.

— Да что ж там! — покачал он головой. — Даже котенка не пощадили. А ты человека хочешь...

Он больше уже не говорил "страна" или "сторона". Пожалуй, только в первый день знакомства я слышал от него это словечко. Но я запомнил его — это жесткая сторона. Но только ли в одной жесткости и черствости заключалась вся ее античеловечность? Мне кажется, что еще и отсутствие простой человеческой честности и переживал он, и двери запертые от всего мира, и собственничество, доросшее поистине до мании, и железный женский деспотизм, самый страшный и омерзительный в мире. И беспомощность мужчин, и многое, многое другое.

— Ну, тут кое-что зависит и от вас, — нравоучительно сказал мой гость.

Но Женька только мельком посмотрел на него и вдруг спросил меня с горькой усмешечкой:

— А свадьбу-то нашу помнишь?

Ох, еще бы мне не помнить эту свадьбу!

Попы не церемонились: все там было по принципу — скорей, скорей! Венчали Женьку буквально между двух гробов, а вообще в церкви стояло их шесть: я сосчитал точно. В них вытянулось шесть желтых и синих покойников со сложенными руками, над ними надрывались родственники, махали кадилом и пели попы, а посередине было четырехугольное пространство, и вот на нем водрузили аналой — и поставили невесту в белой фате и печального строгого жениха с опущенными глазами, а мы — хотя нас было не особенно много — просто путались среди этих гробов. Я, например, прямо-таки упирался спиной в один гроб, в тот самый, над которым плакала, ну просто разливалась какая-то бабушка: "Да милый ты мой! Да ненаглядный же ты мой! Да почему же не меня, старуху, ясный сокол ты мой..." И вдруг обернулась и зашипела на меня: "Как стоишь? Задом к иконе стоишь, нехристь! Повернись!" Я повернулся и оказался спиной к другой иконе. Ее уже держали над парой. И уже гремел "Исайя, ликуй!" и "Гряди, голубица". И розовые туфли, и белая фата, и потупленные глаза, и молодость, блеск, счастливый шепот, счастливые слезы.

А еще были белые свечи, обвитые золотой канителью.

— Ты помнишь те белые свечи? — сказал Женька. — От моей-то отгорело больше.

Я только рукой махнул. Действительно, было отчего напиться. Но ведь Женька тогда это и сделал. Я спросил его:

— Так ты думаешь, все потому, что свадьба была такая?

Он вдруг засмеялся, посмотрел на меня как на маленького и встал.

— Ладно, пойду, а то там мои...

Когда он открыл дверь, мать мимо нас шмыгнула в кухню.

Женька кивнул мне на нее и закрыл дверь.

Вот это и был самый большой и важный разговор из всех тех, который мы пробовали с ним завести. И то, как видите, он не удался.

А потом пошло все очень быстро и очень погано. Женька стал пить беспросыпно и скандалить. И каждый скандал сопровождался пиротехникой: звенела посуда, летели стекла, неуклюже, как черепахи, грохотали по кухне кастрюльки. Мать, мучнисто-белая, стояла в коридоре и так тряслась, что даже и орать не могла.

А однажды Женька пришел в час ночи и высадил парадную дверь. И ух, как тогда полетели все эти хитрые замки, крючки, крючочки, цепочки! Как они задребезжали и посыпались к чертовой матери! Крепость пала от трех ударов сапог Женьки.

Другой раз его притащили желто-белого, страшного, в широких тугих бинтах, но кровь все равно проступала и через них. Меня и до сих пор слегка мутит, когда я вспоминаю эти нежно-алые, расплывающиеся бутоны и розы на стерильно белом фоне. Женька резанул себя бритвой и руку располосовал чуть ли не до локтя. Вызывали "скорую". До сих пор Женька стоит передо мной таким, каким я его увидел тогда в мерзком свете коридорной лампочки — страшный, желтоволосый, бледный, прямой и весь в бинтах: так на старинных иконах рисуют воскресшего Лазаря. Почему-то его завели не в комнату, а на кухню, и там над ним стоял проводник дальнего следования.

— Да что ты себя все вдоль режешь! А ты поперек рук однажды полосни! — кричал он насмешливо и

радостно, и по-утиному тарахтели и гоготали две женщины — жена и теща:

— А и в самом деле, резани-ка по венам — вот будет здорово! Что? Слабо, наверно!

Да, действительно, — подумал я. — А я еще за котенка на них обижаюсь. Какой тут котенок! (К тому времени у меня пропал и Крак.)

Затем опять пошло какое-то сравнительно спокойное время. Евгения я видел теперь только изредка. Он перешел на другую работу и в другую смену. Уходил он рано утром, а я работаю по ночам, поэтому просыпаюсь поздно. Но опять как будто все наладилось. Появились белые рубашечки, отложные воротнички и новый, по-моему, теперь уже голубой с искоркой костюм. Теща, что все время стонала, охала и подходила к каждому из жильцов с жалобами (выдала дочь за алкоголика, черта ненормального, и вот мучайся) — теперь вдруг выпрямилась, выбелилась, подтянулась, помолодела и похорошела. Опять она теперь походила не на волчицу, а на медведицу, от времени до времени превращавшуюся в бюргершу, — читал я как-то одну такую немецкую сказку. Успокоилась и дочь. От матери она унаследовала страшную легкость — при самых безоблачных отношениях вдруг подсидеть тебя, подвести, подстеречь и подслушать. Подслушивать-то было у нее, действительно, страстью, манией.

И опять со мной Женька здоровался только кивком головы. И опять почему-то и как-то мы сумели походя, но все-таки очень зло поругаться с ним.

Так прошла зима. И вдруг случилось что-то новое. Вся кухня зашепталась, заулыбалась, засоветовалась, куда-то забегала. Мать с чем-то поздравляли, а она, гордо улыбаясь, отвечала с мудрой осторожностью: "Еще рано, рано, рано. Знаете, как бывает у нас?" А ее заверяли: "Да нет, теперь уже все! Все!" И как-то все семейство собралось и проследовало куда-то. Через два часа пришла мать, села в кухне на

табуретку, вынула из кармана ключи, положила их на стол.

— Ну, теперь могу сказать, действительно, все — вот они, — сказала она гордо.

Оказалось, Ире дали квартиру. Потом все ходили смотреть. Приходили, говорили, что нужен ремонт, что потолки низкие, что лестница высокая, крутая. Но самое главное: это отдельная комната. Она большая, изолированная, и ни от кого теперь не будешь зависеть.

"Да ведь все ссоры из-за тесноты и происходили, — упоенно, мягко и проникновенно говорила теща. — Только от этого! Господи, да разве мы своим детям враги? Что мы, не понимаем разве, откуда все это берется".

И все кивали головой и подтверждали: ну да, да, конечно, все от тесноты...

И я, грешный человек, тоже подумал: а ведь, наверное, и правда, от тесноты! (Я видел однажды, как два друга детства — к тому же еще вдали от дома — подрались в кровь из-за того, что их двоих положили на одну вагонную полку, это было во время войны.)

Смотреть квартиру меня не позвали. Но жили молодые через два дома, и мне каждый день приходилось несколько раз проходить мимо их жилья. Пожалуй, иначе, как жилье, это и не назовешь. Деревянный домишко еще пушкинского, вероятно, времени, очень специального назначения. Каморки, каморки, каморки — окна, окна, окна — двери, двери, двери — лестница в одну сторону, лестница в другую, несколько выходов во все стороны, пустырь! В общем, я могу себе представить, что здесь творилось раньше. Но как бы там ни было, жизненное пространство у молодых появилось. Все могло начаться сначала.

И я, грешный человек, поверил — так оно и будет.

И опять ошибся, и очень скоро понял это. У меня сидели товарищи, и мы о чем-то спорили и как всегда кричали. И тут я вдруг услышал Женькин голос.

За эти годы у меня уже успел появиться какой-то особый, избирательный слух, и его голос я иногда воспринимал даже во сне. Это, наверно, потому, что во мне все время бродила какая-то неосознанная, подспудная тревога о нем. Да и голоса моих соседей, как только они переходили в определенный настрой, я тоже воспринимал сразу. Только голоса, а не слова, конечно, но я точно знал: вот они сейчас заговорили обо мне. Между собой они ссорились иначе: страшно, тихо, сквозь зубы, закрывая двери.

Итак, я услышал голос Женьки. Мы с ним уже не разговаривали и не здоровались месяца три. И поэтому я не пошел прямо на кухню, ну, скажем, поставить чайник или хотя бы налить воды — я просто тихо вышел в коридор и встал около кухонной двери. Женька что-то кричал, и тут вдруг я услышал спокойный, приглашающий голос тещи:

— Ну что же ты не прыгаешь? Окно открыто, прыгай, пожалуйста.

Звякнули кастрюли.

Вышибая лбом дверь, я ворвался в кухню, сбил тещу, до крови расшиб себе обо что-то локоть и поймал его, как мне тогда представлялось, уже на лету. Я сам не помню сейчас, как я сумел это сделать. И вообще, можно ли схватить человека в воздухе? Да, верно, так и не было — верно, он просто задержался, увидев меня, или от страха (а он стоял, переживая миг предсмертного томления, не надеясь уже ни на что), оцепенел на секунду, ведь в следующую наверняка бы ухнул об асфальт, я ведь знаю его! Но как же не понимала всего этого теща? Не хотела же она, в самом деле, его смерти? А впрочем, если подумать хорошенько, почему бы и нет. Чем она-то отвечала? За что? Ворвался пьяный, нахамил, набезобразил, потом спьяна же сиганул в окно! Вот и все! Он и раньше же резался, карету "скорой помощи" вызывали. В случае чего, справьтесь в институте Склифосовского! Мы и день помним. Так, что ли? Или я от неприязни все это додумываю? Может быть,

может быть! Но я ведь и до сих пор без дрожи не могу вспомнить это распахнутое окно, тьму и его, распятого, на подоконнике. Ведь он не прыгал, как пловец, лицом вперед, он именно падал, падал на затылок. Наверно, чтобы сразу разлетелся череп. Он все очень здорово учел, в эти две-три секунды.

Когда я стащил его, он припал ко мне и заплакал. По-простому, по-человечески, по-мальчишески заплакал. "Ну что я сделал? — кричал он. — Ну что я сделал им? Тебе? Ну за что они..." Он цеплялся за меня в том нестерпимом страхе, который обрушивается на людей, когда смерть уже миновала (я так же кричал и цеплялся, когда меня, двенадцатилетнего пацана, вытащили из волжского омута).

Он весь дрожал, всхлипывал, исходил судорогами, бормотал что-то. Я подождал, пока он стихнет, тихонько отцепил его от себя и ушел. За него я уже больше не боялся, я был уверен — нервный заряд исчерпан. Как это у Шекспира в сцене убийства Дездемоны?

Не надо шпаг.
Тростинкой преградите путь Отелло,
И он послушно повернет назад.

Женьку подхватили и увели за двери "той стороны".

Когда я вошел к себе, все товарищи стояли около двери... "Ну что?" — спросил меня один.

А меня тоже начало трясти. Я махнул рукой и почему-то показал себе на горло. И тут один из моих гостей сказал: "Ну, на этот раз вы отделались легким испугом, а вот в следующий... Не все же тебе стоять под дверью".

А самый старый, добрый, мудрый и лучший из нас, тот, что прошел не только огонь и воду, но и Освенцим, где видел жизнь и смерть сотен людей, спросил меня:

— Слушай, а это не просто штучка? Ну вот перед женой? А?

Я покачал головой — какие там штучки!

— Что ж ты с ними не поговоришь? — спросил он с удивленным возмущением.

Я пожал плечами.

— Да кто его здесь послушает? — усмехнулся кто-то из моих гостей.

— Неважно, — крикнул тот и даже пристукнул кулаком. — И как это, то есть, не послушают? Что они, не люди? И что он за писатель, если не может убедить даже своих соседей, — и застучал на меня пальцем. — Чтоб ты завтра же... Слышь, не откладывая, завтра же...

— Ладно, — сказал я вяло. — Завтра же...

Но, по совести, что я мог сказать назавтра? Она стояла у плиты и переворачивала на сковородке котлетки, а я говорил.

— Нина Сергеевна, — говорил я ей в затылок. — Ведь вот вчера чуть не дошло до большой беды. И ведь на вас бы она свалилась, а не на него. Его бы уж сегодня и не было. С Женьки сейчас ничего требовать нельзя. Он совершенно безумный человек. Его нужно серьезно лечить. "Это еще как?" А так — поговорить с хорошим психиатром. Есть у меня одна знакомая, замечательный психиатр. Она старый друг моей матери. Вы помните, как-то она была у меня с матерью? "Я к вам в комнату не захожу, нечего мне у вас там делать." Так вот она у меня была. Она зайдет ко мне случайно в гости, я потихоньку приглашу Женьку с женой. "Да нет, вы уж мою дочку не трогайте. Очень вас прошу." И даже от котлет отвернулась. Нина Сергеевна, да ведь несчастье же будет, огромное несчастье! Разве вы не видите? "А что мне смотреть, мне смотреть нечего." Но ведь погибнет парень ни за грош. "А мне-то что! Пусть!" Ведь он дошел до последнего предела. Ему уж нельзя доверять собственную жизнь, он обязательно разрушит ее. "Водку надо меньше трескать — вот что. Мой муж пьет тоже, а ум не теряет." А он теряет, Нина Серге-

евна. Он не только ум теряет, он все теряет — страх, чувство самосохранения, дружбу, любовь, привязанность. Ему ничего не больно. "Небось головой об стенку не бьется." Да это как же не бьется? Если б я запоздал на секунду, он вчера не только бы от стенку, а об асфальт разбил бы голову.

Но все котлеты у нее уже были готовы, и она величественно повернулась ко мне со сковородкой в руках.

— И очень жаль, что помешали, пусть бы расшиб свою дурацкую башку. Не заплакали бы!

И уходит к себе мерным шагом командора.

— Тоже, защитничек у пьяницы нашелся, — говорит она на пороге своей комнаты так громко, чтобы я наверняка услышал.

А потом я уехал в Казахстан, пробыл там чуть ли не полгода, а когда вернулся, то как-то не сразу отправился к Женьке, и так прошло еще месяца два, и только тогда я узнал, что Женька развелся с Ирой.

— А живет где? — спросил я Нину Сергеевну.

— Да все в той же голубятне, — ответила она пренебрежительно.

Я знал, что Женька прописан у матери, а ордер на квартиру выписан на имя жены, и поэтому стал несколько в тупик, про какую же голубятню она говорит — про ту или про эту. Но тут Нина Сергеевна махнула рукой.

— А нам и не жалко, пусть пользуется. Мы уж так рады, что отстал от нас. Приходил, подарки свадебные требовал. Графины делили! Помните, вы хрустальный принесли? Себе взял. Я все отдала: на, уходи!

— Ну и что?

— Что? Женился. Скоро ребенок будет. Вот крестным отцом позовут, ждите!

Прошло еще несколько месяцев. Однажды я стоял в букинистическом магазине, рылся в каком-то старье и услышал знакомое и радостное:

— Здорово, старина!

Это был Женька и два его товарища. Рослые, здоровые, в таких модных рубашках, которые на танцплощадках называют "бобочками". Все трое были в преотличном настроении, притопывали, посвистывали, у всех в карманах торчали бутылки. У Женьки был в руках еще полукруг "докторской" и батон.

— Идем, старина, посмотришь, как я живу, — не сказал, а приказал он.

Пошли.

Когда-то студентом, эдак в году, наверное, 28-м в семинаре профессора М. Цявловского я написал работу о поэме дяди Пушкина Василия Львовича "Опасный сосед". Эта поэма, кто ее не знает, посвящена похождениям вот в таком развеселом доме. И есть в этой поэме такие строчки:

Вошли по лестнице высокой, крючковатой,
Кухарка мне кричит: "Боярин, тароватый,
Дай бедной за труды, всю правду расскажу.
Из чести лишь одной я в доме здесь служу."

Вот именно такая лестница была и тут: высокая, крючковатая, изогнутая. Молодец архитектор. Чтобы втиснуть ее сюда, надо было иметь прямо-таки версификаторские способности. Ведь, кажется, кроме чердачной лестницы в эту трубу ничего не уставишь, а тут сорок ступенек и две площадки. Представляю, как во время Василия Львовича его веселые друзья, да может быть, и он сам, почтеннейший и добрейший, катились по всем этим сорока. Ведь они и сделаны именно с таким хитрым расчетом. Только чуть бодни пьяного гостя пониже спины — и он, круша ребра, нос и зубы, сразу прогрохает сверху донизу и шмякнется на настил. Действительно, лестница-чудесница, клад для художников и кинематографистов.

В комнате низкий потолок, деревянные стены (вернее переборки), скрипучий пол, жидкая, и как мне сейчас кажется, фанерная дверь. Я нарочно подошел и посмотрел. В случае чего ее можно вышибить одним ударом. Стол, стул, шкаф. А в середине ком-

наты колыбелька. Девочка лет двадцати, черноволосенькая, остроносенькая, худенькая, сидела перед ней на табуретке, слегка покачивая ее ногой, и, как мне помнится, что-то шила. Услышав нас, она подняла голову и нахмурилась.

— Вот старика привел, — сказал Женька радостно. — Ты его все видеть хотела. На, смотри!

Девочка улыбнулась, отбросила шитье, встала и подошла к нам. Поздоровались. И враз стукнули бутылки — это их ребята выбросили на стол.

— Мать, что закусить дашь? — спросил Женька деловито.

— Я сегодня сома, Женя, купила, — доверчиво взглянула на него черноволосенькая и вдруг сразу захлопотала, забегала, стала доставать откуда-то и расставлять стаканчики, тарелки.

Женька посмотрел на нее, подмигнул ребятам и улыбнулся.

— Старик, — сказал он как-то очень просто, но, как мне почему-то показалось, и скорбно, — вот так мы и живем здесь.

— Да-да, — сказал я. — Ну что ж... Отдельная площадь. Ни от кого не зависишь.

А потом мы ели сома, пили, провозглашали тосты, сговаривались еще по одной, складывались и трое тянули на спичках, кому бежать на угол, потом один бежал, а двое кричали ему через перила.

— Так не забудь, "Памир"! Две пачки! И лимонад старику!

Потом мы подходили на цыпочках по одному к колыбельке, осторожно наклонялись, улыбались, шепотом спрашивали — "девочка"? И хвалили — "красавица будет". И хотя никто из нас в этом ничего не понимал, но Женька сиял все равно, хотя для вида буркнул мне:

— Да что ты в этом смыслишь, старина?

А потом вдруг ткнул в стену — "видишь"? Обои вверху стены висели клочьями, даже штукатурка осыпалась.

— Кто же этак? — спросил я.

— А женушка, — ответил Женька. — Ира! Видишь, как меня любит. Пришла, когда никого не было, и сотворила. Жену мою и такими и сякими словами, и шлюха-то ты, и негодница, и что ты про себя понимаешь? А потом влезла на кровать с ногами и начала рвать.

— Да не может быть, — сказал я ошалело.

— Спроси.

Я поглядел на черненькую. Она кивнула головой. Я хотел расспросить поподробнее, но тут принесли водку. И когда мы втроем сходили по этой ужасной крючковатой, шатучей лестнице (Женька сразу же опьянел и его уложили), я сказал:

— Ну вот уж что-что, а этого от Иры я не ожидал никак.

— Так ведь комната-то записана на нее, — ответил мне первый. — А в ней Женька с женой. Вот она и психует.

— Что ж тут психовать? — спросил я. — Ведь она по-прежнему живет у родителей.

— Любит, — ответил коротко второй.

— Так зачем же тогда развелась?

— А теща-то? — усмехнулся первый.

— Ну, тут теща, положим, ни при чем, — сурово и категорически отрезал второй. — Теща как раз со всем уже примирилась. Они и на юг вместе ездили. Тут мать орудует. Женькина мать. Она сколько раз приходила и скандалы устраивала и Женьку травила, а Женьку только заведи.

— Да что же она, ненормальная, что ли?

Он остановился (мы были уже во дворе) и с искренним удивлением посмотрел на меня. Он даже как будто не поверил, что я это сказал серьезно.

— А то как же? Форменная идиотка. А отец — тот еще чище. К нему пьяному лучше не подходи. Женька когда от них вырвался, так с полгода ног под собой не чуял от радости. Ну а потом, конечно, увидел,

куда попал! Э, да что там говорить, вы же сами оттуда!

— А Ира Женьку сначала любила? — спросил я, все еще не вполне сообразуясь со своими мыслями.

— А как же! Слышать ничего не хотела! Пока он служил, всем отказывала, только его ждала. Ну, тогда он еще это семейство хорошо не знал. И ее не знал тоже! До конца то есть не знал!

"Вот и разбери тут, кто прав, кто виноват", — подумал я и, в общем, так ничего и не понял.

Теперь я подхожу к самому тяжелому пункту моего рассказа. Начать с того, что у Женьки ничего не сладилось и с новой семьей, и он все чаще и чаще стал заходить к нам на квартиру: повидать дочку. В это время Ира еще раз вышла замуж (значит уже был развод и суд, но как-то все это прошло мимо меня). Второй муж Иры был парень что надо: широкоплечий, кудрявый, белотелый, пожалуй, чем-то похожий на молодого Кольцова. Он играл на гитаре, обожал Окуджаву, тещу звал "мамой", тестя звал "папой", а девочку "дочкой". Пил, конечно, но меру знал! С таким мужем жить можно, это не то, что сумасшедший Женька.

А тот нарочно зачастил к нам: то трешку занять, то на дочку посмотреть, то с тещей о чем-то посоветоваться. Всегда выпивший. И один раз даже, кажется, выпивали со вторым мужем Иры. Я бы, конечно, этого делать не стал, но в конце концов, если подумать, — что же особенного! — оба они хорошие парни и друг на друга сердца не имеют, отчего же не выпить? Потом пошли слухи: Женька запил так, что даже пропил кое-что из вещей, его вторая жена будто бы сбегала в милицию, и оттуда приходил участковый и пригрозил — если еще что-нибудь пропадет, ну, смотри, тогда не обижайся на себя! И велел показать подушки. Оказывается, Женька и до подушек уже успел добраться — одну продал. Потом вдруг заговорили, что Женька зачас-

тил на бега. Уж лучше бы пил, ведь что зарабатывал, то до копейки и проигрывал! Домой ничего не приносит.

А потом и случилось вот это самое.

Как-то страшно нелепо все это получилось.

Я вернулся часов в десять вечера, и тут ко мне подлетела мамуля (так у нас на квартире называют мою хозяйку — она мамуля, муж ее — папуля), даже раздеться не дала, затолкала в комнату, захлопнула дверь на замок и зашептала:

— Тише! Женька сидит на кухне, пьяный, чуть плиту не своротил, вас все спрашивает. Так что вы уж...

Я встал, чтобы пойти к Женьке, но она зашипела, замахала и запрыгала на меня.

— Не откликайтесь. Мы сказали — вы ушли и ночевать не придете.

А Женька сидел на кухне, грозил, ругался, рвался к Ире ("только на два слова, мне обязательно надо сказать ей два слова, мама"). Но у мамы уже окаменел подбородок, и говорить с ней было бесполезно. Тогда он заплакал. Он сидел на табуретке около стола и, подперев голову ладонью, плакал. Он говорил, что ему обязательно нужно сейчас же увидеть Иру. Пусть ее разбудят, если она спит. Он ей тихонько скажет эту пару слов и сейчас же уйдет. Пару слов и только. Но Ира то ли действительно спала, то ли притворялась, что спит, в общем, будить ее не стали. Тогда он опять захотел увидеть меня. Но меня, как знаете, не было, я ушел куда-то с ночевкой, мы (я и режиссер, с которым мы тогда работали) на стук его не ответили. По-человечески, пожалуй, это понять можно. Работа была безумно срочная, на все про все нам дали десять дней, да и они уже подходили к концу. Конечно, в такое время возиться с пьяным, выслушивать его откровения, крики и рыдания, а потом еще сесть с ним пить, пожалуй, это нам действительно было ни к чему.

Женька подошел к двери, постоял, послушал, постучал одним пальцем, еще постучал и ушел. Когда через час отец пришел, в кухне сразу стало очень шумно. Все обсуждали Женькино поведение, пьет, не работает, нигде его не держат больше месяца. Недавно осудили на 15 суток, а он скрылся, милиция ходила к жене и все допрашивала, где он. А жена отвечала: "Не знаю. Вы милиция, вам лучше знать." А он у матери прятался. И вот при всем этом он приходит, нализавшись, ночью и требует, чтобы разбудили Иру. Как же, сейчас, спешим!

И я тоже подивился Женьке: да, действительно, раз уж развелись, так что ж ходить еще. Никакой самостоятельности нет у парня. А режиссер, так тот еще и прибавил: вот попадет он еще два разика на пятнадцать суток, дадут 206-ю статью и из Москвы, на 101-й километр.

И все мы понегодовали, покачали головой, осудили его и решили: парень плохо кончит. Еще месяц, еще два...

Но плохо кончил он в этот же вечер. Вероятно, через минут двадцать после того, как в последний раз стукнул пальцем в мою дверь, не сказав свои последние два слова.

Какие же были они, эти слова? Этого уж никто не узнает. Покончили с ним, вероятно, сразу, просто рубанули сзади. Не по плечу, как это полагается в честной топорной драке или рубке, а подло, поперек туловища, словом, его не разрубили, как полено, вдоль, а свалили поперек — как дерево. Топор прошел через ребра, кишки, легкие, позвоночник, даже, кажется, почку. Но Женька упал не сразу, у него еще хватило сил добраться до уборной на первом этаже. Там он выхватил откуда-то таз и выскочил с ним на улицу. На пороге он и свалился. Так покатился и загрохотал, выскочили жильцы и увидели: под лампочкой лежит человек, лицом в снег, снег мокрый, багровый, талый, дымится. Перевернули — Женька! По автомату вызвали "скорую". Приехала "скорая",

2–2280

подняла Женьку и увезла к Склифосовскому. Вот и все, что известно. Ни на один вопрос, который рекомендован древними для установления истины, — где? кто? когда? с чьей помощью? при каких обстоятельствах? с какой целью? — следствие ответить не смогло. Где? — официально на пороге его же дома — но вот бродят же по переулку темные слухи, что не так это: что после удара он прополз еще метров тридцать.

Пустырь, на котором стоит его дом, — это по существу зады старого рынка. Они состоят из несокрушимо глухих цитаделей: склады, лабазы, задние стены магазинов, какие-то хозяйственные строения с железной дверью, без окон. И безлюдье. И полное ночное безлюдье, среди несокрушимых купецких твердынь этого поистине купеческого кремля. Ни фонаря, ни лампы, ни оконных проемов, только железные решетки и железные двери и нескончаемые, вдвинутые друг в друга проходные дворы. Тишина, темнота, звук глушится о камень. А рядом тут же большие, современные здания, котельная, трубы, детская площадка, великолепная школа, школьный садик, на котором летом разводятся какие-то лекарственные растения. Но все это как в футляр засунуто внутрь кирпичной кладки, так что кричи не кричи — никто тебя не услышит. Вот, говорят, там, в этом каменном сосредоточье и ухлопали Женьку. Так или не так — не знаю. Не знаю и того, пошел ли он от нас домой, или пошел дальше, туда, где его уже поджидали убийцы (или убийца?). Знал ли он их? Сговаривался ли с ними о чем-нибудь? Обманул ли? Не удовлетворил ли каких-то их претензий, или, может, просто они боялись, что он их выдаст в чем-то, — тут уж ничего не поймешь и ничего не разрешишь. Последнее время Женька, как я говорил, жил очень путано: водка, бега, драка, первая жена, вторая жена, первый развод, второй развод, дележ квартиры, какие-то товарищи, выскакивающие из углов, — топор всегда крутится возле такой мути.

Кто? Вот это, конечно, основной вопрос. Ответа на него нет, да и вряд ли будет.

Ведь милиция застала его уже умирающим.

А потом... ну, знаете, как раньше пели по дворам под шарманку:

> В больницу привозили,
> Ложили на кровать,
> Два доктора с сестрицей
> Старались жизнь спасать.

И дальше:

> Спасайте, не спасайте,
> Мне жизнь не дорога.

Жизнь Женьке, действительно, была не дорога. Ведь если бы два доктора с сестрицей и спасли его тогда, он на всю жизнь остался бы коечным инвалидом. У него ведь была разрушена вся нервная система и перебит позвоночник, разрублены легкие. Но вот что удивляет меня больше всего. Ведь помимо двух докторов и сестрицы сидел над Женькой и еще кто-то, жадно вслушивающийся в его бред. Потом один уходил, приходил другой, другого сменял третий и так всю ночь, — все они хотели вырвать из перерубленных Женькиных недр хоть что-то о его убийце, хоть намек, хоть бред какой-то, но ничего не вышло. Никаких имен Женька не назвал, ни одного намека не обронил даже. Умер и все.

И когда его тетка сообщила кому-то из группы "по делу об убийстве..." последние слова умирающего Женьки: "Тетя, что же я сделал кому плохого? За что меня так?" — главный махнул рукой и сказал без всякого выражения: "Э-э." Это явно не шло к делу об убийстве.

"И вот он мертв и взят могилой", и не только мертв, но еще изрублен, изрезан, забыт, и в нашей квартире поговорить мне о нем не с кем. За стеной живет его молодая жена, но она уже давно жена другого, еще за другой стеной, через коридор, его тесть

и теща, но они говорят: "А мы ведь сколько раз его предупреждали, что он так кончит", — и значит с ними тоже не поговоришь. Проходные дворы, где его убили, обследованы, прощупаны, сфотографированы — но так ничего и не сказали, но я все хожу по этим купеческим крепостям и школьным садикам и все смотрю: не попадется ли мне навстречу большая черная кошка с шелковистой шерстью и голубыми глазами. Не остановится ли она и не скажет ли мне "мяу".

Вот с ней бы мы уж, действительно, наговорились!

ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ

На старую дачу (на ней еще висела жестянка страхового общества "Саламандра") приехала новая дачница. Мы, ребята, ее увидели вечером, когда она выходила из купальни. Сзади бежала черная злая собачонка с выпученными глазами, а в руках у незнакомки был розовый кружевной зонтик с ручкой из мутного янтаря. Проходя мимо нас, дачница улыбнулась и сказала: "Здравствуйте, ребята". Мы смятенно промолчали, тогда она дотронулась до зонтика, и он мягко зашумел и вспорхнул над ней, как розовая птица, я ахнул, собачка вдруг припала на тонкие лягушачьи лапки и залаяла, но хозяйка наморщила носик и сказала: "Фу, Альма", — и та осеклась, так они и ушли.

Хозяйка была голубоглаза, белокура и прекрасна; собачонка безобразна, как жаба. Случилось это в 1925 году в большом яблоневом саду, километров за десять от города, возле дряхлой купальни, сбитой неизвестно кем и когда из серебристо-серых еловых досок. Вообще все в этом яблоневом саду возникало за зиму как бы само и неизвестно откуда. Даже происхождение сада и то терялось где-то в незапамятной давности, просто не то лет пятьдесят, не то лет семьдесят назад приехали сюда откуда-то люди, вскопали, очевидно, вручную, лопатами желтоватую суглинистую землю, изрезали степь участочками точно, ровно, по веревочке, настроили лубяные домики с узорчатыми водостоками из листового железа и смешными петушками-финтифлюшками, а когда все это сделали, то насадили этот чудесный яблоневый сад. Так он и возникал среди колючей степи как неожиданная прихоть природы — маленькое и прекрасное чудо ее. Идешь по степи — все пыль да пыль,

да гудящие телеграфные столбы, черные птицы с полуоткрытыми клювами на проводах, и вдруг ты поднялся на холм — и сразу же перед тобой — старинные мощные дубы, похожие на задумавшихся библейских старцев, трепещущие, быстро живущие ивы, и каждый листик переливается то серебром, то чернью и, наконец, розовое облако — яблони, вишни, груши и еще какие-то деревья и кусты со сладким ванильным запахом. Над этим местом всегда кричали птицы и носились большие черно-синие стрекозы с мутно-зелеными шарами глаз и клеенчатыми, в мелкую сеточку желтыми и дымчатыми крыльями. А какие чудесные лягушки с пикейными брюшками, только что сделанные из лучшего зеленого целлулоида водились в этих прудах! Каких ящериц мы тут ловили! Мы — это двое парней и двое девчонок! (Они были двоюродными сестрами и учились на класс выше.) Мы любили это место, которое называлось по-разному — Дубки, Головановские сады, Нагилевский лес, Дача 12-го года (в память победы над Наполеоном) — смотря по тому, о каком уголке этого малого и милого края шла речь. Взрослые, например, ходили танцевать на Дачу 12-го года, а мы купались здесь в озере Головановского сада. И хотя в саду этом было тенисто, а в густом вишеннике порой даже сыровато (его почему-то никто не прорубал, и, разрастаясь, он дичал и хорошел все более), жара здесь все-таки стояла степная, сухая, изматывающая. Поэтому мы почти весь день, от зари до зари, проводили у пруда. Не в купальне, нет! Она всецело принадлежала взрослым, они выстроили ее для своих, не особенно понятных нам надобностей — а прямо под ветлами, на гребне обрыва или в большой глинистой пещере, в крайнем случае на мостках. Мостки эти стояли на хорошем ровном месте, с них отлично было нырять и показывать, где тебе с головой, а где с ручками. А затем мы были еще и учеными людьми и собирали коллекции — ловили бабочек, стрекоз и огромных жуков-водолюбов. У меня же было совер-

шенно особенное, ответственное задание. Однажды мой дядя Александр Алексеевич, узнав, чем мы занимаемся, вдруг удовлетворенно сказал:

— Ага, значит, ты мне понадобишься! — И привез из города банку формалина с притертой пробкой.

— Вот чем эту дрянь таскать, — сказал он, — принеси мне гадюку!

Я обомлел:

— Какую гадюку? Зачем? Она же ядовитая?

— Дурак, — улыбнулся он, — ядовитая змея — это красиво! Я поставлю ее себе на стол. Сделаю группу: гадюка заглатывает лягушку, понимаешь? Принесешь — получишь рубль.

Рубль — деньги, конечно, немалые, но заработать их мне так и не пришлось — змей в наших местах не то не было совсем, не то было так мало, что они никогда не попадались нам на глаза, и, сколько мы с Верблюдом ни шарили по пещерам (мы все почему-то были убеждены, что змеи живут в пещерах, — смотаются так клубком, лежат и шипят), так ничего и не принесли. Тут надо оговориться: поймать гадюку — это было не только поручение, почетное для настоящего мужчины, но и строго доверительное, так внушил мне дядя. И понятно почему: если бы бабушка узнала, какое мне дал задание дядя, шум был бы на все Дубки. Я добросовестно держал все в великой тайне, но тут меня подвел Верблюд. Верблюдом его звали за меланхоличность, широкую кость и неуклюжесть. Он всегда путался в своих руках — непомерно длинных и угластых — и не знал, куда их девать. Свою нелепость он сознавал сам и, наверное, поэтому каждое новое знакомство начинал с предложения: "Давай соткнемся любя до первой крови". А когда дрался, то крутил кулаками перед носом и сам не бил и другому не давал ударить. Так вот этот Верблюд взялся мне помогать, потому что тоже хотел стать ученым, — и протрепался, чем мы занимаемся по вечерам, Борису Козлу. А Козел был дух, заводила, первый насмешник, и он мне устроил такой но-

мер, что после надо мной грохотал весь пруд: прибежал к старшей из сестер — Нелли, с которой мы дружили, так что она была отчасти в курсе всех наших дел и знала, что мы для чего-то ловим змею, влетел, гад, как оглашенный и страшным сипом прохрипел:

— На пруду Ученого змея ужалила! Лежит, а кровиш-ши, кровиш-ши!

Неля, красивая высокая армянка с двумя иссиня-черными косами и тончайшим золотым загаром на удлиненном византийском лице, побледнела, но не растерялась, подбежала к домашней аптечке, выхватила оттуда бинт, пузырь с йодом, склянку со спиртом и, не ожидая Козла, бросилась на озеро. А на озере уж никого не было, потому что вечерело, собирался дождь и только ветер гулял и гудел в пустой купальне. На мостках сердитая старуха Горинова полоскала какую-то голубую тряпку. Увидев Нелю, она сказала:

— Что, лунатик на тебя, что ли, нашел? Бежишь как лошадь! А мостки-то гнилые, я и то чуть не провалилась.

— Тут мальчик где-то, — сказала Неля. — У него с ногой что-то.

— Нет твоих мальчиков. Все в кино повалили, — ответила старуха. — Вот подержи-ка покрывало! Так! Ничего! Чисто! Только не надо его было в кипятке мыть, а то видишь, тут грязь заварилась. И все равно как новое. Покупали Катиной матери, а теперь Катя сама будет под ним спать. Вот что значит настоящая вещь!

Так мы узнали, как звать нашу дачницу и к кому она приехала. Дня через два выяснились и другие подробности — она племянница старухи Гориновой, балерина из Москвы. У нее сейчас в комнате висит большое зеркало — так она вырядится перед ним и танцует. Зимой она будет играть Царевну-Лебедь.

Когда я услыхал о Царевне-Лебеди, мне сразу стало тесно и трудно дышать.

— А богатая, — сказал Верблюд. — Зонтик кружевной, одна ручка что стоит.

У Бориса Козла, что сидел рядом со мной, заблестели даже веснушки. Был он рыжий, верткий и верно похожий повадкой и лицом на драчливого козленка, поэтому его так и звали.

— У-у, — сказал он азартно, — что там зонтик! А сколько у нее платьев, ты знаешь? — И осекся, соображая, сколько же — три или тридцать три? — И все как одно, ненадеванные, а танцует голая, только на шее жемчужина на цепке болтается.

— А ты откуда знаешь? — спросил я злобно.

— Хм, подумаешь! — У Бориса это всегда отлично получалось. — Я еще и не такой ее видел!

— Как же это? — спросил я, и у меня заломило под ногтями.

— Да подумаешь! — он встал и зло сунул руки в карманы. — Знаешь, у Горничихи яблоня против балкона? — спросил он в упор.

— Ну!

— Вот тебе и ну! — он сразу успокоился и сел. — Разденется и волосы распустит до пола, а вся голая! — Но тут ему стало самому неудобно, и он хмуро добавил: — Так только, у пояса что-то черненькое.

А Борис врал:

— Она седни остановила меня и спрашивает: "Скажите, мальчик, ландыши здесь растут?" А я ей: "А вон в Нагилевском лесу, там их много около оврага". А она: "Я туда дороги не знаю. Вот если бы вы меня туда проводили!"

— Ну не мечи, пожалуйста, — возмутился Верблюд.

— Я? Мечу? — Борис даже захлебнулся. — А хочешь знать, я с ней уже гулял!

— Где? — спросил я быстро, чтоб поймать.

— "Где, где"! — Он машинально выругался. — Возле речки лилии рвал.

Я хотел сказать ему, что все-то он врет, не такая она, чтоб ходить с ним, рыжим Козлом, за лилиями,

да и нету их, лилий-то, мы вчера сорвали последние, но перебил меня Кудрин, самый старший из нас. Он сказал почтительно и тихо:

— А хороша она, так хороша!

И мы сразу примолкли. Словно пролетел тихий ветер и сдул с нас всю мелочь и шелуху. Даже Борису расхотелось врать про лилии — так в первый раз я подумал о женщине и красоте ее.

Прошло еще два дня. Стояла такая жара, что воздух струился, как вода. Земля горела и трескалась. Нежные синие цикории выгорали и становились голубыми, и белыми, и даже почти розовыми, как китайский фарфор. Дачницы мы больше не видели — было слишком жарко, чтоб заходить к пруду. И вот меня вызвал дядя и предложил снести записку.

— Куда? — спросил я.

— Ты дачу Гориновых знаешь? — спросил он, что-то соображая. — Ну так вот... — Но я уже понял все, выхватил записку и побежал... — Да стой же, малахольный! — крикнул он мне вдогонку. — Кому же ты ее отдашь? Старухе, что ли? Отдашь ты эту записку — вот тут написано: Катерине Ивановне — и попросишь ответа, понял?

— Понял, — ответил я.

— Иди, ничего не напутаешь, получишь четвертак. — Он оглядел меня с ног до головы. — Стой, надень ботинки. Она артистка, ей таких хулиганов показывать не приходится. И причешись. На расческу! Руки покажи! Иди мойся!

Как бы там ни было, но через десять минут я стоял у калитки и стучал носком в перекладину. Сад был обыкновенный, дачный, по бокам дорожки стояли пыльные серые мальвы, и красные солдатики ползли по ним. Я стучал, стучал, пока не вышла старуха и не спросила, что мне нужно. Я сказал.

— Давай, я отдам, — сердито приказала она.

Я ответил, что нет, только лично.

— Ну тогда уходи, — сказала старуха спокойно. — Ее нет!

— А где?.. — осмелился я.

— А я почем знаю? — прикрикнула она, и я понял, что ее действительно нет, — иначе бы разве старуха стала бы так кричать.

Но где же она? Неужели пошла за две версты к пруду? Было так жарко, что даже и птицы не пели, только трещала в воздухе голубая и красная саранча. Старуха была румяна и желта. Острые ключицы так и ходили под бурым старушечьим платьем.

— Да ты чей? — спросила она, присматриваясь ко мне.

Я сказал. Тогда она молча открыла калитку.

— Иди, — приказала она и крикнула: — Катя, Катя!

Залаяла собачонка, и из-за угла дома вдруг появилась она.

Она была босиком, в халате, зашпиленном на поясе двумя английскими булавками, через плечо висело голубое мохнатое полотенце.

— К тебе, — ткнула в меня старуха и ушла.

Она стояла передо мной, доверчиво и просто смотря мне в лицо. Я растерянно молчал.

— Здравствуйте, — сказала она, улыбаясь.

Тут я, на горе, вспомнил все московские уроки, встал по стойке "смирно", ткнул руку дощечкой и сейчас же опомнился и вспыхнул, но она ничего не заметила, серьезно приняла мою руку, пожала и спросила:

— Вы ко мне?

Я сунул ей записку. Она взглянула на адрес и сказала:

— Так пойдемте ко мне.

И вот я сижу у нее в комнате, а она стоит рядом, положив руку на спинку моего стула, читает записку и улыбается.

— Хорошо, — говорит она и кладет ее на стол.

— Просили ответа, — напоминаю я.

— Ответа? — на секунду она перестает улыбаться. — Ну хорошо, сейчас. — И уходит.

Собачка, что лежит на тахте, бурно вскакивает и бежит за ней, но она из коридора говорит: "Лежать!", и та возвращается, подходит ко мне, выкатывает на меня свои выпуклые рыбьи глаза, но вдруг примирительно и виновато бурчит и укладывается возле моих ног. Я осматриваюсь.

На стене полочка из красного дерева с горкой слоников и вторая с книгами, вешалка, покрытая простыней — виден край зеленого платья. Тахта под грубым синим ковром, стол, на столе вазочка с лилиями — вот и все.

Она быстро входит в комнату, в руках у нее голубой конверт-секретка.

— Вот! — говорит она. — Передайте и поблагодарите.

Секунду мы молчим. Я беру картуз. Собачонка поднимает рыбью голову и что-то сонно бормочет.

— Альма? — удивляется она. — Как, вы уже познакомились? — и целует ее в клеенчатый нос, от этого меня сразу бросает в пот.

Потом они провожают меня до калитки, и собачонка уже танцует вокруг меня. Моя новая знакомая отпирает калитку и вдруг спрашивает:

— Вам уже сколько?

— Четырнадцать, — отвечаю я и привираю на два года.

— О-о, — говорит она с уважением и сразу становится очень серьезной. Потом крепко пожимает мне руку и желает: — Счастливого пути!

— Прощайте, — бормочу я.

— Нет, до свидания, — значительно поправляет она. — Мы же еще будем встречаться, да?!

До дома я несусь галопом, смеюсь, задыхаюсь и никак не могу понять: что же со мной сейчас случилось?

"Так началась любовь и недетское с нею желанье, так в четырнадцать лет к нам томление страсти приходит" ***(Из Немесана)*.**

И это-таки была настоящая любовь. Я посвящал ей стихи и видел ее во сне. Такое снилось мне, например. Пруд. Она лежит на мостках бледная, с закрытыми глазами — льет вода, в волосах у нее ряска, а я стою над ней на коленях и делаю ей искусственное дыхание, ее руки и тело поддаются всему, что я хочу и вообще она покорна.

И еще снилось мне другое, уже почти совершенно непонятное и странное, во всяком случае пришедшее неведомо откуда. Снилось мне море. Где я его мог видеть? Когда, в каких кинематографах, на каких полотнах? Трех лет от роду мы, правда, жили одно лето на окраине Мариуполя, и я помню вялые мутнозеленые азовские волны, берег, усеянный крупной белой галькой в черном мазуте, пыльные акации. Но как все это не походило на то, что вдруг начало мне являться каждую ночь. Это и могло быть только во сне. До горизонта вдруг развертывались ослепительная теплая гладь и голубевшее небо. И вот мы вдвоем — я и она — заходим в этот простор, и море тихое, ласковое, необозримое несло нас то туда, то сюда, то вверх, то вниз, и качало, и баюкало, и обдавало ласковыми брызгами, и держало на себе. А она — Катя, Царевна-Лебедь, прекрасная племянница страшной старухи Гориновой, крепко держалась за меня, за мой пояс и шею, потому что была сама беспомощна, бессильна и не умела плавать, а я ее нес, качал, держал на руках, опекал, учил лежать на воде. От этого качания, полета и жуткой сладости я всегда вдруг под конец просыпался.

Я просыпался и лежал с открытыми глазами, бессмысленно вперясь в темный или светлый потолок, и каждый раз далеко не сразу понимал, что все это только сон, бред, а вообще нет ничего, кроме ночи, лая собак и узкого топчана. Потом уж, когда все

кончилось, — мне рассказали, что бабушка в эти ночи по нескольку раз подходила ко мне, стояла, смотрела, вслушивалась и сокрушенно говорила:

— Вот еще беда этот пруд! Опять перегрелся на солнце. Ведь так и до солнечного удара недалеко!

А говорить с ней мне пришлось только однажды. Мы встретились у пруда, я только что снял с крапивы большую перламутровую бабочку с вырезными крылышками (такой у меня еще не было) и нес ее на ладони. А она шла со старухой с озера и остановила меня:

— Ой, откуда у вас такая прелесть?

Я жгуче почувствовал себя каждым сантиметром: босыми ногами в мальчишеских цыпках, люстриновыми штанишками в грязи и заплатах, стриженной ежиком головой; на ней же царственно сияло все — грушевидные серьги, кольца, часы-браслетка — все из белого металла, платье почти такого цвета и выреза, как эта бабочка.

— Она уже не дышит, — сказала она. — Смотрите, тетя, какая красавица!

— Там их, на крапиве! — ответила старуха.

— Зачем она вам? — спросила моя любовь.

Я ответил, что для коллекции.

— А-а... — Она взяла мою грязную ладонь и стала на нее часто и жарко дышать, и тут случилось чудо. Мертвая бабочка вдруг раскрылась и поползла боком.

— Смотрите! — крикнула она. — Ожила! Слушайте, давайте ее отпустим!

Я кивнул головой, она осторожно сняла бабочку с моей ладони и посадила на лист лопуха.

— Живи, маленькая! — сказала она нежно. — А марки вы собираете?

Чтоб не огорчить ее, я кивнул головой.

— О! — обрадовалась она. — Так я вам дам замечательную марку, вроде этой бабочки. Вчера нашла ее

в Джеке Лондоне. Это Виктор, наверное, забыл, — повернулась она к старухе.

— Опять не забыть бы опустить ему в городе конверт, — равнодушно ответила старуха.

— Я пришлю ее вам сегодня же с Александром Алексеевичем, или знаете что? — Она улыбнулась. — Приходите ко мне сегодня вечером.

Я покраснел, потупился, молчал.

— Стихи мне свои, кстати, прочтете!

Ну зачем ей было говорить про мои стихи? Как она не понимает, что испортила все.

— Не пишу я их, — буркнул я.

— Да? — сразу согласилась она. — Ну тогда просто приходите, так, в гости. Придете?

Я кивнул головой.

— Так до свидания, — сказала она ласково. — Буду ждать.

Я не пошел к ней. Через три дня дядя принес и положил мне на стол желтую треуголку Мыса Доброй Надежды.

— Кавалер, — фыркнул он и засмеялся.

Два слова о дяде: ему не так давно стукнуло 30. Он был высок, развязен, красив, чисто брился и то отпускал, то снимал бакенбарды, то носил, то снимал сверкающую кожаную куртку. На своем веку был он и вольноопределяющимся, и прапором, и комиссаром полка, и археологом, и агрономом, и судьей, а в конце концов стал главным лесничим. Тогда ему дали эту куртку, болотные сапоги с ремешками и новый браунинг. Вот со всем этим он и покорил мою любовь. Почти каждый вечер мы видели, как они проходили по саду, выходили за фигурные ворота и шли степью к Нагилевскому лесу.

Собачку с собой они не брали, дядя шел упругой походкой, кавалерийской, такой, какой он никогда не ходил дома, в левой руке его болтался стек, иног-

да он останавливался и быстрыми резкими ударами стряхивал пыль с сапог. Она шла, слегка откидывая голову с уложенными волосами, поднимала руки и оправляла их с боков и на затылке. Дядя был в глухой защитной форме, простой и мужественный, она же иногда в голубой шелковой блузке, иногда в белой, но чаще в широком платье-халатике с соскальзывающими рукавами. Тогда становился видным розоватый загар, изнизанный легкой голубизной. Проходя мимо нас, она улыбается, машет рукой и звонко говорит:

— Здравствуйте, ребята!

Мы хором отвечаем:

— Здрасьте, Катерина Ванна!

А когда они исчезают за воротами, рыжий Борис задорно поет:

Ты куда ее повел,
Такую молодую?

Песня соленая, но дяде она льстит, он вообще нескромен, любит покрасоваться и расцветает, когда дед ему выговаривает:

— Эх! Снесут тебе, подлецу, голову, за твои дела! Ну что ты зубы скалишь, как дикий конь? Ты встал, да и пошел, а она куда?

Тут дядя завихляет, размякнет и начнет оправдываться, но так, что дед (он строг и справедлив, но наивен) плюнет и скажет:

— И слушать-то мне твои пакости противно. И за что вас, таких кобелей, бабы любят? Ни кожи, ни рожи! Одни сапоги!.. — И махнет рукой, чтоб не согрешить словом.

Но бабушка, дворянка и институтка, думает иначе. Я слышал, как она, то и дело оглядываясь на меня и понижая голос, рассказывала соседу:

— И каждый день, каждый день, как свечереет, так к нему и бежит, — еще оглядывается на меня (а я будто бы сплю) и прибавляет: — И собачку перестали с собой брать.

После этого разговора я стал избегать дядю, а когда он снова дал мне записку, я передал ее Верблюду, а сам остался в кустах.

Верблюд вернулся через десять минут и протянул мне ответ.

Мы пошли по дороге.

— Она про тебя спрашивала, — сказал он.

Я схватил его за руку.

— Говорит: "А где ваш товарищ?" А я: "Он болен, лежит". — "А что такое с ним?" — "Да так, мол, простудился". А она подошла к столику, взяла коробочку. "Вот передайте ему, пусть поправляется". — У Верблюда в руке зеленая коробочка с шоколадным драже.

Мы молчим и смотрим друг на друга.

— Она хорошая, — вдруг страстно говорит Верблюд: — И что она с твоим дядей путается! Ну что он ей?!

А вечером меня дядя строго спросил:

— Так кого ты послал к Гориновым?

Я сказал.

— А у самого что? Ноги отнялись?

Я молчал и грыз заусеницу. Он подошел вплотную и приказал:

— Чтоб больше этого не было! Записку ты должен передать только лично — понятно?

Я кивнул головой.

— А что это еще за глупости — болен! Чем это ты болен, разреши тебя спросить?

— Ты женишься на ней? — спросил я внезапно сам для себя.

Он как будто нахмурился и спросил не сразу:

— Это кто тебе сказал?

— Говорят, — вздохнул я.

Он помолчал, подумал, покачал головой, вздохнул тоже и вдруг стал томным и изысканным.

— Видишь ли, дорогой мой, — сказал он совершенно новым для наших отношений ласковым и

возвышенным тоном, — она красавица, известная балерина... по горло в деньгах... У ее ног... Да, мой милый, — тут он засмеялся, а я понял, что все-то он мне врет. — Не знаю, не знаю, я еще ничего не решил.

Я стоял и молчал.

Непередаваемое неудобство было не в словах, а в самой возможности этого разговора. Я еще не понимал, почему и откуда это чувство, отчего мне так неловко, но твердо знал, что оно правильное, справедливое, и мне от него не уйти.

Понял это и дядя, он заторопился, посмотрел на часы и, бормоча что-то, выскользнул из комнаты. А я вдруг прямо пошел к зеркалу. Неуклюжий парень со стриженой головой, толстым лупящимся носом и оттопыренными ушами, красный и обветренный, стоял передо мной. Невозможно было поверить, что это и есть я.

Вот оба эти чувства вплелись в мое отношение к ней, и я потерял голову и не знал, что же мне с собой делать.

Семь бед — один ответ, через два дня я подкараулил их в Нагилевском лесу, когда они целовались. И все было так, как в моих жестоких снах, только меня-то не было с ней... Он сидел на болотной кочке, на плаще, она лежала у него на коленях с полураспущенными волосами.

Меня поразило ее лицо — оно ослабло, распустилось, ушло в туман, только глаз она не закрыла, и они светились по-прежнему.

Тут подо мной затрещал можжевельник, и она быстро вскочила. Я помертвел и припал к земле.

Она подошла к самому кусту, поглядела, постояла, ничего не увидела и отошла. Затем они заспорили.

— Нет, — сказала она вдруг очень твердо.

Когда я поднял голову, она уже сидела и пудрилась, а дядя ходил по поляне.

— Но почему, почему? — спрашивал он страстно. — Сто раз я тебя спрашиваю, и ты...

— ”Вас, вы”... Александр Алексеевич, ведь сегодня-то мы не пили на брудершафт.

Он зло махнул рукой и заходил по поляне.

— Но почему же, в самом деле? — спросил он, останавливаясь перед ней.

— Ну оставьте! — приказала она так коротко, что он ошарашенно замолчал.

Я лег на мокрый, как половая тряпка, мох и продолжал слушать. Теперь она сидела, обхватив руками колени и откинувшись на ствол ели. Розовый зонтик лежал рядом, — она была в чулках, и одна пятка у нее уже позеленела.

— А вы ведь не должны на меня обижаться, — напомнила она о чем-то.

— Да, да, — недовольно отмахнулся он. — Помню, помню.

— Ну вот и хорошо, — она вздохнула. — Сядьте! Терпеть не могу, когда вы такой.

Дядя еще раз прошелся по поляне.

— Сядьте! — приказала она.

Он что-то прорычал.

— Ну?!

Он подошел и сел. Она высоко подняла руку, рукав упал, и я увидал ямку, полную голубизны и золота.

— Зло-ой! — сказала она, кладя ему руку на голову. — Ух, какой зло-ой! Как моя Альма! И волосы-то, — она стала перебирать их и пощипывать, — жесткие, цыганские!

Тут он вдруг вскочил.

— Но ведь это же глупо! — закричал он. — Я же вас люблю, а вы...

— Тише, тише, — сказала она, улыбаясь. — Ну?! Ну же! Я опять могу испугаться. Вы слышите меня, Александр Алексеевич?

Он только мотал головой и скрежетал. Она вдруг быстро вскочила, подошла к туфлям, вытряхнула и стала надевать. Он сразу же осекся.

— Катя, — сказал он пересохшим голосом.

Она надела вторую туфлю и подняла зонтик и сумочку.

— Ухожу, — объявила она.

Он взял ее за руку.

— Ну, я больше не буду! — сказал он потерянно.

Она ничего не ответила и пошла. Он побежал и схватил ее за руку.

— Пустите! — приказала она.

Он что-то быстро бормотал.

— Да ну пустите же! — приказала она и так по-бабьи грубо, что мне даже стало не по себе.

Он вдруг рухнул на колени и обхватил ее у пояса и что-то молитвенно забормотал. Она молчала. Он схватил ее за руку и припал к ней. Наконец она наклонилась и подняла его.

— Ох, Александр, Александр, — сказала она мягко и устало. — Я уж так этим по горло сыта, так сыта... Ну пойдемте сядем.

Она пошла, он молча и пристыженно следовал за ней. Она снова села на плащ, и дядя встал на колени, снял с нее туфли и аккуратно сложил.

— Ну, — сказала она. — Продолжаю слушать, — и неожиданно перебила себя: — За все надо платить, Александр Алексеевич, а за... — Она что-то замедлила: — За такие отношения особенно. Вы уговор-то помните?

— Да, но...

— Ну вот и все, — упрямо сказала она. — Когда я захочу, так ведь? А за ваши... — она опять поискала слово, — штучки я буду опять брать Альму. Вот вам! Дайте-ка сумочку!

Он подал. Она достала круглое зеркало и протянула ему.

— Посмотрите, на кого вы похожи! Хорош? Ну то-то! Итак, через два года вы снова попадаете к этой женщине и остаетесь у нее. На этом мы остановились? Слушаю дальше.

Я повернулся и, лежа на брюхе, пополз назад. Зачем мне было слышать об этой женщине? Мне и так все было ясно!

Три дня я бегал от всех и отсиживался в гадючьей пещере. И ничего мне так не хотелось в то время, как чтобы я наступил на настоящую гадюку и она меня обязательно ужалила. Я знал наизусть и "Песнь о вещем Олеге", и про смерть Клеопатры, и мне нужно было что-то такое же громкое и смертоносное, мирящее меня со всем миром. А прежде всего с ней. И пусть бы меня ужалила тут э́та черная, гробовая змея пушкинская. Я бы, верно, упал, меня бы затошнило кровью, и я валялся бы вот тут, среди этих корней, бледный, черный от яда. И так, как уж было один раз, но уже не понарошке, а по-настоящему прибежал бы рыжий Козел и крикнул на весь поселок: "У стариков Крайневых внука гадюка ужалила!" И она бы пришла первая. И сказала бы моему дяде такое...

В пещере, где я лежал, было сыро, спокойно и темновато, то есть, пожалуй, не темновато, а просто на всем лежали какие-то похожие на плесень скользкие голубые сумерки и сильно пахло землей и грибами. Во все стороны торчали корни, всякие: и прямые, и кривые, и толстые, и тонкие, и черные, и белые, и бурые, и словно покрытые ржавчиной, а на ощупь извилистые и мускулистые, как змеи. Я украдкой тянул к ним руку и думал: "А может, и в самом деле медянка? Она же рыжая". И один раз мне показалось, что корни зашевелились, поползли, я ясно даже помню ощущение ледяной чешуи, скользнувшей мне по лицу. От страха и омерзения я дернулся в сторону и больно ударился о корень, торчавший прямо над головой. Боль была такая, что я с минуту пролежал неподвижно, а потом, весь сотрясаясь от холода и озноба, вылез наружу и на секунду как будто ослеп от открытого яркого солнца. А когда открыл глаза и посмотрел прямо, увидел перед собой

Нелю. Она сидела на траве, согнув под себя ноги, и возилась с цветами. Цветы лежали около нее, их была целая охапка — золотые курослепы, аккуратные кремовые маргаритки, нежные маркие лекарственные ромашки, у которых никогда нет белых лепестков и которые пахнут лимоном, и, наконец, огромные фиолетовые колокольчики с четко выкроенными узорными лепестками. Она брала все их по одному за стебелек, осматривала и откладывала. И была так углублена в это занятие, что, кажется, ничего, кроме цветов, и не видела. Но только я взглянул на нее, как она сказала:

— Тебя Катя ищет.

У меня от неожиданности даже сердце екнуло. А потом я подумал: ”Как Неля может передавать мне этакое? Именно Неля”. Это первая мысль. За ней другая: ”А почему же, собственно, нет? Кто она мне? Что стоит между нами? Мной и ей? Ей и Катей, Катей, Нелей и мной?” Но, очевидно, все-таки что-то стояло, потому что я почувствовал, что покраснел, и, ничего не расспрашивая, буркнул:

— Спасибо, — да и пошел.

— Только слушай, ты сейчас иди! — крикнула она мне вдогонку. И я не почувствовал в ее голосе никакой скованности. — А то не застанешь, она вечером в город собирается.

Тогда я остановился и спросил:

— А где ты ее видела?

— Да они ведь через забор от нас живут, — улыбнулась Неля. — Я вышла, а она и говорит: ”Если пойдете на пруд, скажите, чтоб обязательно зашел. Только я вечером в театр уеду, так что до пяти”.

— Ладно, — снова буркнул я и опять было пошел, но вдруг совершенно неожиданно для себя обернулся и сказал: — Скажешь, что меня не видела, поняла?

Она так замешкалась, что даже цветы уронила, посмотрела на меня удивленно и сказала, спадая с голоса:

— Хорошо, скажу.

А я повернулся и зло, откровенно прямо пошел через сад на дачу Гориновых.

Она сидела за столом в саду, шпилькой чистила вишни, пальцы у нее были багровые, и выше локтя на мякоти руки виднелись острые кровавые брызги. На ней было жемчужно-серое платье с короткими рукавами.

Когда я подошел, она посмотрела и не улыбнулась.

— Садитесь, — сказала она сдержанно. — Поставьте эту корзину на стол и садитесь!

Я сел. Она ловко дочистила вишню и швырнула ее в медный таз.

— Вы очень нехорошо поступили со мной, — сказала она.

Я пробормотал какую-то невнятицу.

— Подглядывать вообще нехорошо, а в таких случаях уже совсем не годится.

— Я собирал ландыши, — пробормотал я очень жалко.

— Очень может быть, — согласилась она сухо и почти таким же тоном, какой я слышал от нее в лесу. — Но, увидев в лесу меня, вы должны были подойти ко мне или же, если не желали встречаться, уйти.

Она сказала "ко мне", а не "к нам", и это почему-то меня обрадовало.

— Простите! — пробормотал я.

Она зачерпнула пригоршню вишен.

— Это хорошо, что вы не запираетесь, — похвалила она. — Видите, я ничего не сказала вашему дяде и даже сделала вид, что ничего не заметила, но... — Она заглянула мне в глаза. — Ведь вот, наверное, вам самим неприятно, правда?

Я кивнул головой.

— Ну конечно же! — Она помолчала. — Когда мне было двенадцать лет, — проговорила она, слегка мор-

ща лоб, — я была так же любопытна, как вы, и подсмотрела то... ну, одним словом, то, что мне не полагалось видеть. — Она помолчала. — У вас нет старшей сестры? — спросила она вдруг.

Я покачал головой.

— Вот и у меня не было старшей сестры, и мне было очень, очень нехорошо. Подождите, у вас плечо в паутине.

Она подошла, отряхнула меня ребром ладони и вдруг двумя прохладными, длинными пальцами взяла за виски, повернула к себе.

— Я спросила вашего дядю про вас, и он сказал, что уже три дня, как его не видно, не то, говорит, с товарищами подрался, не то, верно, заболел.

От ее голоса, голубого сияния наклоненных ко мне глаз, от ее прикосновения и доверия — от всего этого вместе мне стало жарко, томно, нежно, чего-то очень жалко, и я заплакал: сидел, потупив голову (она не отпускала меня), улыбался, а слезы капали и капали.

Она не останавливала их, не утешала, не задавала вопросов, а только стояла и смотрела.

— Ну хватит, — сказала она мягко. — Не стоит это все слез!

Я обтер глаза.

— Не стоит! — повторила она решительно, локтем провела по лицу, отбрасывая волосы, потом, далеко отставляя два багровых пальца, осторожно обхватила меня за шею и два раза тихо, но сильно поцеловала в губы. — Вот, — сказала она. — Вот, вот и вот! И вы простите меня, я, кажется, что-то не то вам говорю, вы ведь не подглядывали? — Она не отпускала моей шеи, и я, потупившись, молча кивнул ей головой.

Она долго молчала, а потом сказала:

— Как это все-таки отвратительно! И ведь каждый должен пройти через это... — И зачерпнула полную пригоршню вишни.

Так мы просидели с ней до вечера, и тут я услышал от нее то, что часто повторял себе потом.

— Нехорошие мы! Ух, какие мы иногда нехорошие! — говорила она тихо и гневно. — Вы и понятия не имеете, какими мы можем быть. То, что вы увидели, это так, мелкая пакость, мне даже за нее не особенно стыдно, а все-таки без нас не обойдешься. И не потому, что... Нет, совсем не потому... — Она замолчала и долго сидела молча, так долго, что я не переждал ее молчания, спросил:

— А почему же?

Она еще немного помолчала, почистила вишни.

— Да вот, думаю, как вам объяснить. Все настоящие отношения строятся в мире через женщин. Они крепки только тогда, когда где-то спаяны женской кровью. Но тогда это уже навеки. Такие отношения никогда не распадутся, а будут все расти и расти, охватывать все больше и больше людей. Вы этого еще не понимаете, конечно...

— Понимаю, — сказал я. — Очень понимаю.

Она тихо засмеялась.

— Да нет, со слов этого не поймешь, это так даром не дается. Это надо пережить, — и она опять замолчала. — Понимаете, — сказала она медленно, раздумывая на каждом слове. — Всякое в жизни бывает, и с вами будет всякое, так вот может случиться так, что вы ослепнете и оглохнете, потеряете руки и ноги и даже хуже, все отвернутся и откажутся от вас, но одна женщина около вас обязательно останется.

— Какая? — спросил я, потому что мне в ее словах почудился какой-то намек.

— Это неважно какая — сестра ли, мать ли, жена ли, просто друг, — это ведь все равно — одна такая женщина около вас всегда останется! Конечно, все это надо пережить и перестрадать. И вот тогда через много лет... — и вдруг прервала себя и окончила совсем не так, как начала: — Через много лет у меня дочка будет уже взрослой, и, когда мне придется говорить с ней, как сейчас с вами, смогу ли я сказать ей то, что сегодня говорю незнакомому мальчику? Со мной вот так никто не говорил.

Я молчал, а она вдруг развела руками:

— Не знаю! В том-то и дело, что не знаю. Таких вещей никто никогда не знает.

Целый день хлестал ливень, и мы сидели дома, а в полдень следующего я, хмурый и сумной, с каким-то большим разбродом в душе вылез и пошел на пруд. И как-то само собой очутился у гориновской дачи. И только что подошел к калитке, как сразу понял — там что-то случилось. Дом стоял черный и пустой. Окна были заложены, двери плотно закрыты. На досках балкона расползалась большая лужа. Одинокий слоник, самый большой из всех девяти, стоял на столе. Я перемахнул через забор, взбежал по ступенькам и взял его в руки. Он был мокрый и холодный. Я его рассматривал и думал: "Уехали! Уехала, уехала! Когда? Почему?"

Потом сунул слоника за пазуху и спрыгнул на землю. И тут увидел Нелю. Она стояла в своем саду и через изгородь смотрела на меня.

— Уехали, — сказала она. — А Катерина Ивановна, та даже из города не вернулась. А сегодня и старуха уехала.

— Так, может, они не совсем, — предположил я.

— Да нет, совсем. А Катерина Ивановна в Москву, она и с моей мамой попрощалась. Мама ей говорит: "Ну что же вы так внезапно, вы ведь хотели прожить до конца месяца".— "Да нет, пора, дела". А это что, она тебе своего слоника оставила?

Ничего она мне, конечно, не оставляла, просто забыла его второпях — и все, но я кивнул головой.

— Покажи-ка, — попросила Неля. — Хороший! Из кости! Ты знаешь, у меня тоже есть один такой, только фарфоровый, я тебе его принесу, ты их собирай, их должно быть девять. На пруд пойдешь?

И мы пошли на пруд.

Я шел, смотрел в землю и думал, и Неля не спугивала моих мыслей. Она шла рядом, но все равно

ее как будто бы и не было. Я был очень тих и печален, но чувствовал, что это не такая печаль, как всегда, не такая, как когда, например, меня выругали за что-то дома или дядя засмеялся и сказал мне: "кавалер" или я в школе получил "неуд" от математички или подрался на перемене, это, пожалуй, были даже не печаль, не горечь, не сердечные угрызения, — но что же это все-таки тогда было? Я не знал.

Ах, если бы мне тогда пришли бы в голову вот эти строчки:

Мне грустно и легко, печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою.

Но до них мне оставались еще годы, годы и годы.

ЛЕДИ МАКБЕТ

I

Весной 1930 года по обстоятельствам, важным для меня одного, я ушел из дома и поступил санитаром в лефортовский военный госпиталь. Стоял этот госпиталь далеко за городом на отшибе, был сооружен из тесаного гранита еще при Екатерине, и когда я шел под массивными сводами из корпуса в сад и видел в саду такие же мощные корпуса, арки, фонтаны и фронтоны с распластанными на них орлами, мне уж плохо верилось, что пять минут назад я вылез из московского трамвая. Но самый-то сад, выросший среди этих глыб решеток, арок, орлов, с перекрученными гусиными шеями и змеиными головами, был очень хорош и прост.

В нем летала масса бабочек, росли большие и тихие кусты сирени, стояли тополя и ясени, и с них весной орали и ссорились птицы. Впрочем, я все это видел только мельком, на ходу. С утра до вечера я ходил по этому саду и разводил вновь поступающих больных, а вечером, когда затихала беготня, телефоны и души, старший по смене отпирал железный сундучок и вываливал на стол все, что натекло за сутки. Это тоже была наша обязанность. Его — принимать личные вещи и оружие, моя — выписывать на них квитанции. Вечером же я составлял, кроме того, суточную ведомость. К столу собиралась вся обслуга. Приходила кастелянша, дебелая, румяная баба лет 45, постоянно в халате с заломленными рукавами и красной косынке. Она жила в зоне госпиталя и с моим старшим у нее были какие-то особые отношения, не разберешь: не то явно дружеские, не то затаенно

враждебные; подсаживалась хорошенькая, кокетливая ванщица, пухлая, нежная, розовая, вся в золотых веснушках и кудряшках, она все свободное время сидела и вышивала красным шелком; маленький татарин-парикмахер с серебряным горлом, я, еще кто-то.

Татарин брал полевой бинокль и, картинно откинув голову, долго смотрел на луну или крышу соседнего корпуса, а старший находил в груде вещей кортик, делал свирепое лицо и замахивался им то на кастеляншу, то на ванщицу. Ванщица жмурилась, краснела, млела, но не визжала, а кастелянша отмахивалась широкой ладонью и говорила густым мужским голосом: "А ну тебя, перестань! Что, маленький, что ли?"

Потом нам приносили в трех больших эмалированных ведрах ужин и мы садились за стол; потом Маша-ванщица мыла кипятком посуду — мы расставляли лавки и укладывали на них бушлаты. Потом наступала ночь, и мы спали.

До утра нас не будили: госпиталь принимал только хирургических больных.

II

Итак, нас было двое: я и старший, старшего звали Иван Копнев. Это был малый лет 30—35, плечистый, белозубый, с военной выправкой и желтыми волосами на пробор. Он был рябоват, от его волос сладко пахло карамельками, он с грохотом носил солдатские сапоги с подковами и часы с цепочкой, и из-под его халата у него остро выпирал значок, похожий на орден. Как и я, он получал 45 рублей, но считался старшим и изредка даже прикрикивал на меня — не грубо, а так, для пущего порядка, что-нибудь вроде: "Ну, куда пошел? Где 9-е отделение?" или: "Разговорчики, разговорчики! Сейчас рабочее время, кажется!" Да и было за что: со службой я справлялся

прямо-таки плохо: терял белье, путал корпуса, забалтывался в хирургическом корпусе с сестрой и тогда в приемном покое собиралась целая очередь голых мужчин в мокрых простынях и меня все ругали.

Мне недавно стукнуло 21 год, я учился на 3-м курсе, и голова у меня шла кругом. Я то разуверялся, то опять твердо верил в свое поэтическое назначение и проводил дни и ночи за стареньким письменным столом, но в редакции находили мои стихи оторванными от жизни и не печатали их.

В это же время я узнал впервые, что такое женское презрение. Презирала меня кастелянша, рослая, крутоплечая смуглая баба с черными усиками над верхней выдающейся губой. Она была неразговорчива, строга, по-своему справедлива и всем резала правду в глаза. Я же был, что называется, скелетом, — высокий, бледный, худой, — словом, в чем душа держится (меня дразнили "Ганди") с такими жесткими непроходимо-густыми волосами, что их не брал никакой гребень. Кроме того (и это главное!) я был еще нескладен, неуклюж, а в разговорах с женщинами то застенчив, то высокопарен и все свободное время сидел на госпитальном подоконнике и читал стихи.

Вот за все это она меня и презирала. Бывало, сидит, смотрит на меня и сладко улыбается, но молчит. Но однажды она все-таки не выдержала характера: подошла, вырвала у меня из рук томик Пастернака и бросила на стол. Все это молча и зло.

— В рабочее время работать надо! — крикнула она уже из коридора. — Интеллигенция!

В тот же день я подслушал такой разговор: стоя среди бельевой, она зло говорила Копневу:

— Нет, Иван, это ты так по-дурацки понимаешь, а у меня понятие совсем иное! У меня — на что я спокойная! — все сердце вскипело на него глядя. Ходит, дохляк, книжечки читает, зудит себе под нос невесть что! Если у молодого человека нет совести — грош ему цена! Ломаный! Я за свое самолюбство убью! И на каторгу пойду! А он что? Ни стыда, ни совести, на-

плюй ему в глаза, все будет божья роса! Вот я его как утром шуганула, а он ходит и только лыбится!

— Ну, значит, зла на тебя не таит, — заступился за меня Копнев, — как ты, Марья, его странно понимаешь, ей-Богу!

— Что, зла не таит? — голос кастелянши задрожал от бесконечного презрения, — да откуда у него зло? У него ни зла, ни ума — как у скотины. Эх, не моя власть, давно бы они с этой сестрой хирургической! Турманом к чертовой матери... тоже, видать, дерьмо хорошее, ни рожи, ни кожи, одни губки да ногти стриженые. И ведь нашла с кем схрюкаться. Нет, голубчики! Не-ет! Если вы за 45 рублей со мной впряглись, то эти книжечки, стишки эти самые дурацкие, вы их бросьте! Да, бросьте-ка их к черту! Тут надо дерьмо таскать, а не интеллигенцию разводить! Ну подожди, подожди, будь не я, если...

— Ну и не к чему это, Марья, — мирно вздохнул Копнев, — зачем обижать человека? Он тебя не трогает... зла мы от него...

— Считай, считай белье-то! — крикнула она и с силой грохнула об пол тюк свежего, еще сырого белья, — считай, знай, заступничек! Знаю я, чем он тебе угодил, знаю! — она злобно засмеялась, — погоди, я и до твоей Машки доберусь! Обнаружу я ваши сады-лавочки! Вон видишь, какие у меня зубы? Живьем слопаю, как только узнаю! Так ты и помни! Вот! — и она ткнула его в плечо и так громко засмеялась, что маленький парикмахер проснулся, послушал и сказал: "Однако!".

III

С тех пор пошло.

Она никак не оставляла меня своим вниманием. Так, однажды после того, как я два часа просидел на лавочке с хирургической сестрой, она меня почтительно спросила:

— Я у вас что хочу узнать: вы когда законную бабу имели?

— Как? —обомлел я.

— Ну, женат, женат когда ты был? — она не говорила, а почти каркала. Я оторопело ответил, что нет, не был.

Она кивнула головой и пошла по саду, успокоенно говоря:

— И правильно! Какой из тебя муж! Ты здоровой девке и вреда-то принести не можешь.

Другой раз, тыча пальцем в книгу стихов, она меня спросила:

— Вот тут написано "Поцелуй был, как лето". Это как же понять? Что он хотел этим выразить?

Вопрос был, конечно, сложный, но я подумал и стал объяснять.

Она слушала-слушала, а потом спросила:

— А ты когда-нибудь бабу-то... целовал?

Я вспыхнул и спросил, почему это так ее интересует?

Она свысока поглядела на меня спокойными ореховыми глазами и ровно ответила:

— Ничего не интересует! А вот попался бы мне такой муж — объелся груш — я б его в первую ночь, как котенка, придушила — и концов не нашли б!

Вечером после этого разговора я спросил Копнева:

— Что она на меня так злится?

Он пожал одним плечом, а на лице его проступило: и ты еще, дурак, спрашиваешь?

Было душно, и мы распахнули окно прямо в черные кусты сирени. Темнело. В больничном парке зажигались белые и желтоватые фонари, и вокруг каждого висела сетка из мошки. Кажется, очень далеко через настороженные листья желтели стены хирургического корпуса.

— А с ней и связываться не надо, — посоветовал вдруг Копнев, смотря на меня.

— Да я...

— Злая баба! Ух, ведьмища! — он быстро расстегнул гимнастерку и я увидел возле левого соска лиловое и черное пятна. — Видал? Зубы как у людоеда!

— Ого! — сказал я солидно. — Как же это так?

Он молча и зло застегнул ворот, но тут меня позвала к себе ванщица, и разговор прервался. Когда я зашел к ней, она неясно сказала: ''шкаф тут... сдвинуть бы... не могу одна'' и вдруг заперла дверь. Я попятился — разное пришло мне в голову — ведь мне недавно исполнился 21 год.

— И что хочу спросить, — сказала она тихо и доверчиво, — он к этой лошади ходит еще?

Я замешался и молчал.

— Ходит? — испуганно переспросила она и схватила меня за руки.

Я ответил, что нет, не видел.

— Но, ты не ври, — попросила она жалобно, — ты знаешь, она тебя выжить хочет, думает, что ты нам помогаешь, караулишь, чтобы никто не вошел в ванную, понимаешь? — она отпустила руку и как-то жалко, воровски пожала ее.

Мне стало так противно, я что-то сказал ей, толкнул ее и пошел к выходу.

— Ой, не сердись! — она забежала, опять схватила меня за руку, вся зарделась и стала очень хорошенькой, — ты не знаешь, как я теперь всего боюсь! Это такая ведьма! Ну, посиди со мной! — она силой посадила меня на табуретку. — Посиди, поговорим о жизни. Скажи, у тебя еще никого нет? Ну, из девушек, никого?

Я сухо ответил, что нет, и хотел встать, но она быстро положила мне руку на плечо, и я сел.

— Ну а я вот тебя на улице с одной видела, в шляпке, в молочных туфельках, она тебе кто?

Я отвернулся и коротко объяснил ей, как и что.

— Ах, так! Вместе учились, а теперь гуляете? Ну, хорошо! Это очень хорошо!

И тут я даже вздрогнул: оказывается, что все такие сложные и путаные противоречивые отношения,

3–2280

от остроты которых я сам не мог разобраться толком, так просто и хорошо укладывались в это подлое словечко "гуляете". Я мгновенно сгорел от стыда и спросил:

— Ну, все?

Она вдруг громко фыркнула.

— Что ты? — спросил я недоверчиво.

— Вот ты ей, наверное, стихи почитываешь-то?! — сказала она и засмеялась, — у меня тоже один ухажер, так сколько он этих стихов знает! "Позорной казней обреченный в цепях лежит вендерский граф" и дальше. Как его казнить повели, и мать в белом покрывале на балконе стояла. Очень хорошо! И читает так прекрасно, и рукой все время и так и этак. И как будто сама все видишь, — она подумала и чуть затуманилась: — замуж хочет взять.

— Ну что ж, — сказал я, — выходи!

Она задумчиво посмотрела на меня.

— ...если он верно хороший человек-то... — солидно посоветовал я.

— А ну его! — засмеялась она. — Сердце надвое не разорвешь. Ну ладно, иди теперь. Сестра-хозяйка пришла! Не дай Бог увидит!

Прошло с неделю и как-то после приема Копнев мне будто вскользь сказал:

— Ты на ночь окно не запирай, а то душно. Ладно?

Я кивнул головой.

— А если кто придет, зажги зеленую лампу.

Я снова кивнул головой. Он запер ящики стола, подергал их (в них лежало оружие) и снова выпрямился.

— Все. Ложись, спи!

Вернулся он за полчаса до подъема. Я уже не спал, сел он рядом со мной, достал портсигар, раскрыл, выбрал папироску и начал мять. Я взглянул на него: он был утомлен, даже, пожалуй, помят, пробор его сбился, и от влажных волос пахло уже не карамельками, а сыростью, смородиной,

дождем, но весь он помолодел, подтянулся и похорошел.

— Ну, — спросил он блаженно, — все благополучно?

Я ответил, что да, все.

— Хорошо! Курить будешь? Папиросы "Ира". "Ира, Ява, зек, облава". Кури!

Мы отошли к окну и закурили. Я спросил — не замерз ли он? Ведь сыро, роса.

— Замерз! — он засмеялся и хлопнул меня по плечу. — Разве кто в этом деле мерзнет? А ну-ка сунь мне руку за пазуху! Чувствуешь, как из-под куфайки пышет? Печка! А ты — замерз! Ах, чудило-мученик! — он ласково и внимательно смотрел на меня. — И все сидишь, читаешь, хоть бы вышел, прошелся по росе! Чувствуешь, какая на земле благодать?

Он настежь распахнул окно. Запахло сырой землей и крапивой. Сирень еще не цвела — она стояла тихая и задумчивая, и молодая, вся в наплывах золота и черни, а под ней в глухой крапиве уже гудели шмели. И вдруг все померкло. Кто-то встал между нами и садом, и голос кастелянши сказал:

— Встали? Ну, с добрым утром, коли так. Иван, пойди-ка сюда!

Я отошел, и они о чем-то заговорили.

В парикмахерской около зеркала стояла Маша и причесывалась. Она взглянула на меня светлым и пустым взглядом, не осознала, что это я, и снова повернулась к зеркалу.

Я стоял и смотрел.

Она вдруг тряхнула головой и волосы у нее посыпались на плечи, а она засияла еще больше, закусила губу и рванула их гребенкой.

"Как их обоих подняла любовь!" — подумал я и пошел в сад.

Я думал, со старой ведьмой покончено, но не тут-то было. После обеда Маша вошла в приемный покой и тихо сказала Копневу:

— Ну, как хочешь, Ваня, а я так больше не могу. Либо так, либо этак.

Копнев положил круглое зеркальце с лебедем и красавицей на обороте, в которое он рассматривал свои потрясающие зубы, (это было его любимое занятие) и спросил:

— А что такое?

Маша сидела и молчала, но по лицу ее уже текли слезы.

— Как же так? Пришла к ней за простыней. Так она меня и так и сяк! И ты — воровка! Когда я что у тебя украла? И по лицу два раза задела, за что это? Я ведь не виновата, если ты...

— По лицу? — переспросил Копнев, и скулы у него заходили.

— Как хочешь, Ваня, — повторила ванщица, — а я так не могу.

Копнев спрятал зеркальце в карман. Встал.

— Хорошо, — сказал он спокойно. — Раз так, так так! Сегодня больных, видно, не будет. Посиди тут один. Не хотели вы, Марья Григорьевна, по-хорошему, ладно, будем говорить по-плохому! Ты сиди тут, а я сейчас...

Вернулся он ночью, когда я уже стал засыпать. Подошел он ко мне, сел на край лавки и сказал горько и насмешливо:

— Вот мы, мужики, а?

— А что? — спросил я.

— Ай-яй-яй! — повторил он раздумчиво, — и за что? За рюмку водки! Ах ты, дьявол, гладкая! Ну ладно! Я брат, только что от нее. Там чи-истого спирта привезли два ящика. Около чехауза лежит, вот она оттуда и того.

— Чувствую, — улыбнулся я.

— Граммофон откуда-то достала, мы все песни переслушали. Ах, одна хорошая есть "Ветерочек чуть-чуть дышит", — запел он пискливо.

— Тише, спят!

— Ай-яй-яй! — покачал он головой, не слушая меня, — и стрелок этот у нее, как они уж помирились, шут их знает!

— Какой этот?

— Да тот же самый! Ну Савельев! Ах, ты ведь зимой у нас не был! Тут, брат, такой огонь у нас был! Он ко мне сюда с ножом приходил. "Зарежу!" — молоденький, да дурашный! Усы носит, а ума-то чуть! Вот она его и дразнит. Ну, пес с ними, мы сегодня с ним помирились и чебурахнули по банке: "Он зашел в ресторанчик, чебурахнул стаканчик" и что-то еще, ти-ли-ти-ли-тили-бом — не помню. А спирту он мне обещал еще дать. Он сегодня там заступает.

— Заступает и пил?

Копнев только рукой махнул.

— А как же заступает пьяный?

— Как же, как же... — рассердился он вдруг. — Взял да выпил, а тебя вот не спросился. Пойди, сними! Какой же ты, ей-Богу, шебаршной! Что да почему? Да отчего? Правда, Марья говорит... Стой, она и тебе кое-что послала!

— Это еще зачем? — удивился я.

— Пусть, говорит, ученый выпьет! — засмеялся он. — Нет, она баба ничего, ты зря про нее такого крайнего мнения. Пусть и ученый. Ах, дьявол! Ну ладно, сейчас... — и он вынул из кармана пол-литра.

— Да подожди, Иван, — сказал я (мне показалось, что дверь ванной скрипнула), — вдруг Маша...

И тут мы увидели ее. Она только что проснулась и стояла рассолодевшая, теплая, растрепанная, Копнев было осекся, но сейчас же успокоился и засиял.

— А, Машенька! — закричал он. — А ну-ка, разрешите вас... — он вскочил, схватил ее за руку и потащил.

— Да стой, Иван! Куда ты? Что ты? — говорила она, упираясь.

— Маша, Маша, душа ты наша, садись с нами, раскрасавица ты моя! — он чуть не плакал от умиления. — Вот тебе малокалиберная — пей с ученым!

А как это он с черненькой? Он шагает, а она его под ручку и "тю-тю-тю!" Ну покажи же! Все свои! он не обидится!

Маша пригубила и схватилась за горло.

— Ой, как огонь! Это же чистый спирт, где ты достал его, Ваня? Да, я вечером проходила, видела, лежат там возле цейхгауза два ящика... неужели...

Копнев обнял ее и чмокнул в щеку.

— Вот кого я люблю! Ее! У ти, моя лелесая, у ти, моя!..

Маша отодвинулась.

— Ну не лезь, пожалуйста! Несет как из бочки! Небось, опять у той, кобылы...

— У ти, мой утеночек! Рассердилась, смотри как губки дрожат! Где я был, там меня, Машенька, нет, а тебя это...

— И-ди, и-ди! Бессовестный! Ишь ты подлый какой, что выдумал! — Она встала и выплеснула ему мензурку под халат. — Слышишь, не подходи, а то я сейчас...

И уж из коридора крикнула:

— И с этого часа все наши с тобой разговоры пустые!

Она ушла, а он поглядел на меня и горестно сказал:

— Вот ведь какие мы, мужики, а? И за чего? За рюмку водки! Это же уму непостижимо! — и налил себе и мне по полной. — А ну, давай!

Но когда я проснулся среди ночи, они уже помирились, ворковали и стонали, как голуби. Помню, проходя мимо ванной, я еще подумал: "Ну, от Машки что-нибудь добиться, это раз плюнуть!" А когда я минут через двадцать шел обратно, они уже сговаривались снова.

— Но поклянись мне святой иконой, Ваня, что ты никогда, никогда больше... — стонала Маша.

— Машенька, — отвечал Копнев, — ты же знаешь, я человек глубоко неверующий.

Ложась спать, я взглянул на часы. Было половина первого, а в три меня разбудили. Я вскочил. Горел весь верхний свет. Возле меня стояла старуха — дежурная сестра приемного покоя — и маленький татарин.

— Где ваш старший? — испуганно спросила старуха.

Я быстро поглядел на соседние лавки — на них лежала постель, его не было.

— Одевайтесь и берите носилки! — приказала она. — Быстро!

Только что она вышла, я бросился в коридор к ванной.

— Нет его там, — спокойно и досадливо сказал парикмахер. — Он только что мимо меня прошел, я спрашиваю: ”Ты куда?” А он мне: ”Не ложись. Сейчас принесу, пить будем”. Да, пожалуй, выпьешь, подвела ведьма точку свою!

Вошел дежурный врач, завязывая халат на рукавах.

— Готовы? Ой, скорее копайтесь! Там же нашего товарища убили.

— Как? — крикнул я.

Он ничего не ответил и вышел. Мы — я и парикмахер — с носилками пошли за ним.

Ох, как помню я эту ночь и следующее за ней утро!

Светало. Звезды еле мерцали на бледном небе. Все предметы выглядели четко, резко, жестко, как вылитые из железа. На дворе нас уже ждал конвой. Четыре рядовых и начальник. Когда мы с носилками сошли с крыльца, высокого, как эшафот, они молча двинулись вперед. Почему-то из всего этого памятного утра мне особенно запомнились серые штыки, поднятые к такому же серому недоброму небу.

В холодке рассвета мы прошли двор, вошли через арку в сад, и тут возле здания с амбразурами и

решетками увидели двух человек. Один лежал животом на окровавленной траве, другой стоял поодаль под деревянным грибом. Он держал винтовку наизготовку и дико, но спокойно смотрел на нас. Между нами громоздилось что-то покрытое брезентом. Это и был спирт. Мы поставили носилки на землю.

Раненый (или убитый) лежал во весь рост, вытянув ноги в солдатских сапогах со стертыми подковами.

— Берите, — приказал доктор и, наклонившись вперед, тронул за пульс. Я взялся за ноги, парикмахер за плечи, и тут раненый развернулся, и я увидел, что это точно Копнев.

Лицо его с закрытыми глазами не изменилось, только смерть или боль выгладила его, стряхнула всю шелуху и мелочь, и оно стало спокойным, важным и белым-белым.

— Понесли, — приказал доктор.

Краем глаза я увидел, как уводили стрелка. Это был молоденький (хотя, может, только моложавый) парень, кудрявый, с усиками, нагло-голубоглазый, усиленно-спокойный. У него уже взяли винтовку, сняли с него пояс, и он шел по росистому визжащему гравию в расстегнутой шинели, нарочито не торопясь, засунув глубоко руки в карманы галифе.

Он взглянул на нас, на носилки, на умирающего и равнодушно отвернулся.

— Сразу же на стол, — шепнула мне хирургическая сестра и отворила нам дверь. Тут я впервые увидел предоперационную. В ней все было иссиня-белое, холодное, блестящее — пол, стены, мебель. ”Цвет смерти” — остро и тоскливо подумалось мне.

Мы положили раненого на стол, и тут он простонал и на мгновение открыл глаза.

Сестра наклонилась к самому его лицу. Она была очень хорошенькая, тонкая, голубоглазая, с нежным хрупким лицом и очень красными губами.

— Ну как, милый? — спросила она нежно и взяла его за руку тонкими, постоянно холодными пальцами.

Он что-то бормотнул и снова закрыл глаза.

— Что? — не поняла она и коснулась горячими губами его лба.

Копнев вдруг снова открыл глаза и посмотрел на сестру.

— Не дайте умереть, — выговорил он очень отчетливо и строго.

— Давайте, — шепнула сестра.

Мы сняли с раненого рубаху, под ней оказалась фуфайка, под фуфайкой рубаха с красными фигурными вензелями, а дальше я увидел мокнущий черно-кровавый бугристый гриб-дождевик, величиной с кулак. Только потом я понял, это выперли кишки. Вошел хирург, высокий, моложавый, рыжий, в белой шапочке, снял пенсне, молча наклонился над раной. Потом взял Копнева за руку.

— Больной, — сказал он отчетливо, — как ваша фамилия?

Копнев открыл глаза.

— Не дайте умереть, доктор, — произнес он тихо и отвернул лицо.

— Под общим, — обернулся хирург к сестре и отпустил его руку.

— Несите! Ну а вы, товарищи...

Мы сложили носилки и вышли.

На крыльце приемного покоя, как на эшафоте, стояла Маша. Она смотрела на нас и плакала:

— Беда, однако, — покачал головой татарин, — что наделала, ведьма!

— Жив? — спросила Маша сверху.

— Жив, — хмуро отрезал парикмахер. — Все кишки вон! Понесли резать.

Я возвратился домой в таком нехорошем мутном состоянии, что на другой день опоздал в Измайловский парк на свидание с девушкой в красной шляпке и молочных туфельках, а когда пришел, то толку от меня тоже было немного: я мямлил, был

рассеян, начинал что-нибудь говорить, а в середине терял нить, останавливался и мекал. Оно и понятно: говорил-то я про одно, а думал совсем о другом.

— Слушай! Да что с тобой такое? — спросила вдруг моя спутница и заглянула мне в глаза. — Ну так и есть! Опять к тебе эта ведьма пристает.

Я ответил, что нет, не в ведьме тут дело — тут совсем другое.

— А именно?

Я коротко, но все-таки очень бессвязно рассказал ей кое-что, и только произнес проклятое имя, как из поворота аллеи вышла она, неожиданная, как призрак. Я так и онемел.

— Добрый вечер, — сказала она очень ласково, — гуляете? Приятной вам прогулки.

С десяток секунд мы все трое молчали, и рассматривали друг друга.

— Та самая? — толкнула меня моя спутница.

Кастелянша повернула голову и взглянула на нее.

— Какая хорошая барышня, – сказала она. — Вы никуда не торопитесь? Ну, я... мне вас только на два слова. — Моя спутница посмотрела на браслетку. — А вы, девушка, не беспокойтесь, я не зарежу. Мне только два слова.

— Пожалуйста, — очень вежливо ответила моя спутница, не сводя с нее глаз, — но отойдем.

Несколько шагов мы прошли молча.

— Да, ведь вот какая беда с Иваном, — вздохнула кастелянша.

— Как он сейчас? — встрепенулся я.

— Умер сегодня ночью.

— Умер? — мы оба так и встали.

— Умер, умер! Царствие ему небесное, — набожно ответила кастелянша.

— Вы верующая? — вдруг очень серьезно спросила моя спутница.

— Я, барышня, — строго ответила кастелянша, — хоть и не придерживаюсь всего, но я еще старого обряда. Мои деды с Заволжья. Я кержачка. Вот.

Ухнул барабан, загудели трубы и публика повалила к эстрадам.

— А вот тут гулянье, — вздохнула кастелянша. — Ивану гроб в подвале, а тут музыка — всем частям сбор. Да, умер, умер Иван. Меня уж призывали. Вам, знаю, тоже повестка выписана.

— Ага-а! — поняла что-то моя спутница и кивнула головой.

— Она у вас? — спросил я, думая, что это и есть причина ее появления.

— Ну, у меня? — улыбнулась она моей глупости. — Повестка своей путей пойдет, а... — она прямо взглянула на меня. — Пусть бы барышня вперед прошла, я б вам два слова.

— Я не барышня, — ласково ответила моя спутница, — и поэтому вперед не пойду. Ну, говорите, я не слушаю.

Я молчал. Моя спутница повернула нас в боковую аллею. Тут было тише, прохладнее, пахло сырой землей и цветами, и оркестр через кусты сирени звучал как через толстое стекло.

— Так я специально у вас была, — обратилась ко мне кастелянша. — Тут вот какое дело: ночью вы с покойным вдвоем оставались, значит, должны были знать, зачем он полез на винтовку? Как туда попал? Неужели так у него губу разъело, что он так и умер не в себе, а об этом особый протокол писать будут. Вот и меня спрашивали, а что я знаю? Вы там трое сидели, меня с вами не было.

Я посмотрел на ее наглую улыбочку, спокойные ореховые глаза и вдруг даже задрожал весь — так она мне стала ненавистна!

— Так что вам, собственно, от меня надо? — спросил я тихо и бешено. Она встала в тупик. Никто и никогда не слышал от меня такого тона.

— Да мне, — насмешливо начала она, но поглядела на мою спутницу и запнулась.

А меня уж колотило. Ее плоское лицо с вздернутой губой и косой улыбочкой так и прыгали у меня

перед глазами. Я и до сих пор отчетливо помню его — раз и навеки, как при вспышке молнии.

— Если вы такого мнения... — начала она.

— Постойте, — остановил я ее, переводя дыхание, — вот вы говорите, вас допрашивали. Ну и правильно. Он же к вам ушел. Вы знаете зачем — шел на десять минут, а вернулся ночью и пьяный. Из-за этого у него был скандал с Машей. Из-за этого его и застрелили.

Пока я говорил, она смотрела на меня в упор, как бы стараясь понять что-то, а я так разошелся, что на нас уже начали оглядываться. Двое мальчишек так и застыли с рогатками возле куста сирени.

— Ну а еще что скажете? — спросила кастелянша спокойно.

— Вы!!!.. — крикнул я.

— Ой, только тише! — попросила моя спутница, — и не надо таких слов. Нас же слушают!

— Да нет, пусть, пусть! Меня не запугаешь! — улыбнулась кастелянша. — Ну ладно. Вот вы с Машкой и с ним пили, выпили все, его за новым послали. Это все так! Да как же он около солдата очутился? Куда же вы его послали?

— Он к вам пошел, а не к солдату. Вы это знаете.

— Что я знаю? — холодно и спокойно возразила она, — мы об этом говорить сейчас не будем. Это вы там скажете. Но как же это вышло: пошел он ко мне, а очутился вона где — возле цайхгауза. И еще одно мне чудно: с ним Машка была, а он ко мне пошел, это с каких же щей? Нет, тут он вам что-то не то сказал.

— Да ничего он мне не говорил, — сразу отрезал я.

Тут глаза у нее блеснули и погасли.

— Ну а тогда уж совсем чудно, — сказала она медленно и спокойно. — Вам он ничего не говорил, Машке тоже, татарин и подавно ничего не знает — так откуда вы все это взяли?

Я молчал.

— Значит, не хочется вам по-доброму? — спросила кастелянша.

— А как это, по-доброму? — поинтересовалась моя спутница.

Во время разговора она не сводила с нее глаз, как бы боясь пропустить любое ее движение или слово.

— По-доброму-то как? — обернулась к ней кастелянша. — А так, чтоб звону лишнего не было. Потому что хотя где и с кем он пил, я не знаю, но вот Машке я физиономию побила не зря, а за что — она знает, но вот у нее жених есть — тоже вроде ученый, в бухгалтерии работает, так неудобно, чтоб ему об этом с каждой колокольни звонили. Он может и нос отворотить. Это тоже очень просто. Знаете наше дело — молчи побольше. И опять другое: вон главврач жене Ивана телеграмму отбил. Может быть, ей помогут страховку или пенсию выхлопотать. Все-таки, как сказать, не в кабаке убит человек, а при долге службы. А если выяснится, что он на работе с вами казенный спирт распивал да с Машкой в ванне запирался, ну тогда, пожалуй, насчет пензии-то погодишь. Вот я к вам и пришла, а не хотите...

Она поклонилась и быстро пошла. С целую минуту мы молчали.

— Дьявол, — сказала моя спутница почти суеверно. — Смотри, она уже со всеми сговорилась: и с Машей, и с твоим парикмахером, и тем стрелком, и ничего не боится, а к тебе пришла только узнать...

— И умылась!

— Как умылась? Эх, ты! Сказал же ты ей, что Иван тебе ничего не говорил, куда пошел, зачем. Ну вот и все — значит, и ты не свидетель. Ух, какая стерва! Вот попробуй, сыграй такую на этюдах, ведь ни за что не сумеешь.

Я взял спутницу под руку:

— Ну, идем, а то опоздаем на сеанс.

— А заметил, какое лицо у нее было, когда она с нами разговаривала? Надменное и снисходительное.

Она же ничего не боится и презирает нас обоих. Слушай, милый, — она остановилась и взяла меня под локоть, — прошу тебя, не говори лишнего, ну того, чего не знаешь, все равно ничего не сделаешь. Парикмахер отречется, Маша будет только плакать, а жена Копнева тебя возненавидит — вот и все, чего ты достигнешь.

— Что же, по-твоему, делать?

— Не фантазировать. Вот у тебя уже убийство, ревность и все такое! Не надо так! Не бери лишнего на душу. Просто: спросят — ответь, вот было так и так, а что это значит, разбирайтесь сами.

В кино мы опоздали и до ночи прогуляли по аллеям. Уже и огни потухли, а мы все ходили. Моя спутница молчала и о чем-то думала.

— Итак, "любовная лодка разбилась о быт"? — спросил я при прощании. Эти строки Маяковского у всех тогда были на устах и в памяти.

Она задержала мою руку.

— Ты говоришь про свою врагиню? Нет, у нее и не любовь и не быт!

— А что же?

— У нее преступление! — ответила она твердо.

— То есть убийство?

Она поморщилась.

— Ах, убийство может быть само по себе, если оно только есть, но тут и самая любовь — преступление. И значит, есть такие женщины. Вот у твоей Маши и неудачная любовь — радость, а здесь и взаимность — только тяжесть и злодейство. От такой любви человек гнется, гибнет. Вот если бы эту мысль мне удалось донести, она бы и была ключом к моей роли. Но как это сделать? Как превратить кержачку в леди Макбет? Ну-ка, давай подумаем вместе.

Утром, когда я пришел в госпиталь, мне первым делом сообщили: Марья Григорьевна исчезла и захватила с собой ключи. Теперь ломают дверь бельевой, с вешалки пропало сколько-то бушлатов и два пледо-

вых одеяла. Значит, очевидно, чувствовала за собой что-то. Нас с Машей (она, верно, много плакала — нет-нет да вдруг сядет, затуманится и всплакнет) засадили в комнату, дали бланки и заставили писать длинные и подробные показания: что, когда, где, почему. Кажется, объявили всесоюзный розыск, но этим пока все и кончилось. Стрелка подержали и отпустили, да и за что было его судить? Он кричал, свистел, но неизвестный пер на него, прямо в круглое дуло русской винтовки — вот он выстрелил и попал.

Приехала жена Копнева, и ей, верно, что-то выхлопотали. По госпитальному саду она ходила обнявшись с Машей, и обе то плакали, то смеялись. Меня она не замечала и только раз заговорила со мной.

— Довольно нехорошо, — сказала она, — человек мертв, а вы про него всякую сплетку ведете. Пил, да то, да се. Вот вы хотели, чтоб я ничего не получила, ан, люди справедливые, по-иному рассудили. Не вышло вот по-вашему-то!

Она была навеселе, и разговаривать с ней я не стал.

А потом она уехала, жизнь вошла в свою колею, и потянулись обычные незаметные госпитальные дни. Теперь старшим сделался я, и ценности уже сдавались мне, а моим подручным был студент из медицинского института. Он провалил анатомию и поэтому зубрил день и ночь. Никто теперь уж меня не дразнил, не вырывал из рук у меня книжку, и не спрашивал, что там написано и как это понять. Но однажды, месяца через два, ванщица недовольно сказала мне: "Слушай, ты бы эти стишки свои забрал бы, что ли? А то валяются на окне, еще пропадут".

И тут я понял, что действительно с той ночи ни разу не вспомнил о своих кумирах. Они отошли от меня так тихо и незаметно, что я даже не почувствовал этого. Теперь я думал об ином. Моя знакомая часто упоминала леди Макбет (это была ее диплом-

ная работа), и вдруг я понял, что для меня наступила пора Шекспира. Он подошел ко мне вплотную. Раньше я как-то проходил мимо него. Хороших постановок тогда не было, а читая его, я путался в длинных замысловатых предложениях — бесконечных коридорах, которые можно одолеть только бегом и никогда шагом, — в его пышных многостепенных и многоэтажных монологах, где сравнение громоздилось на сравнении, образ на образе, так что они зачастую уничтожали друг друга; в его смертях, убийствах, предательствах. Все это мне казалось просто скучным и утомительным. А сейчас словно прорвалась какая-то туманная пелена и через нее я ясно увидел — не леди Макбет, нет, та была совсем иная, — а кастеляншу, ее зубы и особенно руки — мускулистые, длинные, загорелые — как она толкает в плечо Копнева и говорит: "Так ты помни!" или злобно вырывает у меня книгу. И еще какие-то смутные, но большие истины о любви-радости и любви-преступлении стали приходить и тревожить меня. В свободные часы я сидел на лавке в парке, то размышляя о том, что произошло, то вчитываясь и входя все более и более в варварский, но великий по своей истинности и простоте текст.

И однажды в парке после обеда подсел ко мне незнакомый больной — молодой парень в халате. Он спросил, что я читаю, я сказал. Он попросил взглянуть и я протянул ему книгу. Он быстро пролистал ее, задерживаясь на картинках и спросил, где же тут стихи. Я ответил, что тут все стихи, только переведены они прозой.

— А-а, — кивнул он мне головой и отдал книгу.

Я смотрел на него, рослого, худого, белокурого, у него все время подергивались уголки рта — и никак не мог понять, откуда я его знаю. Он поступил не в мою смену, а все больные, остриженные и одетые по-госпитальному, очень походят друг на друга.

— А это не здесь про поцелуй и лето? — спросил он меня вдруг.

Не помню, что я ему ответил, но с минуту мы сидели молча. И тут наконец до меня дошло, что раз он в бордовом халате, то значит из первого отделения — это их цвет. И ни о чем больше его спрашивать не стал.

Он вдруг заговорил сам. Сердито, задиристо и смущенно.

— Ну, что вот все на меня смотрят, смотрят... Что вы вот смотрите? Что я должен был делать? Он все шел и шел. Ну, был бы штатский, ничего не знал — а то ведь сам только что из армии. И вот идет и идет. Как я на него мог подумать?

— Но вы ведь видели, кто это? — сказал я.

— Ничего я не видел, было темно, — ответил он. — Я на него и не думал вовсе.

— А на кого же вы...

Он ничего не ответил, взял книжку и стал со злом листать. Потом он молча встал и не прощаясь пошел. Так мы расстались, и больше я его уже никогда не видел.

А через два месяца ванщица мне весело сказала:

— Ну, тебе, ученый, видать, бабка колдовала. Ведь этот психованный, он сейчас с припадками в нервном лежит, думал, что он в тебя стреляет.

РУЧКА, НОЖКА, ОГУРЕЧИК...

В июньский очень душный вечер он валялся на диване и не то спал, не то просто находился в тревожном забытьи, и сквозь бред ему казалось, что с ним опять говорят по телефону. Разговор был грубый, шантажный; ему угрожали: обещали поломать кости или еще того хуже — подстеречь где-нибудь в подъезде да и проломить башку молотком. Такое недавно действительно было, только убийца орудовал не молотком, а тяжелой бутылкой. Он саданул сзади по затылку. Человек, не приходя в сознание, провалялся неделю в больнице и умер. А ему еще не исполнилось и тридцати, и он только-только выпустил первую книгу стихов.

От этих мыслей он проснулся и услышал, что ему верно звонят.

Он подошел к телефону и поглядел в окно. Уже стемнело. "Опять приеду ночью", — подумал он и снял трубку.

— Да, — сказал он.

Ему ответил молодой, звонкий, с легкой наглецой голосок:

— А кто говорит?

"Это уже другой, — понял он. — Да их там полная коробка собралась, что ли?" — и спросил:

— Ну а кого нужно-то?

— Нет, кто со мной говорит?

— Да кого нужно?

— Может, я не туда попал. Кто...

— Туда, туда, как раз туда. Мне сегодня уже четверо ваших звонили. Так что давай.

— Ах, это ты, сука позорная, писатель хренов. Так вот помни: предупреждаем последний раз — если ты, гад, не прекратишь своей гнусной...

— Подожди. Возьму стул. Слушай, вам что, такие шпаргалки, что ли, там раздают? Что вы все шпарите одно и то же? Не вижу у вас свободного творчества, полета мысли. Хотя бы слово от себя, а то все от дяди.

— От какого еще дяди?

— От дяди Зуя. Нет, серьезно, что, у вас своих голов нету? Только "сука позорная", только "башку проломим", только "гнусная деятельность". Впрочем, один ваш хрен говорит "деятельность". Деятели! Передай ему привет!

— Ладно, нечего мне зубы заговаривать. Они у меня здоровые.

— Эх, и хорошо по таким лупить!

— Ах ты! — на секунду даже обомлела трубка. — Да я тебя живьем сгрызу.

— А ты далеко от меня?

— Где бы ни был, а достанем. Так что предупреждаем — и последний раз...

— Стой! Кто-то звонит. Не бросай только трубку.

Он подошел к двери, поглядел в глазок и увидел, что стоит та, которую ждал уже три дня и которая еще сегодня утром была ему нужна до зарезу. Она должна была сниматься в его фильме, и ее знала и любила вся страна. Ее портреты, молодые, прекрасные, улыбающиеся, висели в фойе почти каждого кинотеатра, ее карточками пестрели газетные киоски. Ее всегда узнавали, когда она появлялась с ним на улице. Он очень, очень ждал ее эти три проклятущих дня, но сейчас она была ему просто ни к чему.

"Вот еще принесло на мою голову, — подумал он, — что это все на меня сразу стало валиться".

Он открыл дверь. Она не вошла, а влетела и сразу бросилась к нему. Даже не к нему, а на него. У нее было такое лицо и она так тяжело дышала и так запыхалась, что несколько секунд не могла выговорить ни слова.

— Ну что с тобой? — спросил он грубовато. — Ну окстись! Вид-то, вид-то! — И он слегка потряс ее за плечи. — Ну!

Она облизнула сухие губы.

— Ой, как рада вас видеть здоровым. Ваш телефон все время занят.

— Ну да, спал я и снял трубку. Звонит всякая шушера.

— Вот и брату звонили, требовали вас, грозили подстеречь в подъезде, я только что вернулась со съемок и он мне это сказал. Я сразу же бросилась сюда. Видите, даже не переоделась.

На ней, верно, был рабочий костюм, брюки, блузка, большие солнечные очки.

— Ну, тогда садись и передыхай. Я сейчас кончу разговор. Ты слушаешь, мужик? — спросил он трубку. — Молодец. Так вот, ты далеко от меня?

— Да зачем тебе это нужно? — в голосе теперь вдруг прозвучала настоящая растерянность. Сзади как будто слышались еще голоса. — Выследить, гад, хочешь?

— Нет, хочу сделать одно деловое предложение. Ты не раз был возле меня и все там знаешь. Ну как же? Раз убивать собираетесь, значит, все вы там знаете. Так вот, наискосок от меня пустырь. Там раньше стояла развалюха, а теперь ее снесли. А там алкаши до одиннадцати водку трескают, знаешь?

— Ну, да что ты такое заводишь, козел?

— Так вот предложение. Сейчас там никого нет. Алкаши сидят по домам. Через пятнадцать минут я туда выйду и буду тебя ждать. Приходи. Хоть с молотком, хоть с бутылкой, хоть один, хоть с кодлой — я буду вас ждать. Договорились...

— Да ты что, сука... Да я ж тебя...

— Стой, не ругаться! Остолоп, все это осточертело! — Он слегка оттолкнул актрису, которая ринулась к нему и сжала его пальцы.

— Ради Бога, — сказала она, — ведь это...

Он отмахнулся от нее.

— Так вот, приходи. Поговорим. Но имей в виду, приготовься. Если промахнешься — увезут на "скорой", это я тебе гарантирую. Я умею это делать. Ты же знаешь, где я был, что видел и какой жареный петух меня клевал в задницу.

— Не пугай, сука, мы тебя и на пустыре подстережем. Подожди!

— Ну зачем же меня подстерегать. Я сам иду. Надоели вы мне, болваны, боталы, парчивилки, до смерти.

— Одного такого хорошего, из вашего брата, мазилу уже пристрелили. Из машины...

— Вот видишь, темнило, как там с вами обращаются. Тебе даже не рассказали, кого, за что и как убили. То был не мазила, не врач, а художник. И его застрелил случайно один мусор — инкассатор. Перепугался до смерти и пальнул из машины. А убили в подъезде поэта.

— Ну вот...

— И не вы убили, а кто-то посерьезнее вас. А вы только из автоматных будок за две копейки брешете, как суки. Мудачье вы, и все. Когда хотят убить, так не звонят. Так вот, чтоб через пятнадцать минут ты был там как штык. Понял?

— Дружинников соберешь?

— Не пускай в штаны раньше времени. Один приду. Там издали все видно. Все. Вешаю трубку.

Актриса сидела на кушетке и глядела на него. Лицо у нее было даже не цвета мела, а кокаина — это у него такие мертвенные кристаллические блестки.

— Это что же такое? — спросила она тихо.

— Как что? Один очень деловой разговор.

— И вы пойдете?

— Обязательно...

Он подошел к столу, открыл ящик, порылся в бумагах и вынул финку. С год назад с ней на лестнице на него прыгнул кто-то черный. Это было на девятом этаже часов в одиннадцать вечера, и лампочки были вывернуты. Он выломал черному руку, и фин-

ка вывалилась. На прощанье он еще огрел его два раза по белесой сизо-красной физиономии и мирно сказал: "Уходи, дура". Что-что, а драться его там научили основательно. Финка была самодельная, красивая, с инкрустациями, и он очень ею дорожил. Он сжал ее в кулаке, взмахнул и полюбовался на свою боевую руку. Она, верно, выглядела здорово. Финка была блестящая и кроваво-коралловая.

— Вот этак, мадам, — сказал он.

Актриса стояла и глядела на него почти безумными глазами.

— Да никуда я вас не пущу. Это же самоубийство. При мне... Да нет, нет!.. — крикнула она.

Он поморщился и кинул финку на стол.

— Ну как в моем дурацком сценарии! Слушай сюда, глупая, — сказал он ласково. — Ни беса лысого они со мной не сделают. Клянусь тебе честью! Честью своей и твоей клянусь. Это же трепачи, шпана, пьянь, простые пакостники. Они у нас на Севере пайки воровали, а мы их за это в сортирах топили. Не до смерти, а так, чтоб нахлебались. И поучить их я поучу сегодня.

— Там их придет десяток. Они вам и развернуться не дадут. Там же такие кусты.

— Ну я тоже не слепой. Увижу. А с этой публикой так: дашь одному по морде, свалишь другого, и разбегутся все. Но смотри, какой ужас на тебя нагнали. Ну как же их не учить после этого, болванов?

Он говорил легко, уверенно, убедительно, и она постепенно успокоилась. Он всегда мог заставить ее поверить во что угодно. Вот и сейчас она взглянула на него, спокойного, неторопливого, собранного, — в личной жизни он не был такой — и почти поверила, что страшного не случится. Просто поговорят по-мужски, и все. Он тоже понял, что она пришла в себя, засмеялся и похлопал ее по плечу.

— Ну-ну. Будь паинькой. Сиди и жди... Потом проводишь меня на вокзал. Поеду на дачу. А то три дня здесь торчу, пью со всякой шоблой, а работа-то

лежит. Возьми сумочку, попудрись, вытри глаза, они у тебя сейчас краснее, чем у морского окуня, и ресницы потекли. В зеркало-то посмотрись. Хороша Маша, а?

— А без этого никак нельзя? — спросила она, вынимая сумочку.

— Никак. Ну понимаешь, никак! Они наглеют. А поймут, что я струсил, и действительно шуганут чем-нибудь из-за угла или в подъезде, как того несчастного, подкараулят. А здесь — все открыто!

— Ой! — И она снова вскочила.

— Сиди! Сейчас вернусь. Можешь из кухни поглядеть, там все видно.

— Тогда и я с вами...

— Одолжила. Так что, мы им спектакль собираемся показывать? Юлиана Семенова в четырех сериях? Сиди, и все.

И он снова притиснул ее за плечи к дивану.

Однако после разговора по телефону не прошло и пяти минут. До пустыря же было только два шага — улицу перебежать. Так что же, торчать на виду?

Он снова сел к столу, подперся и задумался. Зазвонил телефон. Он нехотя снял трубку, послушал, оживился и сказал:

— Да, здравствуйте. Ну, узнал, конечно. — Еще что-то послушал и ответил: — Буду там целый день. Пожалуйста. Нет, не рано. Я встаю в шесть. Так жду. — Положил трубку и усмехнулся. — Эта встреча на пустыре — что! Вот завтра редактор ко мне с утра нагрянет...

Она сразу поняла, о ком он говорит, и пособолезновала:

— Вы так его не любите?

Он поморщился.

— Да нет, не то чтобы я не люблю его, но просто...

Она поднялась с дивана, подошла к зеркалу, потом взяла стул и села у стола рядом с ним.

— ...Но просто не любите. — И вдруг пальцем по зеленой бумаге начала старательно выводить что-то продолговатое, закругленное, закрученное, со многими зализами и заходами то туда, то сюда, то вовнутрь, то вне.

— Что это? Змея?

— Почти. Лекало. Линейка для начертания кривых линий. Это он. А вы вот! — И она быстро — раз-раз-раз! — вывела овал, на овале две черточки внизу, две черточки сверху и над ними кругляшок и на кругляшке много-много мелких, торчащих вверх, и в бока, и вниз черточек — голова, патлы, руки и ноги.

Он засмеялся.

— И меня так в детстве учили. Ножка, ручка, огуречик — вот и вышел человечек...

— Да вот, вышел человечек, — улыбнулась она ему прямо в глаза.

— Хм! Значит, вот я какой — ручка, ножка, вихры, — не очень-то, знаешь, лестно.

— Не очень, конечно, но лекало много хуже.

— Хуже? Такое изящное?

— Я его ненавижу. Оно хитрое, вокруг всего изгибается, все обнимает, ко всему подползает. У него нет ничего прямого, а все в изгибах, в перегибах, изломах.

— И многих таких ты знаешь?

— Да у нас все такие. Я сама первая такая.

— Славно! А я, значит, вот какой... — Он ткнул в то место, где был незримый рисунок.

— Да, ты вот такой. — Она первый раз сказала ему "ты".

Он подумал и встал.

— Ну, кажется, время. Пойду. Сиди смирно. Я быстренько.

Но запоздал он здорово. Она уже сидела успокоенная, потому что видела — никто к нему не подходил и на пустырь не заглядывал. Он только зря

проторчал полчаса на ящике из-под марокканских апельсинов.

— Суки позорные, трепачи, — сказал он крепко. — Ну, сунетесь ко мне еще! — И стукнул на стол граненый стакан — спасенье алкашей. У него их был полный шкаф — кто-то ему сказал, что они приносят в дом удачу. — Вот венок тебе из одуванчиков сплел, пока сидел. Смотри, как солнышко. Понюхай-ка. А шмелей, шмелей там, все гудит. Ты на машине? Руки не дрожат? Покажи. Отлично. До вокзала меня подбросишь?

— Да я сегодня могу и до места.

— Нет, до места как раз сегодня не надо. Выходные же. Сейчас всюду посты понатыканы. На поезде скорее.

— А может, останетесь? Завтра бы уж.

— Нельзя. Жена совсем потеряла. Кошки воют. Они меня любят. Поехали!

До последнего дачного поезда еще оставалось добрых полчаса, и народу было немного. Уже совсем стемнело. Горели фонари. Воздух после тяжелого знойного дня был неподвижный и какой-то застойный. Пыльные тополя млели в лиловом фонарном свете. Подошел человек и сел рядом.

— Не знаете, сколько сейчас времени? — спросил он у соседа.

— Да через пять минут подадут состав, — ответил сосед. — Да что, вы меня не узнаете, дорогой? — И сосед назвал его по имени-отчеству.

— Боже мой! — воскликнул он. — Какими же судьбами? Вы что, живете теперь на этой ветке?

— Да нет, не живу, а так, гощу у одного приятеля. Да вы его знаете. — И он назвал фамилию довольно известного очеркиста. — Я его устроил там на даче и вот иногда в выходные приезжаю к нему заночевать. А утром гуляем, купаемся, водку пьем. Хорошо.

— Еще бы! — ответил он с улыбкой, разглядывая своего соседа.

Это был бывший сотрудник какой-то районной газеты, а сейчас председатель областного общества книголюбов. Как-то года два назад он позвонил ему и пригласил выступить на одном вечере. Просто поговорить или прочитать отрывок. Вечер прошел очень успешно. Много аплодировали, срезали и поднесли букет великолепных гвоздик, провожали целой группой и очень просили приезжать еще. С этих пор и завязалось у него с книголюбом не то что приятельство, а хорошее знакомство. Книголюб внешне очень нравился — эдакий крепыш, с круглым лицом, карими, в крапинках глазами и смешным вздернутым носом. Ни дать ни взять — тракторист или бригадир. Книголюб приглашал его часто то туда, то сюда — то с чтением повестей, то с лекцией о каком-нибудь юбилее, а то и просто поговорить о писателях и писательском труде. Был он очень обходителен, прост и всегда хорошо платил, и это писатель ценил тоже. В деньгах писатель постоянно нуждался. Его мало печатали и никогда не переиздавали. А год назад он закончил свой большой роман, и тот пошел по рукам. Тут и посыпались все его неприятности, начиная с этих звонков и кончая редакционными отказами. Но все это он предвидел и не очень-то огорчался.

— А где вы сейчас сходите? — спросил он книголюба.

Тот назвал ему станцию — не так близкую, но и не больно отдаленную, примерно за полчаса от того места, где жил сейчас писатель.

— Ну, значит, успеем наговориться. Знаете, уже соскучился по вас.

Подошел поезд. Вагоны были почти пустые. Электричество горело вполнакала.

— Ну как с романом, ничего не предвидится?

— Куда там. У меня настоящий мертвый сезон, дорогой!

— Одиннадцать лет, говорят, писали?

— Даже с хвостиком.

— Да! — снова вздохнул книголюб и даже головой покачал. — А сейчас, говорят, неприятности у вас какие-то пошли? Грозит вам какая-то шпана...

— Вот именно шпана. Да нет, ничего серьезного. Так, обычная бодяга.

— Не бойтесь. В случае чего в обиду не дадим. Вот! — И он показал небольшой, не крепкий кулак.

— Да я и не боюсь, — улыбнулся писатель, — но все равно спасибо.

— Слушайте! — вдруг взял его за рукав книголюб. — А вы не сойдете со мной? У нас там еще поллитра воспитательной стоит, а?

— Соблазнительно! — улыбнулся писатель. — Змий! Зеленый райский змий вы!

— Нет, правда? А завтра утречком и поехали бы к себе. Что ж в такую темень переться-то? Жена ваша небось уж седьмой сон видит. А тут я бы вас познакомил с одним вашим страстным читателем. Он там тоже живет. Молодой парень. Пишет исторический роман. Вот обрадовался бы он! Сойдем, а?

— Очень, очень соблазнительно. Говорите, поллитра? А что за роман у этого парня?

— Да я, знаете, не читал. Но знаю, что исторический.

— А из нашей истории или зарубежной?

— Зарубежной.

— А страна какая?

— Дания.

— Ого! Он так хорошо знает датскую историю? Это же редкость. А как его фамилия?

— Фамилия! Черт! Вот тоже забыл. Я ведь его все больше по имени — Саша, Саша, ну и фамилию тоже знал, конечно. Черт знает что происходит с памятью.

"Действительно, черт знает что происходит в мире, — подумал писатель, — все что-то сходят с ума. Все потеряли память".

— Так, может, решитесь, сойдем! — снова сказал книголюб. — От станции десять минут ходьбы. Так бы хорошо посидели.

— Так понимаете, жена, боюсь, сбежит. На черта ей такой муж? Пьет, пропадает черт знает где, куда и с кем. А то я бы с таким удовольствием...

— Прекрасная она у вас женщина, — сказал книголюб прочувствованно, — только вот ко мне что-то не больно хорошо относится.

— Это откуда вы взяли? — очень удивился писатель и подумал, что жена-то и видела книголюба всего однажды и он ей, верно, сразу не понравился. Вернее, что-то ее в нем насторожило.

— Так она почему-то подумала, что я того... — И он постучал пальцем по скамейке.

Писатель смолчал, потому что и это была правда. Они обсуждали — откуда он, дескать, такой хороший появился и именно в это тревожное время, но поделилась она своими сомнениями только с одним знакомым. Его имя назвали вместе книголюб и та женщина, которую он тогда привел с собою. Оказалось, что у них, таким образом, есть общие знакомые. Вот к этому общему знакомому и позвонила жена, но ничего конкретного так и не узнала. "Нет, та женщина очень хорошая, — сказал общий знакомый. — Только ведет себя не больно осмотрительно. Знакомства у нее нежелательные. Литературу всякую читает и передает. Язычок длинный. Может быть, за ней и еще что-нибудь более серьезное водится, так что, возможно, он за ней и наблюдает. Хотя тоже навряд ли, а то я бы знал".

Вот и весь разговор. Как же его узнал книголюб? Общий знакомый ни в коем случае проговориться не мог, и вдруг перед ним блеснуло! Ведь говорили-то по телефону. Значит...

Поезд стал замедлять ход. Замелькали престанционные постройки и кирпичные теремки.

— Ну, я приехал! — сказал книголюб и встал. — Так что, сойдем?

— Нет, поеду к жене! — решительно отрезал писатель. — Что-то стало познабливать.

— Ну, тогда, значит, до свиданьица! — развел руками книголюб.

— Всего хорошего, — кивнул головой писатель и подумал: "Нет, я определенно болен, лезет же в башку всякая блажь. К психиатру надо бежать!"

Он машинально проследил глазами за книголюбом. Тот шел по перрону и вдруг остановился и помахал рукой кому-то, находившемуся вне поля зрения. И тут писатель увидел, что это совсем не та станция, которую книголюб ему назвал, до той было еще несколько прогонов. "Черт знает что!" И не успел он подумать, как быстрым шагом, почти вбежал книголюб и грохнулся на прежнее место.

— Спутал! — сказал он. — Вот башка! Я, кстати, вспомнил фамилию того писателя. Вирмашев. А книга из времен Гамлета, семнадцатый век.

— То есть это Шекспир написал своего "Гамлета" в семнадцатом веке, а тот жил много раньше, в одиннадцатом веке! Так, по крайней мере, сообщает Саксон Грамматик. Других источников нет, так что, может, и никакого Гамлета вообще не было!

— И все-то вы знаете, — умилился книголюб и вынул блокнот.

— Так Вармишев? — спросил писатель и нарочно переменил одну букву. Книголюб кивнул головой. — Говорите, у него пол-литра?

— Да, может, и больше. Там самогонку гнали на свадьбу.

"Э, сойду, — быстро решил писатель, — только так и можно вылечиться, а то и впрямь сойдешь с ума. Да и чего мне бояться? Роман написан, а через неделю мне шестьдесят восемь! Хватит! А парень славный. Это я болван, черт знает что придумываю. Пугаю себя".

— Хорошо, — сказал он. — Сойдем.

— Ну вот и чудненько, — обрадовался книголюб, даже руки потер.

Писатель машинально сунул руку в карман. Но финки там не было. ”Ну и черт с ней, — подумал он, — страхом от страха не лечатся, лечатся бесстрашием...”

...Они сошли через две остановки. Это был маленький лесистый полустанок, вернее, даже не полустанок, а платформа. Совсем стемнело. Стояла прохладная, чуть подсвеченная одиноким желтым фонарем полутьма. Где-то рядом был, наверно, пруд, потому что тянуло тиной и стоячей водой и вовсю заливались лягушки. Большие, теплые, спокойные лужи стояли на асфальте и в колдобинах. Крошечные бурые лягушата прыгали вокруг. Писатель наклонился, ласково провел рукой по рослой траве.

— А здесь дождичек шел, — сказал он, вдыхая полной грудью смолистый воздух.

Книголюб нежно подхватил писателя под руку, и тот бедром почувствовал его карман. То есть то плоское, гладкое и массивное, что было у него в кармане. ”Браунинг, небольшой, наверно, бельгийский”, — понял писатель и спросил:

— А что это у вас там?

— Браунинг, — улыбнулся книголюб. — Смотрите! — Он мгновенно выхватил браунинг и навел его на писателя. — Ну, — сказал он и, приставив револьвер к своему виску, чем-то щелкнул. Выскочило высокое, голубое, прозрачное пламя.

Оба засмеялись.

— У одного алкаша за пятерку взял, — сказал книголюб и спрятал зажигалку. — Немецкая работа. Вороненая сталь. При случае можно кое-кого пугнуть. Ну вроде тех, кто вам звонит.

— А ну их! Скоро дойдем?

Они вошли в лес, и сразу еще сильнее запахло смолой и хвоей. Книголюб по-прежнему держал писателя под руку, слегка прижимая его к боку, и тот чувствовал его крепкие, неподвижные, словно вылитые по форме мускулы.

— Да уже почти дошли. А вы что, сильно устали?

— Устал, — вздохнул писатель. — Я очень устал, товарищ дорогой. Последнее время было такое трудное.

— Одиннадцать лет писали... Ну, ничего, сейчас отдохнете от всех ваших трудов, — словно чему-то усмехнулся книголюб.

"Мертвая хватка, — вдруг остро подумалось писателю. — Поршни, а не мускулы. Те, что у локомотивов ходят. От такого не вырвешься. Лес и в лесу избушка на курьих ножках..."

Книголюб вдруг зажег карманный фонарик. Что ж он его не вынул раньше? Осветилась дверь. Это была, очевидно, избушка лесника. Стояла она на отшибе, и жить в ней мог только очень отважный или хорошо вооруженный человек. Книголюб дотронулся до двери, и она отскочила, как автоматическая. Они вошли, и дверь сзади по-волчьи щелкнула сталью.

"Все, — холодея, но даже с каким-то облегчением подумал писатель. — И никто не узнает, где могилка моя. Просто сел в поезд и не сошел с него. Растворился в воздухе. Винить некого. Следов нет. Полная аннигиляция".

Отворилась вторая дверь. Два здоровых молодца сидели за столом, покрытым клеенкой, и на полу была тоже клеенка. Белая, скользкая, страшная. Горела лампа в стеклянном зеленом абажуре. "У отца в кабинете стояла такая", — подумал он. Один парень был кругленький, с аккуратно подстриженной головой, румяный, как зимнее яблочко, с загаром. Другой походил на лошадь с белой гривой. Парни молча смотрели на него. Румяный улыбался. Белогривый молчал. Книголюб стоял сзади. Никто ничего не сказал. Просто нечего было уже и говорить.

— Значит, у пустыря на ящике? — спросил белогривый. — А мы вот тебя куда пригласили, на дачку, с ветерком. — И улыбнулся, показывая плоские, тоже лошадиные, зубы. Он был совершенно неподвижен, но как-то страшно, смертно напряжен, и эта его

напряженность словно создавала в комнате, обитой белой клеенкой, незримое, но тягостное силовое поле.

"Да, этот, верно, загрызет сразу", — подумал писатель.

— Сейчас ему будет ящичек с крышечкой, — улыбнулся румяный. — Сыграет он в него. Хватит, повредил, поклеветал, попил нашей кровушки, падло.

Писатель хотел отскочить, но не мог, хотя ноги стояли совершенно прямо, не двигались, словно в силовом поле. В это время что-то железное и неумолимое сдавило ему шею и раздавило горло. Он даже крикнуть не успел, только подавился кровью. Очевидно, книголюб был выдающийся мастер своего дела. Ослепительный, горячий, багровый свет, целая пелена его еще какие-то доли секунды стояла перед ним, но не в глазах уже, а в мозгу, но тело его, за долгие годы привыкшее ко всему, даже к смерти, было еще живо и отвечало злом на зло. Книголюб переломился от страшного удара ногой в низ живота. Тиски распались. "Ну", — сказало тело, мгновенно отскочив и прижимаясь к стене. Оно было ужасным — в крови, в какой-то липкой гадости, багровое, с глазами, вываливающимися из орбит. Все это произошло в считанные секунды. Румяный вскочил, схватился за карман, но сразу же сел опять. И тогда лошадиный с криком "врешь, гад!" бросился к прижавшемуся к стене, все еще страшному и готовому к смертной схватке человеку. Он запустил в него плоским пресс-папье, и оно угодило острым углом прямо в висок. Тело рухнуло на колени. Но когда лошадиный подлетел, чтобы ударить еще, оно, тело, схватило его за ногу и подсекло. Они покатились по полу. Лошадиный сразу оказался внизу. И тогда румяный подошел и четким, хорошо рассчитанным движением ударил находящегося сверху ланцетом. Удар точно пришелся в ямочку на затылке. Руки разжались. Комок распался. Румяный ударил еще в то же место. Лошадиный встал. С него текло. Он весь

зашелся в кашле. А румяный наклонился и профессионально — при повороте у него вдруг сверкнул багрянцем медицинский значок — пощупал пульс, потом заглянул в быстро потухающие глаза.

— Все, — определил он.

— Ну спасибо, молотки, — просипел книголюб, разгибаясь и переводя дыхание, — только отойдите, отойдите! Видите, тут все заляпано! Эх, черт! Вот что значит не подготовиться. Ведь свободно убить мог, гад! Сейчас машина подойдет. Она рядом с нами ехала. Я ей вышел просигналил.

Лошадиный стоял и смотрел. Ему здорово попало. Дышал он с каким-то свистом и всхлипом.

— Ух! — сказал книголюб с ненавистью и врезал носком ботинка по виску трупа. — Ух, гад! — Он ударил еще и еще, но голова только мягко перекатилась по клеенке.

Лошадиный стоял, рот у него был полуоткрыт, зубы блестели.

— Здоровый! — сказал он. — Вот уж никогда не думал, что он с вами поедет. ''Приходи, мужик''. — Не поймешь, что особенное прозвучало в его голосе и в этих словах. Но оно точно прозвучало. Поэтому книголюб поглядел на него.

— А ты сядь, сядь, а то весь дрожишь, — сказал он. — Куда он тебя ткнул-то? Эх, стрелять тут нельзя.

— Со мной по телефону говорил, ругался, мужиком назвал. Эта к нему прибежала, уговаривала, плакала, я все слышал, — нет, пошел. Букет ей еще нарвал, одуванчиков. Разве такого уговоришь?

— Да что ты, жалеешь его, что ли? — рассердился книголюб. — Мало он тебе съездил. Ну-ка выпей воды.

Белоголового трясло, лицо его сразу промокло, и не оттого, что плакал, а оттого, что его всего начало выворачивать.

— Давай, валяй прямо на него! — насмешливо крикнул книголюб. — Вот нашелся мне тоже иждивенец. Если плакать по любому гаду...

4–2280

Прогудела сирена.

— Иду, иду, — сказал книголюб и вышел.

— Вот кого бы я сделал, — сказал беловолосый, — сразу бы...

— А он-то при чем? — удивился румяный с медицинским значком. — Ему приказали, а он нам приказал. Вот и все.

Беловолосый сел на стол, открыл ящик, вынул бутылку, скусил металлическую пробку, налил полный стакан и выхлестнул сразу. Потом посидел, скрипнул зубами и вдруг ухнул ногой по тумбочке стола. Стол загудел и задребезжал — он был фанерный, тут все было ненастоящее: фанерное, клеенчатое, кроме запоров — вот те, верно, были стальные и автоматические.

— Прямо сгрыз бы, — сказал лошадиный. — Слышал я этот приказ. Когда я ему прорадировал, что этот выходит ко мне, он сказал: ''Э, нет, так не годится. Иди и в дежурке жди. Раз он не боится, надо не предупреждать и дело делать''.

— Ну и что? И правильно, — сказал румяный. — Вот и сделали.

— А потом через сколько-то радирует мне: 'Поезжай в лесную сторожку. Ты не требуешься. На дачу поехал''.

— Он и на дачу трех послал с машиной. Ему бы так и так был конец, — сказал румяный, — так что не переживай.

— И эта кукла удержать его не могла. Еще подвезла, чувиха безголовая.

— Тише! Они идут. Кончай выступать.

* * *

— Так Вармишев, — спросил писатель и нарочно переменил одну букву, — и говорите, у него поллитра?

— Даже больше, наверно. Там самогон гнали. Так, может, сойдем?

— Да нет, — улыбнулся писатель. — Уж, похоже, буду добираться до дома, до хаты. — Но вдруг, когда книголюб был уже в тамбуре, крикнул: — Секундочку! Встречное предложение. Поедем ко мне. Ну и что что спят? В холле посидим. У меня там заначка хорошая есть. Ради Бога, только не отказывайтесь! А то я совсем стал с ума сходить. Вот сижу с вами и наяву брежу.

И тогда книголюб послушно возвратился, опустился на свое место.

— С вами куда угодно.

А он, старый человек, инженер душ человеческих, как некогда выразился некто, тоскливо, с глубоким неуважением к себе подумал: "Какие же мы все-таки трусливые твари! Позвони нам так еще парочку раз, и мы от всех будем бегать. Те гады хорошо знают, что делают. Вот я расхрабрился, пошел к ним, вернулся гордый, ничего, мол, не боюсь, а потом всю дорогу издыхал от страха". Ему было так нехорошо, что он даже не знал, что сказать и что сделать. Ведь перед ним сейчас сидел обыкновенный простецкий парень, который искренне любил его, а он даже любовь стал считать за фальшь и подсидку. Так стоил ли он тогда когда-нибудь настоящей любви? Он думал об этом, пока они ехали, а потом шли, и поэтому все время болтал что-то мелкое, несуразное, только чтоб заглушить в себе этот стыд. Да нет, ему даже уже не было стыдно, он просто весь болел и пылал, как открытая воспаленная рана. Боталы! Дешевки! Грошовое повидло, как говорили на Севере. Ничего не прямо, все в обход. Ничего на руку, все в себя! Изогнулись, как гадюки в болоте, перегрызлись, как собаки в клетке у гицеля. Ручка, ножка, огуречик... Да если бы было хоть так, а то ведь ничего подобного.

— Лекало, — сказал он вдруг громко и остановился, — чертово лекало.

— Ну за что вы его так? — огорчился книголюб. — Я сам был чертежником, там без лекала никак не обойдешься.

— Да, но я же не чертеж! — крикнул он в отчаянии. — Я же как-никак человечек. Я же ручка, ножка, огуречик! А не какое-то лекало.

Кто-то из темноты засмеялся, а женский голос объяснил:

— А на этих электричках всегда только вот такие из Москвы возвращаются. Нажрутся там...

Прошли еще с полквартала, и тут книголюб сказал:

— Ну, кажется, дошли. Вон вывеска "Дом творчества". До свидания. А я, извините... — Он побежал обратно. — А то и не уеду. А мне обязательно нужно быть там. Сегодня же.

— Так вы не зайдете? — разочарованно вслед ему крикнул писатель.

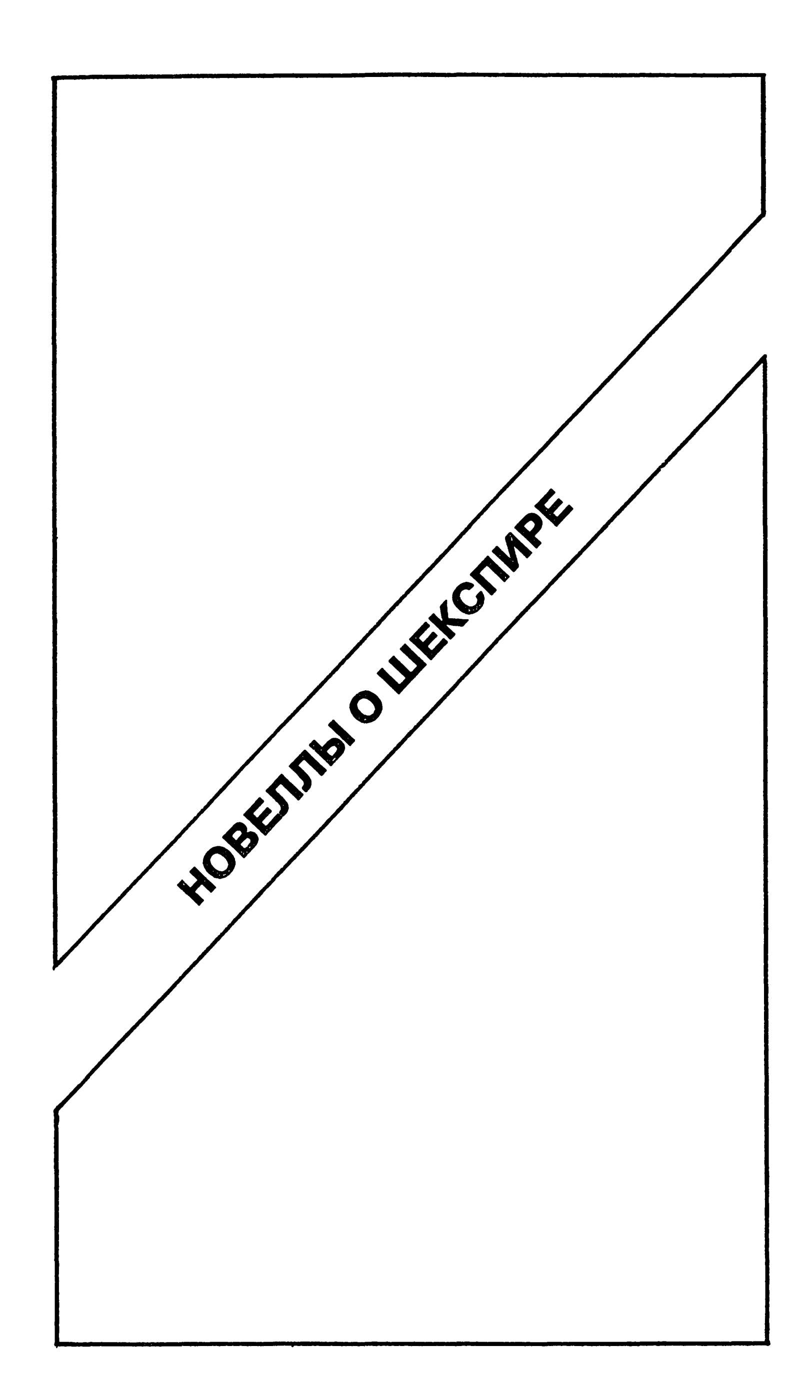
— Извините. Не могу! В другой раз! Я вас только до дому провожал. Вижу, что вы как-то не вполне в себе. У меня уже ни минуты не осталось. Пока!

— А пол-литра что же?

— Так я же непьющий, — засмеялся книголюб. — Что, забыли разве? Да?

Да, да, он все, все забыл.

Москва — Голицыно, 1977


НОВЕЛЛЫ О ШЕКСПИРЕ

СМУГЛАЯ ЛЕДИ

Только глупец может считать стратфордского Шекспира автором "Гамлета" и "Короля Лира"...

(Из одной старой книги о Шекспире)

По единогласному заключению ученых, Гулливер не что иное, как миф, легенда, созданная простым народом, в виду его склонности к чудесному и необыкновенному. Гулливер не существовал никогда, а тот, кто утверждает обратное, лишается звания ученого, навсегда изгоняется из академии и предается проклятию в "Ежегоднике".

Леонид Андреев, "Смерть Гулливера".

Глава 1

ТЕАТР

I

Ричард Бербедж, играющий преступного короля, пришел со сцены, снял на ходу железные рыцарские перчатки и с размаху бросил их на дряхлый скрипучий столик.

— ...с этой вашей пьесой-то!.. — сказал он крепко и очень искренне.

Все, кто сидел в уборной, переглянулись, — таким Бербеджа видели впервые, что-что, а спокойствие он не терял никогда. Длинный малый в женском платье покосился на него и встал с табуретки, уступая место.

— Да сиди, сиди! — приказал ему Бербедж раздраженно и милостиво. — Сиди, я еще Билла буду

ждать! Ах, черт! Ну уж, я ему на этот раз скажу одно слово... Да, скажу.

Он прошел и сел к другому зеркалу, нахохлился, погрыз большой палец и вдруг раздраженно фыркнул.

— "Сборы, сборы!" — передразнил он. — Вот и сборы — два пенса да медная пуговица на дне кружки! А то еще "сборы"!

Опять все переглянулись. Хотя, верно, сборов не было, но все знали — Бербедж сердится все-таки не за это. Сборы-то сборами, а играть было тяжело и противно. Публика слушала плохо, громко разговаривала, и раз чуть было не вспыхнула драка и пришлось на добрых пять минут прекратить игру: в партере поймали воришку, и тот стал визжать и вырываться. Поднялся шум. Но тут со сцены, где сидела чистая публика, вдруг поднялся высокий молодой в голубом зимнем плаще с тремя золотыми леопардами и гаркнул оскорбительно и громко:

— Эй, вы, милорды! Висельная дичь!

Ему ответили руганью, хохотом и свистом, кто-то даже запустил моченым яблоком, но молодец был тоже не промах, он встал — а был он высок и хорошо сложен — молча обнажил до половины шпагу, потом вытянул руку, сжал кулак и показал его партеру.

— Гы-ы! — длинно было засмеялся какой-то дурак, но в партере поняли и сразу же замолкли. Тут пахло серьезной дракой, а то, пожалуй, и кровопролитием.

Шум замолк, и пьеса продолжалась, но Бербеджу-то все это было очень неприятно, он играл плохо, с накладками, и чувствовал, что и зрители понимают, что он не в себе, а мучительнее этого состояния для него вообще ничего не было. Теперь он сидел красный от стыда, раздевался и был так зол, что вообще никого бы не хотел видеть: ни приятелей, ни театр, ни эту темную, скверно обставленную уборную, где все шатается и скрипит, ибо все здесь сделано на скорую руку, — он сам был столяром и сыном столяра

и в этих вещах толк понимал. Кроме того, было еще и холодновато, со сцены через колючие доски дуло так, что шевелились дешевые, реденькие занавески. Бербедж кончил раздеваться, встал и тут в дверь вкатился пухленький, толстый человечек с очень румяным и ясным лицом.

— Уф, — сказал человечек и покачал головой, — ведь еле-еле протискался. Его величеству привет!

Он сам взял стул, сел на него верхом, вытащил платок и начал вытираться. Лицо было потное и блестело.

— Еле-еле, — повторил он. — Там какого-то молодца потащили купать, говорят, что кошелек срезал. А что это ваше величество не в духе?

Бербедж, когда увидел старика, сразу просветлел.

— Сплошной убыток, мистер Четль, — сказал он весело. — Это прибавка — одиннадцать шиллингов на брата, кажется, все, что останется в кассе. Ведь это с ума сойти — играть такую трудную пьесу, со столькими переодеваниями, за одиннадцать шиллингов на человека. Где у него была только голова?

— У кого это? — спросил старик.

— Да все у него, у Билла. Понимаете, вчера приходят два каких-то джентльмена, встречают Билла и спрашивают: "Что вы играете седьмого февраля?" Билл им отвечает: "Ромео и Джульетту". — "Нет, играйте "Ричарда Второго". Билл говорит: "Это нам невыгодно, сборы маленькие, пьеса уже давно не идет, половина зала пустая". А они говорят: "Мы заплатим по одиннадцать шиллингов каждому участвующему". Ну, Билл и настоял, чтобы отменили "Ромео". — Он вдруг опять помрачнел и выругался. — Знаете почему? Нет! Меня-то не проведешь. Он там играет монаха. Роль-то маленькая, но у него там строк сорок в самом конце, а он... Ну, в общем, ему теперь надо освобождаться пораньше.

— О?! — покачал головой старичок, его глаза округлились от удовольствия. — Это какая же? Неужели все та же?

— Ну! — ответил Бербедж с легкой улыбкой, снисходительной и чуть-чуть высокомерной (старик заметил и это). — Нет, конечно. Там дело вполне конченое.

— Ах, значит, и сонеты не помогли? — глумливо спросил старик.

Бербедж ничего не ответил, только головой мотнул.

Так они, улыбаясь, смотрели в лицо друг друга, отлично понимая все и слегка злорадствуя.

— В ее гнездышко залетает теперь большая птица, — сказал Бербедж очень отчетливо, — ее милость завела себе такого пеликана, что он каждую ночь прилетает клевать до крови ее сердце. Ее душа теперь наполнена до краев дарами его милости.

— Хотел бы я знать тогда, — сказал старик задумчиво, — что у леди называется душой и куда она ее прячет на ночь?

Все, кто был в уборной, засмеялись.

— Вы уж скажете, мистер Четль, — махнул рукой Бербедж.

Зашел кассир — старик медлительный, сухой и сердитый.

Все обернулись к нему.

Он дошел до стола и со звоном грохнул на него медную кружку.

— Черт знает что такое! — сказал он. — Напакостили целую бочку да и перевернули ее под конец. Такая вонь пошла по всему помещению! Велел курить можжевельник. Да куда там! До сих пор не продохнешь.

— А почему перевернули бочку? — быстро спросил Четль.

— Вора купали, — сердито ответил старик и погремел кружкой: — Выручка-то, видите, а?

— Нет, Билл совсем сошел с ума! — решительно сказал Бербедж.

— Но к кому же он тогда бегает? — задумчиво спросил старик. — Чтобы Виллиам без всякой причины потерпел убыток? Да никак я этому не поверю.

Если он промахнулся, значит, было из-за чего. Было, было, мистер Бербедж. Будьте уверены, что было.

— Очевидно, что так, — сказал Бербедж.

— Если я говорю, что это так и есть, будьте уверены. Да, что-то делается с Биллом. Помните, вы мне рассказывали, что он начал для вас новую пьесу? Ведь это было месяца три назад, никак не меньше. И помните, вы говорили, что недели через две она уже пойдет. Так где же она? А вот я действительно пишу трагедию и поставлю ее.

— А вы что-нибудь разве пишете сейчас? — спросил кассир. Он тоже имел долю в театре, и его мучило, что сборы начали падать.

— Я-то пишу, — важно кивнул головой Четль, — я-то, молодой человек, пишу! Не говорю наверное, но очень скоро, возможно, что в этом месяце я окончу большую трагедию про Вильгельма Завоевателя, и посмотрите, какие сборы она будет делать.

— Ну что ж, дай-то Бог! — мирно согласился Бербедж, которому очень хотелось, чтобы Биллу натянули нос. — Вильгельм Завоеватель солиднее Ричарда. Во всяком случае, пришел раньше его.

— Да, — подтвердил Четль. — Был солиднее и пришел раньше. Но только для того, чтобы приобрести мою трагедию про этого несравненного героя, вам придется раскошелиться. Это ведь не ваш дурной "Ричард", за которого и одиннадцать шиллингов высокая цена. Так я прямо и скажу, когда мы встретимся с вашим Шейлоком.

— Ладно. Будет мех, будет и цена, — ответил Бербедж. — Я иду в "Сокол". Поищу Билла хотя бы там. Не составите ли мне компанию?

II

В коридоре, узком и темноватом, их остановил мальчишка, бойкий, востроглазый чертенок, один из тех, что держал лошадей у входа в театр, и сунул Бербеджу записку.

— От кого? — спросил Бербедж, не удивляясь.

Мальчишка только хмыкнул.

— О! — почтительно сказал Четль и даже отступил.

— А ну, держи фонарь, — приказал Бербедж мальчишке и стал читать.

Конечно, и Четль заглянул туда же.

— Кто тебе передал это? — спросил Бербедж, комкая записку в кулаке.

— Там... У входа... — неопределенно сказал мальчишка.

Бербедж повернулся к Четлю.

— Ну что же, раз зовут, надо идти, — сказал он с той чуть презрительной, извиняющейся, но вместе с тем и покорной улыбкой, которую Четль в этих случаях давно заметил у актеров первого положения. — Ну, я не прощаюсь с вами. Вы не выпьете и двух кружек, как я приду.

— Мистер Ричард, кто вас зовет? — спросил строго Четль. — Неизвестный человек? Что ему нужно от вас? Какие могут быть тут разговоры, коли вы его и знать не знаете? Почему он подослал мальчишку, а не пришел сам?

— Ну! — сказал Бербедж и засмеялся. — Мало ли почему!

— Смотрите, смотрите, — пригрозил Четль. — Помните, как погиб Марло?

— Чепуха! — ответил Бербедж. — То Марло, а то я! Идите, я сейчас же догоню вас.

И он отошел с мальчишкой.

* * *

Двое стояли несколько поодаль от входа, в одном Бербедж узнал того молодца в плаще с леопардами, которого он сегодня заметил в театре. Другой стоял спиной к ним, прислонившись к столбу. Когда молодец увидел Бербеджа, он молча повернулся и

пошел к Темзе. Дошел до мостков и остановился. ”Вот как?” — подумал Бербедж. Но время было еще раннее, только что начало смеркаться, да и народ толпился повсюду, особенно около мостков через большую сточную канаву, где стоял молодец. ”А, да что там!” — подумал Бербедж и пошел. Как только молодец в голубом плаще отошел, тот, что стоял спиной, повернулся и посмотрел на Бербеджа. Это был юноша среднего роста, но очень тонкий и хрупкий, порядком смуглолицый, с черными большими глазами, выражения которых Бербедж никак не мог уловить, и чуть заметными черными усиками над верхней, немного выдающейся вперед губой. На нем был длинный белый плащ, а сбоку торчала шпага. Увидев его, Бербедж вздрогнул и остановился. Уж слишком непривычным было его лицо — чуть ли не мальчишеское, очень свежее, но вместе с тем резко отличное чем-то от всех мальчишеских и юношеских лиц. И вдруг Бербеджу показалось, что он где-то видел этого юношу и даже знал его, пожалуй, но вот забыл. Так с десяток секунд они и смотрели друг на друга. Потом юноша слегка улыбнулся — так, что чуть вздернулась верхняя, поросшая черным пушком губа, показались круглые, мелкие и блестящие зубы. Резким движением плеча поправил плащ и пошел к Бербеджу. Шел он твердо, отчетливо, чеканно. Но Бербедж обратил внимание, что длинная шпага все-таки очень стесняет его движения, и надел он ее не на тот бок. ”Что за черт!” — подумал Бербедж. И тут юноша вдруг тихо, но очень ясно сказал:

— Мистер Бербедж!

— А! — почти крикнул Бербедж и даже отступил.

— Ну-ну! — сказал юноша успокаивающе. — Не надо. И так на нас уже смотрят. Идемте-ка.

Он предложил Бербеджу руку, они обогнули круглое здание театра и пошли вниз, к городскому саду.

Было шумно и весело в этом саду. Какой-то пьяный матрос, широколобый, кривоногий, обвет-

ренный, как черт, с толстой рассеченной губой, рыча, дразнил ручного медведя. Зверь уже вставал на дыбы, обхватывал голову лапами и яростно рычал.

Несколько гулящих девок, в особенности одна — маленькая, краснощекая, под хохот и восторженные визги ребятишек кричала что-то обидное высокому нескладному парню, который — поскорей, поскорей от греха подальше! — хрустя, топал по замерзшим лужам и все никак не мог дождаться, когда же он зайдет за угол.

— Так значит, вы не сразу узнали меня? — спросил юноша.

— Я еще до сих пор не приду в себя, — ошалело ответил Бербедж. Он уже понимал кое-что. — Если бы не ваш голос... — Они все ускоряли и ускоряли шаг. — Я думал, конечно, что вы можете прийти, искал вас во время спектакля.

— Вот видите, я и пришла, — ответил юноша.

Они перешли дряхлые мостики, покрытые бурым льдом, и теперь пересекали площадь. Молодец в леопардах вдруг оказался каким-то образом впереди. Бербедж нахмурил брови, соображая: что-то сулит ему это приключение? И что оно вообще значит? Любовь? Деньги? И вдруг вспомнил: а Четль-то?! Он оглянулся.

Толстяк шел по другой стороне улицы, пыхтел, но от них не отставал. И Бербедж понял: нет, не отвязаться! Там, где пахло происшествием, скандалом или хорошей, жирной сплетней, где случалось что-нибудь такое, о чем можно было поговорить, там и был толстый, добрый, умный и суетливый Четль. И сердиться на него за это было невозможно! Он ведь не купался в грязи — он был просто богом этой грязи!

— Одну минуточку, — сказал Бербедж.— Он ведь так от нас никогда не отвяжется. Разрешите, я ему скажу, что сегодня...

— Да нет, нет, — удержал его юноша. — Зачем же? Я вас сейчас же отпущу. Пусть он вас обождет где-нибудь. Вы куда с ним шли?

— В "Сокол".

— Ну и мы идем туда же. Скажите ему, пусть через час он ждет нас в яблочной комнате.

III

— Дорогой мистер Четль, — сказал Бербедж. — Вы меня извините, что я заставил вас бежать, это очень опасно в ваши лета и при вашей комплекции, но я хочу сказать: вы гнались за мной не зря, сегодня мы с вами все-таки выпьем несколько кружек. Я задержусь очень ненадолго, но вы уж мне, пожалуйста, не мешайте. Дело-то в том... — Он хотел соврать что-нибудь, но увидел красное лицо Четля, его круглые глаза и крепко сомкнутые, недобрые теперь губы, и сбился на какую-то чепуху.

Четль молча, сурово и взыскующе смотрел ему в лицо.

— Я боюсь за вас, мистер Бербедж, — сказал он. — Я ваш друг, и вот я боюсь. Что это за приключение? Куда они вас тащат? Почему один с вами, а другой забежал вперед? Мистер Бербедж, смотрите, — кого любят женщины, того не любят мужчины. Вспомните Марло!

— Да нет же, нет, — тоскливо сказал Бербедж, — какой еще там Марло? Меня приглашают... Ну, одним словом, ждите меня через полчаса в том же трактире. Мы тоже идем в "Сокол".

— И Марло тоже зарезали в трактире. Вот так же, зазвали и потом зарезали, — сурово сказал Четль. — Мистер Бербедж, вы хоть знаете, кто это такие? И зачем они вас вызывают? Вы сказали — через полчаса, а вот я не знаю, что с вами будет через полчаса.

И Бербедж понял — Четля так просто с рук не сбудешь.

— Послушайте, это... — Бербедж воровато оглянулся. Его спутник стоял неподвижно и прямо около дома. Его белый плащ особенно ярко выделялся на красной стене. — Это женщина! — быстро шепнул он. — Только я не знаю, кто она такая. Понимаете? Она должна мне что-то сказать. Так вот, через полчаса... — И он быстро пошел, предупреждая вопросы.

Она в самом деле повела его в "Сокол", то есть внизу-то был трактир и там уже горланили, но наверху помещалось несколько приличных комнат, для истых господ, и они сдавались приезжим.

Они поднялись по темной скрипучей лестнице.

Она шла так быстро и так уверенно взбегала на ступеньки, что он увидел — она хорошо знает дорогу. Поднялись и пошли по коридору, тоже темному и узкому, пропахшему бобами, прогорклым маслом и какими-то соленьями. Тут она подошла к двери и трижды постучала. Дверь сейчас же чуть приоткрылась. Она нырнула в образовавшуюся щель и втащила за руку Бербеджа.

Он вошел и огляделся.

Комната была почти пустая. Только два деревянных стула с очень высокими спинками (их называли испанскими) да широкая, неуклюжая дубовая кровать с белым грязным пологом. Молодец, что был раньше в голубом плаще, стоял около двери. Теперь плащ этот он сбросил, и три распластанных, плоских леопарда с кудрявыми лапами выделялись особенно ясно. Было темновато, но горели две свечи, и мерзкий желтый свет оседал на всех предметах.

Она обернулась к молодцу.

— Ну-с, вот, — сказала она, — пойдешь, посидишь внизу, а через полчаса выйдешь во двор и посмотришь на окна. Если занавески не будут подняты, зайдешь еще через полчаса. Деньги у тебя остались?

— Остались, — сказал молодец и потянулся было за плащом.

— Плащ оставь, — сказала она. — Пусть думают, что ты остановился тут же.

Молодец вышел. Она подошла к стулу, сняла плащ, отстегнула шпагу.

— Садитесь, Ричард, будем разговаривать, — сказала она.

— Но я до сих пор не опомнюсь, миссис Фиттон, — пробормотал он, понимая уже все.

— Мэри, — тихо поправила она, смотря неподвижно и прямо большими, черными, чуть матовыми глазами.

Но он все еще колебался, нащупывая почву.

— Я до сих пор не понимаю, миссис Мэри, — сказал он искренне, разводя руками.

— Да нет, Мэри, просто Мэри, — повторила она так же тихо и настойчиво и вдруг улыбнулась ему. От улыбки этой у него сразу зашлась голова, стало холодно и жарко и неудобно стоять. Он взял ее за руку, выше локтя, — она не сопротивлялась — и голосом, неоднократно проверенным им в "Ромео", сказал:

— Я ведь три года ждал тебя, Мэри.

Она молчала.

Так они стояли и смотрели друг на друга. И все же было в ней что-то такое, что его удерживало.

— Три года, — повторил он, скользя пальцами по ее руке, все выше и выше, к плечу и шее.

— Врешь! — вдруг сказала она негромко, но очень хлестко. — Не смел ты меня ждать! Я всегда прихожу к тем, кто меня не ждет.

"Сердится! Да ну же!" — быстро понял он и без всяких разговоров бурно обхватил ее и поцеловал в лицо, — губы у нее были сжатые, неподатливые и холодные. Она молчала и не двигалась в его руках. Он поцеловал ее еще раз, больно и крепко, и тут она ударила его по щеке очень ловко и увесисто.

Он сразу же отскочил от нее на середину комнаты. Она усмехнулась, хотела что-то сказать, но ничего не сказала и подняла обе руки и стала с затылка поправлять прическу. Он стоял и молчал.

Она вдруг фыркнула, как разозленная кошка, и прошлась по комнате. Посмотрела-посмотрела, подошла к стулу и, сошвырнув плащ, села верхом.

— Не особенно-то вы умелый, — сказала она сердито. — Друг вашего величества куда более тонок в обращении.

— Счастливец! — вздохнул Бербедж. Он был серьезно растерян и не знал, что же ему делать.

Она глядела на него жестко прищуренными, теперь совершенно ясными глазами. Она сидела, он стоял, и так, снизу вверх, смотреть на него ей было неудобно. Кроме того, она все-таки хорошо знала, что ей от него нужно, и теперь думала о том, что без шага с ее стороны у них ничего не получится. Уж слишком робеет.

Тогда она пальцем поманила его к себе. Он подошел и неуверенно посмотрел на нее. Она вынула тонкий батистовый платок, свернула его в жгутик и, прищурившись, провела им по его щеке. Щека была чистая, но она все-таки проделала это еще раз. Когда ее рука с длинными ногтями царапнула его кожу, он слегка вздрогнул. Тут она и вторую руку положила ему на плечо так, чтобы большой палец прямо касался ямочки на горле. Он продолжал смотреть на нее дико, но все-таки недоверчиво.

— Ну?! — Она наклонила голову набок. Тогда он решился наконец. Схватил и, сжимая, жестко поцеловал ее в горло.

Она слабо охнула, и тогда он понял, что все неожиданности позади. История идет к обычному концу.

Словно теряя сознание, она откинула голову, слабо мотая ею так, что губы его пришлись в ямочку на горле. Тут он почувствовал, что ноги у него подкашиваются, слабеют, тело ее тяжелеет у него в руках. Схватил и потащил.

"Фрейлина королевы, — быстро и воровато подумалось ему. — И сама ведь пришла. Комнату сама нашла". И вдруг вспомнил: "А Билл?" Но мысль эта

была побочная, очень, очень случайная, и сейчас же с торжеством он подумал другое: "Да, Билл-то и поэт, и друзья у него все вон какие, и за этой леди он гоняется уже около пяти лет, и стихов исписал целую тетрадь, а так ничего у него и не вышло. Я же — простой актер, и вот она — моя". Он бормотал что-то несвязное, мало относящееся к обстоятельствам, но уже подходил момент, когда и это бормотание было не нужно и должны были говорить только руки. Тут она гибко развернулась, как пружина, и не легла, а села на кровать и поправила волосы.

— Сумасшедший! — сказала она совершенно трезвым, ясным голосом. — Разве для этого я вас звала сюда?

— А?.. — начал совершенно сбитый с толку Бербедж, но говорить ему было уже трудно, он задыхался и начинал понимать, что, пожалуй, Биллу действительно приходилось несладко с этой черной змеей.

Она крепко, по-мужски, положила ему руки на плечи и сказала:

— Я вас позвала вот для чего: лучше всего, если вы завтра в театр не пойдете.

Он поглядел на нее. Она сидела неподвижно — прямая, спокойная. Эта внезапная перемена поразила его много больше, чем самое предложение не ходить завтра в театр. Он даже не спросил ее: почему же, собственно, не ходить?

Она снова поправила волосы и встала.

— Играете-то вы хорошо, — сказала она с упреком, — много лучше Билла, но целуетесь... — она не докончила.

— Тоже лучше? — быстро спросил Бербедж.

— Не знаю, посмотрим, — ответила она загадочно и так, что он опять тяжело двинулся к ней, но она подняла руку, и он остановился.

— Только не сегодня, — сказала она. — А завтра я жду ваше величество ровно в десять часов.

— Где? — спросил Бербедж.

— Здесь же. Огонь будет потушен, но вы постучитесь, и когда я спрошу: "Кто?" — вы ответите: "Ричард".

— О! — восхищенно сказал Бербедж.

— И еще одна просьба к вашей милости: если вы увидите мистера Виллиама, то передайте ему эту записку, но только наедине.

— Это уже неприятное поручение, — сказал Бербедж.

Она не расслышала. Она подошла к окну и отдернула занавеску.

— Желаю доброго пути вашему величеству.

IV

Уже доходило до драки. Уже кто-то вскочил на табуретку. Уже опрокинули жбан, и рыжее пиво хлестало со стола. Уже хозяин бегал между столиками и орал: "Я не позволю! Чтобы в моем заведении!.." Тогда кто-то развернулся и дал ему по затылку.

В это время он вошел, и никто его не заметил.

Он быстро огляделся.

Драка шла кругами. Поднимались самые дальние столики. Люди вставали, и кто сразу нырял в круг, кто шел, чтобы посмотреть, что же там случилось. А впереди словно забил фонтан; вообще уж плохо можно было разобрать, что же происходит? Лупят ли кого или так безобразят? Только кто-то, там, в середине, надрываясь, орал: "Пусти, пусти! Тебе говорят, пусти меня! Ах, ты так!" И наверное, бросился вперед головой, потому что толпа шарахалась.

Бербедж подошел к толпе и остановился, соображая: то ли разыскивать Четля, то ли сейчас же уйти? Он не любил таких происшествий. Ему столько раз в юности приходилось видеть драки в зрительном зале, когда на сцену летели гнилые яйца, моченые яблоки, обглоданные кости, что его всегда немного мутило,

когда он видел, что кого-нибудь бьют. Он подумал, что вот Шекспир и Четль не такие: где бы ни дрались, они обязательно сунут свои носы. Так он стоял, раздумывая: уйти ли, остаться ли, и вдруг действительно увидел Четля. Четль лез к нему через толпу, крича и махая руками. Лицо его уже опять пылало.

— Бьют-то, бьют-то как! — сказал он восторженно, хватая Бербеджа за локоть. — Вы посмотрите, как раздает! Эх, и здоровый же матрос. Он сразу рыжему свернул всю скулу. Тот только ножками дрыгнул. Вот посмотрите, я вам покажу, как...

— Да что такое? — с неудовольствием сказал Бербедж. — Куда вы меня поволокли? Идемте-ка отсюда. Еще и нас с вами побьют.

— Да идемте, идемте, я вон там сижу, — взволновался Четль.

Они уселись.

— Так представляете, он его прямо через стол, на вытянутую руку. Вот так, в подбородок! Кулаком. Раз! Раз! Раз! И спрашивает его: "Мало?" А в это время поднимается какой-то с завязанным глазом, я думаю, его товарищ, да и говорит: "Джентльмены, держите этого фальшивомонетчика!" А тот ему: "Молчи, королевский шпион! Чего ты лезешь к актерам?!" А этот: "Это я шпион? Какой я шпион? Чей я шпион? Откуда я шпион? Ты мне деньги платил? А?" Матрос ему: "Я вот тебе сейчас заплачу". Раз! Раз! Раз! — в морду. "Мало? Еще надо?" А Виллиам встает и говорит...

— Стойте, стойте, — ошалело остановил его Бербедж. — Я ничего не понимаю. Виллиам-то при чем?

Они уже сидели за столом, а Четль размахивал жареным угрем, обычной закуской пьяниц.

— То есть как при чем? — удивился Четль. — Я же говорю вам: к Виллиаму привязался этот рыжий...

— Так что же вы мне сразу... — ахнул Бербедж. Он грозно поднялся из-за стола, нащупывая в кармане острый кривой кинжал, купленный у заезжего матроса.

— Куда вы? — рванул его за руку Четль.

— Билл! — крикнул Бербедж во всю свою могучую, звонкую глотку, покрывая шум все растущего и восходящего скандала. — Держись, Билл, я сейчас же иду к тебе! — И, не обращая больше внимания на сразу вспотевшего и притихшего Четля, бросился в толпу, как будто нырнул в нее — головой вперед.

V

Могучий, плотный гигант с густой каштановой бородой стоял на столе, а трое человек норовили схватить его за ноги. Лицо уж у него было разбито, глаз заплыл, и кровь капала даже с бороды, но в руках был нож, и он махал им молча и свирепо. Здесь не кричали. Дрались по-деловому: тихо и сосредоточенно. Зато в другом углу, где находился второй центр драки, — там орали уже во все горло: во-первых, орал хозяин, которого притиснули к стене и не отпускали, затем закатывался толстый повар, которому мимоходом дали ногой под живот и он теперь вертелся под столом и верещал; затем с теми двумя, с которыми сцепился Виллиам, шел тоже очень крупный разговор. Виллиама хватали за ворот, а он хлестко бил по рукам и говорил: "Уйди!" Надо было бы ему пустить в ход шпагу, но обнажить ее было невозможно — негде.

— А я тебе говорю, что нет, ты пойдешь! — орал на Виллиама длинный, тонкий, светлоглазый парень с острым, лисьим лицом, покрытым со всех сторон хитрыми морщинками. — Пойдешь с нами, а там мы разберем, кто ты такой есть. Если ты действительно дворянин...

— Уйди, — свирепо и тихо говорил Виллиам. Его длинное лицо вздрагивало при каждом слове.

Бербедж подошел к молодцу, взял его за шиворот, рванул назад и приложил мордой о стену. Тот завопил, но сразу же обернулся и вцепился ему в руку.

— Дорогу его светлости! — вдруг громко сказали сзади, и сейчас же все смолкло.

Через толпу шел высокий, русый мужчина, очень молодой, — кажется, ему не было и двадцати, — одетый с богатой скромностью. Из-под меховой шапки, из-под пышных русских соболей, на которых осел кристаллический мороз, стекали такие же пышные, длинные волосы. Лицо у юноши было очень белое, бледное даже, пожалуй, почти женское, но тонкие губы и остро замкнутые линии скул говорили о характере твердом и жестоком.

Два телохранителя шли за ним.

Он прошел через толпу очень легко, не замечая ее, как идут через пустое пространство.

Шекспир, увидав его, снял руку с эфеса шпаги и с каким-то неясным восклицанием шагнул вперед.

— Мистер Виллиам, — сказал юноша громко и спокойно, не замечая толпы, — вы мне нужны.

Глава 2

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

> Меня влечет к тебе размолвка
> прежних дней.
> Страданья прошлые и прошлые
> печали...
>
> *(120-й сонет,*
> *перевод С. Маршака)*

I

Они шли по улице. Лошадь вели сзади. Было уже совсем темно.

— Если бы не вы, — робко сказал Шекспир, — все это кончилось бы плохо для меня.

— Из-за чего же это все началось? — спросил юноша.

— Да все из-за чертовой постановки, — сердито ответил Шекспир.

— "Ричарда"? — спросил быстро юноша и даже остановился.

— Видите, какое дело. Сейчас пришел Четль и сразу же меня спрашивает: "Что случилось? Почему не идет "Ромео и Джульетта"?" Я его спрашиваю: "А что?" Он отвечает: "Я только что из театра. Сбор плохой, публики мало, актеры недовольны". Ну, знаете, как это всегда бывает, когда идет старая, штопаная-перештопаная пьеса. Опять драка. Кого-то там чуть в помойной бочке не утопили. Неприятно всем, а больше всех Ричарду. Вы знаете, Ричард ведь живет сценой. Если его плохо приняли, ему никаких денег и не надо. Ну, я объясняю Четлю, что это не моя воля. "Ричард. Второй" был заказан. Он и спрашивает: "Как заказан?" — "Да так, говорю, пришли двое известных мне джентльменов и спрашивают: "Какой у вас бывает полный сбор?" — "Такой-то". — "Но ведь не всегда такой?" — "Ну, конечно, не всегда! — говорю. — Если пьеса старая, на дуэли не дерутся, никого не убивают и не казнят, так и половину не соберешь". — "Ну, а завтра как?" — "А вот завтра, говорю, надеюсь на полный. Завтра идет "Ромео". Это пьеса доходная. Там одних убитых пять человек". — "Так вот, — говорит один из джентльменов, — вы поставите все-таки "Ричарда Второго", а до полного сбора мы вам доплатим". — "А зачем вам это нужно?" — "А просто хотим посмотреть еще раз эту поучительную пьесу". — Он обернулся к юноше: — Интересно ведь?

— Интересно, — ответил юноша. — "Поучительную"!

— Вот в том-то и дело! Признаться, я стал несколько в тупик. Тут один джентльмен говорит мне: "Мы видим, что вы колеблетесь. Так вот, мистер Шекспир, здесь разговора быть не может. Это воля королевы, вот перстень графа". И показывает мне кольцо с печатью. "Ну что ж, — тут я только плеча-

ми пожал, — будет сделано, как приказывает королева".

Они приближались к Темзе. Было совсем темно.

— Да-да, — сказал юноша, что-то обдумывая.

— Ну-с, ладно. Рассказываю я это Четлю, а он меня вдруг и спрашивает: "Но позвольте, позвольте, дорогой, ведь эта пьеса о свержении законного монарха. Чего же здесь поучительного? Как королева могла пожелать видеть эту пьесу взамен "Ромео"? Для чего ей это?" Смотрим мы друг на друга и молчим. Конечно, и мне приходит в голову такая мысль. И вдруг Четль говорит: "Ладно. Положим, воля королевы, ну а кольцо-то чье? Какого графа? Графа Эссекса, что ли? И не думаете ли вы..." Ну, вы понимаете, что я могу ему на это ответить? Тогда он мне говорит: "А помните, вы как-то рассказывали мне, мистер Шекспир, что ваш покровитель прямо в лицо назвал ее величество кривым скелетом, она ему дала пощечину, а он шпагу выхватил". И тут вот я смотрю: идет к нам, — и черт его знает, откуда он взялся, — тот молодец, которого вы видели, и спрашивает: "Здесь никто не сидит?" Я говорю: "Милости просим, место свободно". И толкаю Четля: "Молчи! Дурак!" Куда! Он выпил и начинает мне рассказывать все то, что от меня же и слышал: и про ирландские острова, и про взятие Эссексом Кадикса, и еще черт его знает про что. А молодец сидит, стучит по столу, просит кружку и нас будто не слушает. Я вижу, Четль совсем пьяный, встал, хочу уходить. Тут смотрю — с другой стороны подходит ко мне молодец с леопардами и говорит мне...

Он вдруг спохватился и замолчал.

Так молча они прошли несколько шагов.

— Ну? — спросил юноша.

Через сгустившуюся темноту можно было только угадать, как неподвижно его лицо.

— Подходит слуга миссис Фиттон и сует мне записку, — сказал Шекспир, решившись.

— Ну? — повторил юноша.

— А там сказано: ”Не приходите завтра в театр. Садитесь на лошадь и уезжайте куда-нибудь из Лондона этак недели на две”.

Сейчас они стояли друг перед другом.

— Недурно! — усмехнулся юноша.

— И вот, пока я читал записку...

— Понятно, — сказал юноша. — Тут он на вас и полез и устроил драку, чтобы отнять это письмо, но...

Он вдруг с внезапным порывом схватил его за руку.

— Виллиам, Виллиам, — сказал он почти со слезами, — как же мне не сладко было с нею. Ох, как не сладко! Чего я только не вытерпел за то, что увел ее от вас.

Тут они подошли к знаменитому, хотя и единственному, мосту через Темзу.

II

> ...Я взял тебя объедком
> С тарелки Цезаря, и ты была
> К тому еще надкушена Помпеем,
> Не говоря о множестве часов,
> Неведомых молве, когда ты вряд ли
> Скучала. Я уверен, что на слух
> Тебе знакомо слово ”воздержанье”,
> Но в жизни неизвестна эта вещь.
>
> *(”Антоний и Клеопатра”, перевод Б.Л.Пастернака)*

Комната Пембрука находилась на втором этаже. Было еще довольно светло, и поэтому свечи зажигать они не стали. Или, может быть, потому, что каждый понимал — лучше не глядеть в лицо друг другу.

— А где альбом? — спросил Шекспир, привычно осматривая стол. — Он всегда лежал здесь.

— Нету, — ответил Пембрук, — ей подарил. — И Шекспир почувствовал, как мучительно и туго он улыбается. — Она знала, что это ваш подарок, и не давала мне покоя.

Помолчали.

— Она часто бывала здесь? — спросил Шекспир, прошел, сел в кресло и посмотрел на Пембрука. Тот ходил по комнате все быстрее и быстрее, поднимал руку и приглаживал волосы. Ах, этот знакомый, милый жест! Он всегда так ходил и так приглаживал волосы, когда волновался.

Шекспир сидел, постукивая пальцами по столу.

— Так вот как это получается, — сказал Шекспир.

Пембрук ничего не ответил.

"Альбом унесла. Не хотела, чтобы он тут оставался, а встречаться не пожелала... а теперь — "Уезжайте из Лондона". Сама не пошла. Просто послала: "Уезжайте". Почему? Впрочем, ясно, пожалуй, почему". Он опять поднял глаза на Пембрука. Тот придвинул стул и сел.

Помолчали с минуту.

— Так, значит, она часто бывает тут? — громко спросил Шекспир.

И Пембрука прорвало. Он заговорил так, что даже губы у него задрожали:

— Билл, не сердитесь на меня. Я уж тут ничего не мог сделать. Вы сами виноваты, надо было вам вмешаться раньше, а вы все видели и молчали. Помните, вы только раз меня спросили: "Вам ничего не нужно сказать мне?" Но вы понимаете, тогда уже было поздно — поздно спрашивать! Она узнала об этом...

— От вас? — спросил отчетливо Шекспир.

— Ну, от меня, конечно, — мучительно поморщился Пембрук. — Разве мог я тогда что-нибудь скрыть от нее? Она сказала: "Ладно". И на другой день сама сделала так, чтобы эта злосчастная записка попала в руки к вам. Я ее спросил: "Зачем это вам понадобилось?" — а она ответила мне: "Поймите, что я не хочу больше притворяться. Мне это надоело. От кого вы меня прячете? От какого-то балаганного шута! Нет, вы просто трус!" Я ответил ей: "Но вы же, Мэри, три года прожили с ним!" Она тогда рассмея-

лась мне прямо в лицо и презрительно сказала: ”Да вы совсем с ума сошли!”

— И вы поверили ей?

— Клянусь, поверил, — сказал Пембрук, — теперь сам удивляюсь себе.

Очень долго, что-то несколько десятков секунд, они неподвижно смотрели в глаза друг друга и молчали. Первым опустил голову Пембрук. Ему было очень не по себе. Он и не знал, что ему так трудно рассказывать о ней.

— Черт знает, что за женщина! —сказал он тускло.

— Ну, дальше, — сказал Шекспир. Поднял со стола бронзовый шар, подбросил его и поймал.

— Я прикажу зажечь свет, — сказал Пембрук и вышел.

Шекспир продолжал сидеть за столом так же неподвижно, как и раньше. Поднял длинное гусиное перо, попробовал конец его на пальце и стал расщеплять ножом. Откинувшись на спинку кресла, он издали наблюдал за своими пальцами: красивыми и длинными, из которых один был украшен крупным, грубым кольцом. Вернулся Пембрук, за ним шел слуга со свечами, бутылкой и двумя бокалами. Шекспир поднял глаза на Пембрука, продолжая расщеплять перо.

— Вот, — сказал Пембрук, неловко беря из рук слуги поднос и ставя его на стол. — Сейчас попробуем. Открой и иди.

Слуга выхватил глиняную пробку и вышел.

Пембрук до краев налил два тяжелых серебряных бокала и один протянул Шекспиру.

— Как раньше, — сказал он, улыбаясь. — Да?

Шекспир отпил большой глоток и поставил бокал на стол.

— Она вас сильно мучила? — спросил он спокойно.

Пембрук осушил свой бокал разом, залпом, так что даже несколько багровых капель пролилось на

его воротник. На стол бокал не поставил, а забыв о нем, продолжал держать в руке.

— Сильно ли мучила? — спросил он, вдумываясь. — Вы, Билл, и понятия не имеете, что это за женщина. — Он поставил бокал на стол. — Вы знаете, она приходила ко мне одетая мужчиной.

— Что вы? — спокойно удивился Шекспир.

— Да, да, кажется невероятным, но это так. Короткое платье, длинный белый плащ на нем, перо на шляпе — и пожалуйста! Чем не юноша? И знаете, она совершенно не смущалась. Раз она повстречалась с моей матерью и раскланялась. Только вот шпагу носить она не умеет, — прибавил он с недоброй и горькой усмешкой. — Путается в ней и запинается. Она ведь по характеру мало все-таки походит на мужчину.

— Что же, и долго ходила она к вам? — спросил Шекспир.

— Ну! — взмахнул рукой Пембрук. — Разве есть у нее что-нибудь длительное? Нет, конечно. Потом она вдруг решила, что ей неудобно встречаться со мной здесь: дескать, моя мать как-то не так на нее посмотрела при встрече. Заметьте, она сначала заставила меня поссориться с матерью, а потом уже потребовала, чтобы я приходил к ней на свидания в "Сокол". Она там сняла комнату на имя своего... ну, знаете, этого длинного парня, который сегодня передал вам записку. Она вырвала его из долговой тюрьмы, и теперь он привязался к ней, как собака. Вот мы и встречались в каком-то вороньем гнезде, под самым чердаком. Там стояла такая грязная, мерзкая кровать, что... — его передернуло. — И ведь всегда она была такой чистоплотной! — крикнул он с настоящей болью.

Опять оба помолчали.

— Вот почему я и попал сегодня в этот вертеп, — с конфузливой улыбкой робко сказал Пембрук. Ему было, видимо, очень неудобно перед своим другом, который, конечно, уже понял все.

Не смотря на него, Шекспир залпом выпил все, что осталось в бокале, и поставил его. Напиться, что ли?

— Налейте! — приказал он Пембруку.

Пембрук вылил ему остатки, сам он уже порядком захмелел. Сидел развалившись, свесив руки через спинку кресла.

— Вот тут и началось все, — сказал он. — Сначала она приходила аккуратно и была так нежна и предупредительна, что я целый месяц ничего не знал и не помнил, — только она! Вы знаете, какая она бывает, когда захочет отравить? А потом вдруг стала запаздывать: сначала ненадолго, а потом на час, на два. Я сидел и ждал ее в этом вороньем гнезде, а когда сказал ей, что это мне надоело, она только рассмеялась мне в лицо. "А я зашла только на минутку — предупредить, что не могу быть сегодня". — "Отчего?" — "А ее величество сегодня делает новую прическу, и я должна присутствовать". Вы понимаете, она и не скрывала, что лжет. Тогда я взял ее за руки. "Слушайте, — сказал я, — не забывайте, Мэри, что я вам не клоун. Со мной это не выйдет. Понимаете, никак не выйдет..." Вы же знаете эту ее проклятую улыбочку, когда только чуть-чуть, при сомкнутых губах, в уголках губ показываются острые зубки... "А что вы сделаете, если я вас обманываю? А вот я люблю не вас, а того клоуна. Убьете меня?" Я рассмеялся ей в лицо и сказал: "На кой дьявол мне это нужно? Я выгоню вас отсюда метлой, как шлюху, вот и все". Она мне ответила: "А вы не посмеете". — "Ох, это я-то не посмею? А хотел бы я знать, почему?" А она спокойно: "Мой слуга вас проколет шпагой, и вы вытечете, как помойная бочка". Вы знаете, Виллиам, в такие минуты мне трудно отвечать за себя. И вот я размахнулся... — Он мучился и мотал головой. Его тошнило всей этой мерзостью, которая, как муть, поднималась из глубины его памяти. — Понимаете, я нарочно хотел, чтобы это вышло как-нибудь погрубее, попохабнее, знаете, как там, внизу, когда сце-

пятся пьяные. Ну да вы ведь видели сегодня это! Но она стояла и так же прямо смеялась мне в лицо. Вы понимаете, она смеялась теперь уже полным ртом своих проклятых, мелких зубов. — Окончательно хмелея и сходя с ума, он ударил кулаком по столу так, что стол загудел, а бокалы упали. — Она! Смеялась! Дьявол! Она! По-прежнему смеялась! Ой, Вилльям, вы думаете, что это легко, если я дошел до того, что побежал подсматривать, кого она притащит в это воронье гнездо? — Его опять передернуло от отвращения. — На эту гнусную кровать с грязным пологом! — крикнул он плача.

— Ну и что же? — спросил Шекспир, помолчав.

— Я теперь уже отошел от нее, — сказал Пембрук, медленно трезвея, — ну а тогда, когда она сказала мне, что любит только вас, а я ей нужен для того, чтобы... Ну, она мне тут, в общем, сказала еще кое-что хорошее. И рассорила-то она, по ее словам, меня с вами для того, чтобы мы не повстречались в постели. А если я не верю ей, сказала она, то могу хотя бы у вас справиться. Но ведь это неправда?

— Неправда! — ответил Шекспир.

— Ну конечно, — вздохнул с облегчением Пембрук. — Я ведь тоже знаю, что неправда. Но вы представляете, она так тогда мне закружила голову, что я даже в это верил. Шел в этот трактир и смотрел, нет ли где и вас поблизости. Господи, я верил во все! Как я добрался в этот день до дому, я и не знаю. Ну а потом мы быстро помирились и все пошло по-прежнему. Но она уже не скрывала от меня, что у нее есть еще кто-то. Я даже понял, что этот молодец из вашего театра.

— Почему вы так думаете? — спросил Шекспир не сразу.

— Она стала часто бегать в "Глобус" в этом костюме и маске. Сидит и смотрит — на кого? Кто же это знает?.. Но вот вы увидите, что это какой-

нибудь ваш клоун. Что-нибудь вроде этой наглой твари Кемпа, у которого хватит же наглости посвятить ей книгу о том, как он отплясывает джигу. Поверьте, раз он мог протанцевать десять часов подряд, а его грязные штаны в память этого прибиты в какой-то городской ратуше, — ну! — он имеет все права на место под этим пологом! Сегодня она и ходила к нему, но тут мы с вами помешали.

— У нее был ребенок от вас? — вдруг спросил Шекспир.

— Да! — кивнул головой Пембрук. — Мертвый мальчик. Она зарыла его, как ведьма, где-то в огороде. Прямо в тряпках, — он грубо усмехнулся. — Разве у нее могут рождаться какие-нибудь дети, кроме мертвых?

— Кроме мальчиков,— сказал Шекспир.

— Кроме мертвых мальчиков, — поправился Пембрук.

Помолчали.

— А что за история случилась на вашем обручении? — спросил Шекспир, слегка морщась, как от противной зубной боли. — Она надерзила королеве?

— Ах, Виллиам, Виллиам, разве станет она дерзить королеве? Нет, конечно. Но дело было так: после рождения этого мертвого мальчика, — его опять передернуло, — она вдруг стала настаивать, чтобы я на ней женился. Она хотела второй раз выйти замуж, Виллиам. Второй! Ибо в первый-то раз она вышла за какого-то голоштанного капитана, когда ей еще не было шестнадцати лет. Черт знает, зачем это ей было нужно! Но вы воображаете, каким морским штучкам он ее научил?

Так вот, она потребовала, чтобы я на ней женился. Тут я ей сказал прямо: "Нет!" И вы представляете, тогда она стала униженно просить меня, чтобы я ее не бросил. Ох, Виллиам, как она плакала, как молила, как валялась в ногах! И доводы-то у нее пошли

самые бабьи, — мол, она меня любит, не переживет, если будет знать, что я живу с другой, она убьет себя, меня, подсыпет отравы моей невесте, и, наконец, даже так: она фрейлина королевы и не позволит, чтобы позорили ее имя. Она упадет к ногам ее величества, расскажет все и будет требовать... ой, Боже! Да чего только она не наговорила мне тут! Но я ее уже почти ненавидел. — Он остановился. — Как это вы писали?

Но лилия гнилая пахнет хуже,
Чем сорная трава в навозной луже.

Шекспир сидел, слегка постукивая пальцами по столу, и улыбался. Ему было все невыносимее слушать Пембрука.

— Ну-ну, — сказал он, улыбаясь.

— Ну, одним словом, я ей все-таки сказал: "Нет!" Я дал ей возможность уговаривать, приводить все доводы, молить, я внимательно слушал ее до конца, а потом отвечал: "Нет! Нет, нет, нет!" Она ходила по дворцу с красными глазами и шаталась. Говорили, что она начала пить даже. Все это как-то дошло до королевы. А может быть, она действительно пала ей в ноги. Во всяком случае ее величество передала моему отцу, что ей все это надоело и, если я не женюсь, она посадит меня в Тауэр. Что же, это прямой приказ! Тогда я пригласил на свое обручение и эту цыганку. И она пришла. Ей предложили руководить танцами, она согласилась. И вот у нее хватило смелости подойти в маске к королеве, которая с ней не разговаривала вообще, и пригласить ее на танец. "Кто вы такая?" — спросила королева. Она стояла перед ней, смотрела ей в глаза и улыбалась. Ох, это был поединок змеи со скорпионом. "Любовь", — ответила она королеве. Та, конечно, узнала ее по голосу. Ведь такого густого, грудного голоса, как у нее, нет ни у кого. "Любовь коварна, — ответила королева. — Это фальшивая любовь!" А она стояла и смотрела на нее. Ведь кто, как не она, знает, что короле-

5–2280

ва не снимает парика и вечно размалевана, как масленичное чучело.

— Ну, что же? — спросил Шекспир.

— Королева сначала нахмурилась, а потом, видимо, решила не связываться. Встала и пошла танцевать.

— Ох! — восхищенно воскликнул Шекспир и вскочил с места. — Так и пошла? Рассердилась, но все-таки пошла? А? Вот женщина! Что перед ней королева!

— Да, кстати, о королеве, Виллиам, — хмуро сказал Пембрук. — Тут она не солгала вам. Лучше всего, если вы завтра уедете из Лондона.

— Да? — спросил Шекспир. — Значит, это все-таки правда?

Пембрук слегка пожал одним плечом.

— Черт его знает, что думает выкинуть Эссекс. Сейчас вот он заперся со своими приспешниками, все они пьют, шумят, плачут над ним, клянутся умереть, а он обезумел от страха и гордости и клянется, что если ему не возвратят откуп на сладкие вина, то королева вспомнит его. Ну, а королеве, между нами говоря, есть что вспомнить.

Они поглядели друг другу в глаза.

Первым опустил глаза Шекспир. Он никогда не любил королеву. Но королева королевой, а когда ругали графа, ему было все-таки очень неприятно.

— Да, — повторил Пембрук со злым наслаждением, — этой девственнице есть что вспомнить. Такого неразборчивого и старательного любовника ее величеству в шестьдесят восемь лет уже не найти. А он был куда как прыток на всякие фокусы! Но и графу бы, между нами, не следовало забывать, чья она дочка. Недаром папаша ее казнил двух своих жен, — вот до сих пор показывает топор, под которым отлетели их головки. А чем же любовник хуже жены?

Красивое лицо Пембрука передернулось. Он ненавидел королеву тяжелой, брезгливой мужской ненавистью, едва ли не больше, чем самого Эссекса, хотя

и Эссекса-то ненавидел только потому, что тот норовил на его место.

— Ее величество как-то уж крикнула ему: "Ступай и удавись!" А королева знает, что говорит.

— Да, — сказал Шекспир, — да, так вот какие, значит, дела!

— Лошадь-то у вас есть? — деловито спросил Пембрук. — Если нет, возьмите у меня.

— Не в том дело, — ответил Шекспир, — но стоит ли мне уезжать? Как по-вашему, опасность действительно велика?

— Да кто его знает. Наверное, нет, — ответил Пембрук, добросовестно подумав. — Уж слишком они много орут. Об этом уже знает весь город. Потом, при чем тут вы? Только вот то, что вы поставили эту трагедию.

— Но ведь мне заказали ее поставить, — напомнил Шекспир.

— Ну, что вам ее заказали, об этом спрашивать никто не будет. Вы ее поставили — вот что важно.

— Нет, нет, я никуда не поеду, — сказал Шекспир решительно. — От кого мне бежать? Зачем? И разве мне есть чего бояться? Нет, я останусь, конечно.

— Хорошо, — сказал Пембрук, — может быть, это и действительно умнее всего, но только вот одно прошу вас: ночуйте вы сегодня у меня. Мало ли что случится, если попадетесь им под горячую руку.

— Ну а что будет тогда? — спросил вдруг очень прямо Шекспир.

Пембрук опять пожал плечами.

— Да кто же знает это? Да и вообще ничего, наверное, не будет. Его светлость размяк, как сухарь в похлебке, и ни на что больше не способен.

— А вы знаете, — вдруг совершенно не в связи с разговором сказал Шекспир и встал, — ведь она все-таки не солгала вам: я действительно никогда не жил с нею.

Глава 3

ГРАФ ЭССЕКС

I

Когда он вышел от Пембрука, была уже ночь, редкая лондонская ночь, полная звезд, лунного света и скользящего тонкого тумана над рекой. Шекспир шел быстро, но не намного все-таки быстрее, чем обычно. И по привычке всех высоких прямых людей, голову держал так высоко и прямо, что со стороны казалось — он идет и пристально всматривается в даль. Но всматриваться было не во что. После большой гулкой площади пошли улочки, такие кривые, такие тесные, такие грязные, что казалось, все они уходят под землю. Правда, они были еще застроены большими двухэтажными домами с острыми железными крышами, но там, дальше, за их последней чертой, уже начиналась полная темнота и ночь. Там были разбиты извозчичьи дворы, мелкие кабачки с очень сомнительной и даже страшной репутацией, темные лачуги — все то, что он, к сожалению, слишком хорошо и подробно знал по памяти прошлых восьми лет. Но он не шел туда. Он жил ближе к центральным улицам, в большом, хорошем доме, в светлой комнате с тремя окнами и отнюдь не под чердаком. Он хорошо платил своей молодой хозяйке, дочери французского парикмахера; хозяйка слегка заглядывалась на него, так что ж ему было думать о норах и логовах, что находились уже за чертой человеческого обитания.

Мало думал он также и о том, что рассказал ему Пембрук. Все, что касается этой черной змеи, он знал уже давно. Только не в том порядке. И это уже перестало его трогать. Но Эссекс, Эссекс, вот что его мучило! Да! Теперь уж, пожалуй, ничего и не сделаешь. Королеве нужна его голова. Что там ни говори, а должно быть страшная вещь семидесятилетняя лю-

бовница. Чего она только не может потребовать! Тут он даже замедлил шаг. Как ни проста была эта мысль, но вот так ощутимо, чувственно, почти зримо, она пришла ему в голову впервые, и он сразу понял ее до конца. Да! Семидесятилетняя любовница! Кто знает, что скрывается за темнотой этих слов? Он всегда, еще с тех времен, когда работал мальчиком у отца на городских скотобойнях, был особенно любопытен к этим черным провалам в душе человеческой. Но это и пугало его, как только он осознал в себе этот интерес. Ладно! К черту! Что еще думать об этом? Ну а трагедия? Трагедия об убийстве дурного короля во имя короля хорошего. Зачем Эссекс хотел, чтобы она шла именно в этот день? Он остановился на секунду, потому что вдруг понял зачем.

А Пембрук знал это.

Знала это и она.

И тут он вдруг ясно понял, что она была в том же самом трактире, откуда после свидания с ней и спустился к нему граф Пембрук. Это пришло к нему, как внезапное озарение, и он сразу же почувствовал, что да, вот это и есть правда. И дальше он уже не смог идти.

Он остановился около какого-то дома, стиснул кулак и, откинув голову, истово посмотрел на зеленые звезды.

Потом очнулся, взял в руки молоток на бронзовой цепочке и несколько раз ударил в эту дверь. Ударил в эту крепкую дубовую дверь раз, и два, и три, потому что он стоял, думал, смотрел на звезды около самых дверей своей квартиры.

* * *

Ему отворил мальчишка, которого он держал вместо прислуги. Поднимаясь вслед за ним, еще на лестнице Виллиам услышал голоса и понял — это зачем-то пришел к нему Четль, сидит, наверно, раски-

нувшись в кресле, потягивает пиво или белый херес, наверное, еще и дымит вдобавок и что-то врет. Он зашел в комнату и увидел — так оно и есть.

Четль, красный, распаренный, с распущенным поясом на огромном брюхе, как опара, расползся по креслу и о чем-то рассказывал дочери парикмахера. Пот градом катился с его теперь почти лиловатого лица, одна рука у него расслабленно свисала, в другой он держал мощную кружку с элем и отхлебывал из нее. Шекспир сразу же прошел к столу. Хозяйка, увидев его, всплеснула руками и, клокоча от смеха, вместе с креслом повернулась к нему.

— Это такой шалун, насмешник, — начала она, и на щеках ее разом вспыхнули и заиграли все ямочки. — Он рассказывает о Кемпе, что...

"Рассказывает о Кемпе, — значит, говорил о ней", — подумал Шекспир. Он молча, не раздеваясь, прошел к столу, и хозяйка растерянно поднялась. Она никогда еще не видела его таким бледным, помятым, недовольным чем-то.

— А я, дорогой Виллиам... — начал Четль, совершенно не смущаясь.

— Вы давно меня ждете здесь? — сухо спросил Шекспир.

— Да, с вечера, когда вы ушли с тем джентльменом.

Четль, конечно, хорошо знал, с кем именно, но почему-то говорил "с тем джентльменом". Шекспир прошелся по комнате, потом подошел к стене, где торчал крюк для одежды, и начал раздеваться. Хозяйка неслышно вышла.

Но Четля-то все это не смущало. Он по-прежнему полулежал в кресле и как будто бы лениво, но на самом деле очень зорко следил за своим коллегой. Шекспир сел за стол и поглядел на Четля.

— Пива хотите? — спросил Четль.

Шекспир молча покачал головой.

— Да, — сказал Четль, — а вы, оказывается, молодец. Вот уж никак не ожидал. Тот матрос саданул

прохвоста прямо через стол, а вы в ту же секунду опрокинули рыжего. Он только ножками — брык! Только посуда загремела. Я и опомниться не успел, как его нет. Лежит под столом. А на него-то, на него-то... — он вдруг заржал. — И стол, и жбан с пивом, и закуска какая-то. Здорово, ей-Богу!

— Да, — сказал Шекспир неодобрительно. — А виноваты-то вы!

— Виноват-то, пожалуй, верно, я, — охотно согласился Четль. — Мне, пожалуй, не следовало говорить об этом. Эти господа, оказывается, куда как прытки, а впрочем, — прибавил он, подумав с секунду,— они, конечно, уж давно следили за вами. Если бы не этот лорд, ну, тогда бы...

— А как туда попал Бербедж? — спросил Шекспир. — Он пришел искать меня? Что-нибудь случилось в театре?

— Бербедж-то? Он со мной пришел. Мы вместе вышли из театра, но тут к нему подошла ваша цыганка в штанах...

Он покосился на Шекспира.

Тот сидел неподвижно, опустив голову, и смотрел на крышку стола. Когда Четль сказал ему: "Ваша цыганка", он приподнялся немного, вынул из хлебницы толстый ломоть, оторвал от него изрядный кусок и стал раскатывать в пальцах. Слова Четля о цыганке его никак не заинтересовали.

"Лисица! — подумал Четль. — Ишь как представляется. На сцене бы ты вот так играл! А вот уйти и ничего не сказать тебе! Будешь потом кусать себе лапы, как медведь".

И он встал было, как ему опять представилась та картина, ради которой он и прибежал сюда: вот два актера, оба буйные и подвыпившие, сталкиваются на одной постели и начинают тузить друг друга. "Ты как попал сюда?" — "Нет, ты-то как?" Голая цыганка орет, разнимает их, и все трое вопят и ругаются, а снизу сбегается прислуга, повара, извозчики, гости, постояльцы — и хо-хо-хо, ха-ха-ха, а они знай

тузят друг друга в морду и орут. Вот картина! Нет! От этого он никак не мог отказаться. Он мирно сказал:

— Только одну минуточку, Виллиам.

— Вы извините меня, — кротко обернулся к нему Шекспир, — я должен работать. "Гамлет" ведь следующая постановка. А у меня ничего не получается!.. Вы уж извините, пожалуйста. — И он пошел к постели. — Вот хочу сегодня лечь пораньше, чтобы встать ночью и работать...

— Так вот, — торжествующе и громко сказал Четль, глядя ему в спину. — После того как вы ушли с тем джентльменом, я остался с Ричардом и он мне сказал, что ваша леди назначила ему свидание на чердаке.

Шекспир вдруг оглянулся и взял одну из зажженных свечей.

— Он должен прийти завтра в десять часов и постучаться в среднюю дверь. Она спросит: "Кто пришел?" Он должен ей ответить: "Ричард Второй". Тогда...

Он не кончил только потому, что Шекспира в комнате не было, и конец фразы повис в воздухе. Сильно стуча башмаками, Шекспир быстро сбегал с лестницы, наверное, затем, чтобы отпереть ему дверь и потом уж не спускаться.

Четль растерянно огляделся.

Он никак не ожидал такого отношения к своему рассказу.

Комната была пуста.

На столе лежали хлебные шарики — шесть штук подряд.

Горела только одна свеча, и в комнате было темновато.

Тогда он поник головой. Дурак, дурак, старый осел! Сколько его ни учат, а он все еще верит людям. Все хочет им добра. Действительно, надо было забираться ему в такую даль. Нужен ему этот дурацкий

разговор с пьяным комедиантом. А ну их, в самом деле! Нанялся он, что ли, устраивать им их грязные дела? Да пропади они все пропадом!

Он хрюкнул и сердито сполз со стула.

II

Она была недовольна, и на это у нее были свои причины. Так она и стала одеваться. Взяла длинный, специально сшитый для таких случаев, глухой зеленый плащ, отороченный беличьим мехом (их было у нее несколько, ибо два раза надевать одну и ту же одежду она опасалась), посмотрела на него и отложила. Позвала слугу, приказала вычистить шпагу и подать ей. Подумала, что надо что-нибудь сделать для того, чтобы шпага сидела удобнее, сняла перо с берета — оно уж было совсем изломлено, — поискала новое, но не нашла. Она подумала, что надо бы спросить у матери, у нее, кажется, есть, и подошла к окну. На ней уже были пышные, как баллоны, короткие французские штаны, которые только что входили в моду.

Быстро смеркалось. Очень быстро смеркалось.

Из низких труб валил прямой, белый, тоже невысокий дым. И уже по нему чувствовалось, что очень холодно. Прошли две женщины; у одной была корзина, а другая, постарше, шла с ней рядом и держала ее не за руку, а за эту корзину. Обе о чем-то оживленно разговаривали. И так смеялись, что ей даже стало завидно, — и она бы посмеялась, да вот не с кем! Нет, с этим актером она, кажется, зря связалась. Он и слова-то вовремя сказать не умеет, только краснеет и пыхтит, и руки у него дрожат. Сразу видно, что он за птица! Боже мой, какая все-таки тоска! Она уж хотела отойти от окна, как вдруг услыхала топот копыт, и три всадника пронеслись под окном во весь опор. Первый держал в руке свернутую в трубку грамоту, два других, грузно

подпрыгивая, едва поспевали за ним. Она видела, как всадник с грамотой поднял плетку и вытянул коня между ушей. Конь был хороший, дорогой, не следовало его так хлестать, а он нахлестывал, потому что спешил куда-то.

Куда? Зачем? И она сразу поняла, куда и зачем. Она почувствовала, как у нее заломило под ногтями. Так вот оно, вот оно! Значит, началось! Значит, все-таки началось! Может быть, даже будут палить из пушки. Настроение у нее сразу поднялось, и стало тепло и весело, как от стакана хорошего вина. Три всадника скрылись за поворотом, и улица опять пустовала. Опять шли редкие прохожие, очень обычные и скучные, но она-то знала — началось! Началось! Это было так огромно, ужасно и вместе с тем так великолепно, что она, забыв про все, стояла неподвижно около окна. Она страшно любила драки, сильные, кровавые происшествия, большие, громкие скандалы, все, на что можно было смотреть из высоких окон ее дома. Она готова была забить в ладоши. Сейчас! Сейчас! Она стояла, прижимая к стеклу смуглое лицо.

Было все тихо, но она понимала — нет, чутье не обманывает ее.

Шла толпа, — там была площадь, откуда кричали, оттуда шли сюда. Около поворота улицы и остановились всадники.

Первый взмахнул грамотой, но на него крикнули, кажется, кинули чем-то, тогда он повернул лошадь и ускакал.

Она стояла, обеими руками держась за занавески. Дом был пуст, никто не мог ей помешать досмотреть все до конца.

Шум приближался, приближался, рос в ширину, крепчал, дробился на голоса, становился все более отчетливым и резким, можно было различить и то, что больше всех кричит один, а другие вторят ему. Но что-то задерживало толпу, она бы давно должна была залить все улицы, а ее все не было.

И вот она наконец появилась.

Один человек шел впереди.

Он был высок, строен, с короткой рыжеватой, красиво подстриженной бородкой.

У него было удлиненное, как южное яблоко, лицо. Одет он был во все черное. Поверх одежды висела какая-то короткая, массивная, грубоватая цепь с очень крупными звеньями. За ним шел другой, со шпагой наголо, и тут ее передернуло.

Этот хилый цыпленок, недоносок этот, скользкая, противная медузка эта всегда выводила ее из себя своей женственной мягкостью, корректностью и печалью. То был граф Рутленд, самый противный из всей этой ученой своры. Сейчас цыпленок храбрился. Ведь он шел с обнаженной шпагой на королеву! Благообразное лицо его было красиво, печально, одухотворенно и почти спокойно. Взглянув на него, она получила полное удовлетворение. Хорошо, хорошо, так и должен был кончить, недоносок!

За ним шел сам граф Эссекс.

Он ей тоже не нравился, но по крайней мере хоть был мужчиной.

Но сейчас он кривлялся, как бесноватый.

Длинные курчавые волосы спутались и сбились, почти совсем закрывая высокий, умный лоб. Он кричал, сжимая кулаки, высоко поднимая голову, и тогда его светлая борода торчала вверх.

А что он кричал, понять было невозможно. Она прислушалась и на миг перестала различать толпу — это всегда страшное для нее море лиц, голов и разнообразных уборов.

Наконец она услышала: оборачиваясь к толпе, Эссекс выкрикивал:

— И меня убить? Это меня убить? За то, что я спас Родину! Я окружен врагами! Мне давали отравленное вино! Хорошо! Хорошо! Этот кубок уже у шерифа. Отрава мне, победителю при Кадиксе?! Я верный слуга ее величества, своло-

чи! Народ любит меня! Я люблю своих солдат! Боже мой, спаси королеву от льстецов и злодеев!

И он поднимал к небу длинные руки в черных перчатках.

Его крик, бурное отчаяние, несогласованность движений были ей нестерпимы еще потому, что и за ним и впереди его шли вооруженные до зубов люди и среди них сохранялась страшная тишина спокойной безнадежности.

Лошадей не было, все шли пешком. Их было не особенно много, но все-таки не менее трехсот человек. А вот уже за ними, на большом отдалении, точно, валила толпа.

Она действительно заливала всю улицу так, что нигде не оставалось свободного места, — медленная, спокойная, слитая в одну ровную массу, — толпа зевак и любопытных.

Эссекс (его теперь уже поддерживали под руки, впрочем, стараясь не стеснять его движений) попрежнему кричал и вертелся. Вдруг он сделал знак остановиться и повернулся туда, где должна быть толпа его сторонников и клевретов.

Теперь она ясно видела его благородное, одухотворенное лицо с мягкими, нерезкими чертами, большие, дикие, страдающие глаза, запекшийся, тоже страдальческий рот. Он остановился, конечно, для того, чтобы сказать что-то. Поднял руку в черной перчатке, постоял, может быть, и сказал даже что-нибудь, только очень тихо, потому что так она ничего и не расслышала.

Толпа молчала — отдаленная, загадочная, спокойная.

Он стоял перед ней, как перед стеной — неподвижной и равнодушной. И, конечно, он ничего не сумел сказать. Только крикнул что-то неразложимое на звуки и словно подавился криком. Повернулся и быстро пошел вперед. Его опять осторожно и безмолвно взяли под руки. И толпа, замолкшая на ми-

нуту, опять зашумела, зажужжала и, переваливаясь, мерцая, двинулась вперед.

Минут через пять они подошли под окна.

Она смотрела на них сверху, спокойная, уже не верящая ни во что.

Шли хорошо вооруженные, стройные джентльмены, из числа приверженцев Эссекса.

Шли черные, обветренные рабочие лондонской судоверфи.

Шли крестьяне в войлочных широких шляпах, с плоскими бородатыми лицами, как всегда спокойные, молчаливые и осторожно-равнодушные ко всему.

Шли мастеровые в цветных, но неярких одеждах цехов. Шли их подмастерья с восторженными, безумными, мальчишескими лицами.

Шли купцы, торговцы, разносчики, сидельцы лавок, менялы, ювелиры, шлюхи, конюхи с извозчичьх дворов, трактирные девки, мясники, рабочие городских скотобоен, клерки из ратуши, полицейские, темные личности из кабачков и заезжих дворов, шел, может быть, ее слуга, который исчез со дня скандала, шли гуртоправы, пригнавшие в Лондон скот, висельные плясуны, сорвавшиеся с петли, школяры разных колледжей и школ, хозяйки с сумочками, случайно попавшие сюда, шарлатаны и зазывалы в островерхих ярких шляпах, уличные мальчишки, которым всегда и до всего дело.

Шел секретарь суда, медлительный и длиннобородый человек, доктор, специалист по выкидышам, которого и она знала, шел...

Она ухватилась за занавеску...

Шел актер и пайщик театра "Глобус" — Виллиам Шекспир, который не послушался ее записки и ухнул с головой в такой клокочущий котел, из которого уже не вылезают.

И, увидя его, она невольно забарабанила по стеклу.

Но он не слышал ее. Он протек мимо нее с толпой, что валила за ошалелым, кривляющимся, обреченным и обезумевшим человечком.

Но, подумала она, усмехаясь, кому же из этих мясников, мастеров, подмастерьев, аптекарей, ростовщиков, крестьян, гуртоправов, матросов, шарлатанов, нищих, рыночных торговцев, юродивых, калек и шлюх, — кому из них дело до того, что отвергнутый любовник поднялся бунтом против своей семидесятилетней любовницы, угрожая ей революцией за то, что она не вовремя отняла у него откуп на сладкие вина?!

Глава 4

СМУГЛАЯ ЛЕДИ СОНЕТОВ

I

И все-таки она не запоздала на свидание, хотя оно вдруг совершенно перестало интересовать ее. Раздеваясь на чердаке, она подумала, что вообще нужно быть такой сумасшедшей, как она, чтобы выйти из дома. И эта мысль, как ни странно, доставила ей некоторое удовольствие. По городу — она уже знала это — были пущены глашатаи, известившие, что мятежники объявлены государственными изменниками и все, кто не отстанет от них, будут без суда отданы в руки палачам.

После этого толпа, конечно, растаяла.

Эссекс и его друзья заперлись в замке, и теперь замок осаждали правительственные войска. На чьей же стороне оказался в конце концов ее Виллиам?

Она сняла берет, повертела его и бросила на постель. С ума сойти, — так она и не переменила перо! Бог знает какая у нее голова стала за последние дни. Нет, не похоже, не похоже, чтобы он остался с ними до самого конца. Не такой он, совсем не такой. Как

он пойдет обратно? Все-таки надо было захватить с собой стилет. Говорят, что иногда достаточно взмахнуть им, чтобы от тебя отстали. Да-да, с королевой плохие шутки, он должен был это знать. И что ему понадобилось в этой истории? Хочется быть повешенным на одной перекладине с графом? Тьфу, противно даже! Актеришка! Клоун! Сочинитель стишков! Вчерашний дворянин! И тоже лезет туда же. Герб получил — так ведь и на нем написали (смеха ради, конечно): "Не без права". Потому что какое право у него на этот герб? И кому понадобится его шпага? Нет, дома, дома он, конечно. Сбежал и ставни закрыл. И вдруг она вспомнила, каким видела его из окон. Он шел спокойнее даже, чем всегда, молчаливый и равнодушный ко всему, но именно эта неподвижность и произвела на нее впечатление полной обреченности. Разве не поверилось ей тогда, что вот как он шел, так и дальше пойдет? И тем же шагом, неторопливым, мирным, спокойным, взойдет на ступеньки королевского дворца и обнажит свою почти бутафорскую шпагу, данную ему только вчера по каким-то сомнительным правам.

Она вдруг подумала, что целый вечер занимается им, и встала. Зло толкнула стул, стул упал. Она не подняла его, а постояла над ним, раздумывая о чем-то, и вдруг окончательно решила, что ей не хочется видеть этого Ричарда. Она села опять, крепко, по-мужски, опершись на подлокотник, и задумалась. Да, вот Шекспир. У него были мягкие, удлиненные руки, настолько нежные, что нельзя было поверить в их силу, — такая широкая, крепкая ладонь. Однажды он долго смотрел, как она играет, и когда она устала и поднялась с места, он тоже сел к клавесинам. Он взял только несколько аккордов, сильно и плавно, но она сейчас же поняла, как гибки и умелы его пальцы. И когда потом она осторожно взяла его за руку, только чуть-чуть выше запястья... Но вот, кажется, с этого и началось. Еще ее почему-то раздражала донельзя большая плоская серьга. Она глядела на нее,

и обязательно хотелось дернуть его за мочку. Ей обязательно нужно было бы стать его любовницей. Какое это упущение, что она не стала! Первый раз она сказала правду Пембруку, и тот, кажется, в первый раз не поверил ей. Она даже и сама не понимала, как так случилось, что с этим человеком не жила? Какие у нее были тогда соображения? Зачем ей было это надо?

Становилось все темнее и темнее; изнемогая от разнородных мыслей, она закинула голову и до хруста заломила руки за спиной... У него такие сильные, грубые руки, не нежные, а грубые. Это зря она вспоминала, что они нежные и мягкие. У него в последнее время было такое жесткое, прерывистое дыхание. Так дрожал голос, когда он говорил с ней. Она видела: ему и дышать было трудно в ее присутствии. И это она сделала, она, она! Однажды она стала перевязывать ему палец, а царапина была старая, засохшая, совсем не нужно было ее перевязывать, но их руки были соединены, ей казалось — то кровь переливается из сосуда в сосуд. Другой раз вышло так: он надкусил яблоко, но есть не стал, положил на стол, а она взяла это яблоко и так просто, как будто это следовало само собой, откусила тут же, где и он. Так они съели это яблоко. Вот тут-то она и увидела — он вцепился руками в крышку стола, и ему трудно дышать. А какие стихи он писал после! С ума сойти. Тогда ей было смешно, а теперь просто жалко его. А жалость-то у нее всегда была самым сильным чувством. Когда она жалела, она могла пойти на что угодно — на связь-то во всяком случае.

Она встала и прошлась по комнате.

Свеча коптила.

Грязный полог над гнусной, скрипучей кроватью выглядел сегодня особенно мерзким в этом желтом, расслабленном свете.

Она подошла к окну, подняла и опустила зачем-то занавеску.

Ей было все противнее, скучнее, все томительнее, — на нее находил тот приступ тоски и бешеного, острого недовольства собой, которые все чаще и чаще стали посещать ее последние дни. И знала об этой тоске только она одна.

— Скорее бы! – сказала она вслух, со страдальческой гримасой и стукнула каблуком об пол. — Скорее, иди же.

И, словно услышав ее, в дверь постучали.

— Кто? — спросила она, не двигаясь.

— Ричард Второй, — ответил ей очень знакомый голос.

II

Бербедж уж совсем собирался идти на свидание, как вдруг к нему пожаловал Четль.

— Слышали? – спросил он, стоя в дверях.

— Ничего я не слышал, — досадливо ответил Бербедж.

— Сдались все до одного, — торжествующе объявил Четль, так, словно это было его личной заслугой. Он прошел и бухнулся в кресло. — Под условием рыцарского обращения и беспристрастного разбора дела.

— Кто это? – снова спросил Бербедж.

— Да все, как есть: и Эссекс, и Рутленд, и Соутгемптон, и Блонд, все, все! Да ведь вы были там, кажется, и видели их всех?

— Нигде я не был, — досадливо отрезал Бербедж. — Слушайте, дорогой, зачем вы полезли в драку?

— Вот! – строго, с глубоким удивлением сказал Четль. — Оказывается, я опять виноват во всем. Я же сказал только вам: "Спасайте вашего друга".

– Действительно, очень ему это было нужно, — ворчливо буркнул Бербедж, придумывая, что бы

соврать Четлю, чтобы тот не увязался. Ведь этот старый бродяга отлично знает, куда он пойдет. Так попробуй-ка выживи его. Вот сидит и мелет всякую чепуху. Напоить его, что ли?

Он подошел к шкафу и вынул из него бутылку с белым хересом, совершенно особым, который специально доставал для этого холостяка. Долго сердиться на него не мог. Ну что же, пусть леди немного подождет. А он опоздает. Может оно и лучше так.

— Как поживает ваша трагедия? — спросил он уж мирно.

— Какая это? — Четль не отводил глаз от бутылки. — Ах, то о Вильгельме Завоевателе? — Он вдруг радостно засмеялся. — Я сегодня встретил вашего друга и сказал ему: "Мистер Шекспир, имейте в виду — я обгоню вашего "Гамлета". Он мне поклонился слегка, вы же знаете, какой он вежливый, и сказал: "Пожалуйста, пожалуйста, мистер Четль. Действительно, трагедия моя совсем замерзла. Я очень буду рад вашим успехам. Но о чем вы пишете?" Я сказал ему: "Пишу трагедию о Вильгельме Завоевателе, и ваш друг Бербедж говорит, что моя трагедия будет стоить больше всех ваших хроник". — "Почему?" — спросил Шекспир. Я ему ответил: "Мистер Бербедж говорит, что Вильгельм Завоеватель достойнее Ричарда, потому что пришел раньше его".

— Ну и что же вам ответил Билл? — спросил машинально Бербедж, наливая стакан Четлю.

Четль отпил большой глоток и закрыл глаза, вслушиваясь в терпкий вкус хереса.

— Вот это вино! — сказал он восхищенно. — Где вы его достали? Оно старше нас обоих. Да, так что сказал мне ваш друг? Ничего он мне не сказал, только поклонился. Ему, знаете, было уже не до того. К тому времени они уже пробились к Темзе.

— Куда? — спросил настороженно Бербедж.

— К Темзе, к Темзе, в замок графа! В Эссексхауз.

— Как?! — вскочил Бербедж. — Да где же вы его тогда видели, Четль, Четль? — Он схватил его за плечи. — Да что же вы молчали? Билл, значит, тоже был замешан в это дурацкое дело? — Он жал его плечи все больнее и больнее. — Где же он теперь?

— Не знаю, не знаю, голубчик, — миролюбиво ответил Четль, осторожно освобождаясь от его сильных рук ремесленника. — Я его видел в толпе, а где он, что он? — я не знаю.

Он видел, что Бербедж мечется, ища шляпу, и добавил уже успокаивающе:

— Да нет, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, дорогой. Ничего особенного не случится. Ведь он так пошел, поглазеть.

Он не договорил до конца, потому что Бербеджа уже не было. Он бежал по улицам.

Человек он был неторопливый, медлительный, хотя моложе Шекспира, но уже тоже в летах и всегда помнил об этом. Но сейчас он летел, как стрела Робин Гуда. Сейчас он толкал и опрокидывал прохожих. Сейчас он зацепился и опрокинул какую-то корзинку. Сейчас он сбил ребенка и ребенок орал. Только одно помнил он: Виллиам был там!

Эта черная ведьма нарочно затянула его в это дело. Затем и записку переслала с ним Виллиаму. Ах он осел, осел! Дубовая голова! Как же он не понял, для чего все это делается? Чтобы Виллиам пошел к этой змее за объяснением, она тогда толкнет его в этот котел. И это, конечно, Пембрук потребовал от нее. Ведь он лезет на место Эссекса в королевскую спальню и поэтому знает все, что происходит вокруг.

Он бежал все быстрее и быстрее, не потому, что чрезмерно торопился, а потому, что самые эти мысли требовали движения. Он был так взволнован и зол на нее, что уж не осталось и следа от его высокой влюбленности. Черная ведьма! Ворона! Кладбищенская жаба! Цыганка! Трактирная потаскуха! Девка! Он готов был избить ее в кровь собственноручно, и

изобьет, конечно, если она сейчас же не расскажет, где Виллиам и что она с ним сделала. Да, он без всяких, прямо потребует, чтобы она ему сказала — где же его друг. Он взбежал по шаткой лестнице, пролетел по коридору, подошел к двери.

Остановился.

Перевел дыхание.

Оправил одежду.

Поднял руку.

Стукнул раз, два, три.

Он почувствовал себя твердым, как будто вылитым из меди.

— Кто? — спросил его женский голос.

— Король Ричард Второй, — ответил он ясно и четко и сейчас же подумал: "Какая дурацкая шутка".

Наступила короткая пауза, и вдруг страшно знакомый голос ответил ему из глубины комнаты:

— А вам тут нечего делать, ваше величество. Вильгельм Завоеватель пришел раньше Ричарда Второго.

Это говорил Билл.

Уф! Боже мой, какое облегчение!

Ричард отошел к стене, прислонился и стоял так неподвижно целую минуту. Он отдыхал от страха, от всех тревог и волнений. Потом он вынул платок, отер лоб и улыбнулся. Давно он уже не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас, когда у него обманом увели самую лучшую из любовниц.

Как быстро и решительно вошел он в комнату! Какой ветер поднялся от него, когда он хлопнул дверью! Даже пламя свечи заколебалось и чуть не погасло. Как полный хозяин, как будто тысячу раз он был тут, подошел он к стулу, — раз! Сбросил плащ. Раз! Отцепил шпагу и швырнул ее на постель. Раз! Подошел, внимательно посмотрел на этот ужасный полог и рванул его так, что он затрещал и порвался, и пинком отбросил в угол.

Они стояли друг перед другом, и он смотрел на нее. От волнения и неожиданности у нее ком подступил к горлу и дыхание перехватило. И, как всегда, прежде ослабли ноги.

— Ты?! — спросила она. И сама не заметила, как протянула ему обе руки.

Как он был прям, когда смотрел на нее! Какая беспощадность, отточенность всех движений, невероятная ясность существования сквозили в каждом его жесте. Та ясность, которой так не хватало ей в ее путаной, чадной жизни. Во всей жизни ее, что состояла из мелких интриг, ухищрений, легчайших взлетов и мелких падений. Теперь только она и поняла, как ей не хватало его, с которым было так легко дышать и говорить обо всем.

И она пошла к нему.

Она пошла к нему, улыбаясь, протягивая руки и лепеча какую-то чепуху, хотя он еще не улыбался и не говорил ей ни слова.

Пембрук, Бербедж, капитан какой-то, кто там еще? Господи, как они далеки все сейчас от нее!

И тут он схватил и обнял ее. Грубо и больно, но как раз так, как ей было надо. И руки его были нарочно жестки для нее, нарочно для нее грубы и смелы. И она опять удивилась в эту последнюю секунду, теряя разум, а с ним и понимание происходящего. Каким же он был всевидящим и умным! Как он отлично понимал, что вот эти грубые и жесткие руки и нужны были ей сейчас больше всего!

Они стояли посредине комнаты, смотрели друг на друга, свеча горела, а дверь была открыта! Вдруг он так же молча оставил ее, пошел и запер дверь на ключ. Потом подошел к свече и резко дунул. Она погасла, будто ее обрезали.

— Но мне ведь темно, Билл, — потягиваясь, сказала она только для того, чтобы услышать его голос.

И прибавила, изнемогая, свое любимое словечко, которое откуда-то приходило к ней всегда в таких

случаях: — Сумасшедший, сумасшедший! Ах, какой же сумасшедший!

Из темноты, не приближаясь к ней, он спросил:

— Во сколько к тебе должен прийти Ричард?

— Не знаю, — сказала она, даже в темноте привычно откидывая голову, поднимая и до хруста заламывая руки. — Он совсем не придет.

Она знала, что он не верит ей, но понимала также и то, что много говорить нельзя. Но ах, как легко дышалось с ним. Она чувствовала, как огромная и пристальная ясность и беспощадность его существования заставляют ее светлеть и смириться в его больших руках.

— Билл, — сказала она почти умоляюще, — милый ты мой!

Он понял, что ей надо, помолчал и наконец пришел на помощь.

— Лучше всего, если ты не будешь мять одежды, — сказал он мирно, — дай-ка я все повешу на гвоздь.

И только она это услышала, как поняла — вот это и есть самое большое снисхождение, что ей когда-либо было оказано.

* * *

— Ну, теперь он ушел, — сказала она.

Они сидели рядом и слушали.

— Теперь и я слышу, — ответил Шекспир. — Вот он уже спускается с лестницы. Черт, как топает! Ушел! Я сейчас сойду вниз, зажгу свечу.

— Ну, — сказала она, — зачем же? — И тихо обняла его за плечи. — Билл, расскажи что-нибудь.

— Что ж тебе рассказать? — спросил он откуда-то уже издали.

— Вот ты опять думаешь о чем-то своем. Билл, о чем ты думаешь? Я хочу, чтобы ты со мной не думал ни о чем. С кем ты сейчас?

Ей хотелось, чтобы в голосе у нее прозвучала ревность, но это никак не удавалось — слишком она уже устала.

— Я с тобой, — ответил Шекспир.

— Нет, нет, ты не со мной. Не со мной, не со мной, не со мной! Говори, с кем же ты?

В ее голосе появилась прежняя воркующая нотка. Она потянулась и легла головой на его колени, а он сидел, опустив руки, и только слегка касался ее плеча. Касался ее, утратившей для него всякий интерес. Страшное облегчение, которому не полагалось затягиваться, чувство безнадежного равновесия, притупленности владело им.

Ему было так нехорошо, как будто в первый раз.

И он скоро понял, почему.

— Кривой скелет, — сказал он сквозь зубы, корчась от неудобства.

Она сразу поняла его, потому что, не поднимая головы, равнодушно спросила:

— Но ты с ними был до самого конца?

Она понимала все, что происходит в нем, и это было просто нестерпимо. Он осторожно снял ее руку. Что было ему делать с ее почти колдовской догадливостью? Ведь вот, кажется, не особенно далека, а всегда угадывает его мысли. А сейчас это были тяжелые, медленные, стыдные думы, которых нельзя было трогать. Он чувствовал себя настоящим предателем, потому что, уже идя по улице, отлично знал, что повернет назад и не примет никакого участия в мятеже, поднятом за право винного откупа. И она тоже отлично знала это, потому что сейчас же, не дожидаясь ответа, сказала:

— А я так безумно беспокоилась за тебя. Ты ведь у меня сумасшедший. Вдруг нырнешь в этот котел!

Но голос у нее уже был легок и певуч, как всегда, когда она лгала. Ни о чем она не думала. Хорошо

знала, что он никуда не пойдет. И вдруг он понял другое: вот он один, теперь у него ни друга, ни покровителя, ни любовницы. С другом он говорил сегодня в последний раз, покровителю сегодня отрубят голову, а любовница... Ну вот, она лежит перед ним, распустившаяся, мягкая и уже полусонная. Что ему еще нужно от нее? Удивительно, как постоянны в этом все женщины ее склада.

И вдруг словно косая дрожь пробежала по его телу, и он услышал, как на его голове зашевелились и поползли волосы.

От этой сырости, полумрака, скомканной, грязной постели его внезапно потянуло в свою комнату, к бумаге, книгам, к перу. Видимо, было что-то, что он вынес из этого жалкого бунта, разговора Пембрука о любовнице, от этой последней встречи на чердаке. Писать! Писать! Опять писать! Не было, кажется, у него сильнее желания в жизни.

Он встал. Ему не хотелось обижать ее, и он слегка провел по ее плечам, шее, чтобы посмотреть, спит ли.

Она лежала неподвижно и, кажется, уже действительно спала.

Он окликнул ее. Она не ответила. Дыхание было ровное и спокойное. Тогда он осторожно обнял ее за плечи, слегка приподнял и подложил под нее подушки. Взял одеяло, прикрыл ее и подоткнул со всех сторон. Она что-то как будто хмыкнула во сне и позвала его: "Билл, Билл!" Но он знал, сейчас она уже не проснется. Любовь у нее была бурная, тяжелая, клокочущая, аритмичная, и она переживала ее как изматывающую болезнь.

Он осторожно встал, в темноте привел в порядок свою одежду, отыскал шпагу под кроватью и снова подошел к ней. Она спала, сложив на полной груди неожиданно полные и, наверное, смуглые руки.

В зеленом месячном свете было видно, что губы у нее полуоткрыты, а тонкие жесткие волосы пристали ко лбу.

Он постоял-постоял над ней, потом вышел, запер и подсунул ключ под дверь.

И только что он вышел во двор, где за перегородкой похрапывали лошади и звенели ведра в хлеву, как далеко-далеко закричал первый пронзительный петух.

"О звонкое, безжалостное горло!"

Он шел по улицам Лондона, зеленый от лунного света, тяжелый, усталый, но весь полный самим собой. Он торопился скорее добраться до стола, чернил и бумаги.

И почти шаг в шаг, не отставая, шел с ним родившийся сегодня во время мятежа его новый спутник, принц датский Гамлет, которому в эту ночь было столько же лет, как и ему, Шекспиру!

ВТОРАЯ ПО КАЧЕСТВУ КРОВАТЬ

Глава 1

Маленький пастор копался в саду и беседовал со своими яблонями; в это время к нему подошла служанка и сказала, что пришла миссис Анна; потом постояла, подождала и, видя, что пастор молчит, прибавила:

— Сидит с госпожой и плачет.

— Ага! — Пастор вынул из кармана фартука кривой садовый нож и ловким ударом смахнул с молодой яблоньки всю сломанную ветвь. — Вот так-то, наверно, будет правильнее, — сказал он громко, — а то подвязывать да приращивать... Так отчего она плачет, а?

— Да будто муж там что-то... — ответила служанка, улыбаясь пастору.

— Так, так!

Пастор обошел яблоньку и посмотрел с другой стороны — деревцо повалил было ветер, но он привязал к стволу палку, и сейчас оно стояло прямо.

— А смотри-ка, — сказал он вдруг радостно и схватил служанку за руку, — перелома-то и не видно, а?

— И ни капли не видно, никакого там перелома, — горячо подхватила служанка, тихонько отбирая руку, — вот я стою и смотрю — где тут перелом? Нет его!

Пастор все смотрел на яблоньку, и его маленькое, хрупкое личико — его дразнили хорьком — было задумчиво и светло.

— Да! Ну, увидим, — решил он наконец, отворачиваясь, — увидим, примется она или нет! — Он тихонько вздохнул, спрятал нож в карман фартука и

обтер руки прямо о его подол. — Так, говоришь, сидит и плачет? — Он сорвал фартук и комком кинул служанке — все это очень быстро и ловко. — Скажи ей, что иду! — крикнул он, направляясь к себе.

Он хорошо знал, зачем к нему пришла Анна Шекспир, и помнил, что ему надо сказать ей, но это-то и раздражало его. Ведь вот он будет вертеться и подыскивать выражения, а разве так говорили апостолы благословенные слова, которые он повторяет в каждой проповеди? Они рубили сплеча — и все! А он что? "Я, дорогие мои землячки, человек простой и грубый, не лорд и не пэр, — говорил он о себе, — мой отец торговал солодом, моя мать была простая набожная женщина, и она не научила меня ни по-французски, ни по-итальянски, а сам я уже — извините! — научиться не мог..."

И жители крошечного городка Стратфорда, люди тоже простые, грубые, ясные до самого донышка (их и всех-то в городе было две тысячи), — сапожники, кожевники, ремесленники, служащие городской скотобойни, — кивали головами и хмыкали: что ж, это не плохо, что достопочтенный Кросс не лорд и не пэр, такого пастора — простого и свойского — им и надо! А те из стратфордцев, кто был постарше и прожил в этом городишке уж не одно десятилетие, вспоминали другое: лет сорок тому назад у них, например, куда какой был ученый пастор! Он и детей учил латыни, и пел, по-французски говорил, и, бывало, такие проповеди запускал, что все женщины плакали навзрыд, и такой уж он был вежливый да обходительный, что лучше, кажется, и не придумаешь, — а толку что? Вдруг сбежал в Рим и оказался тайным католиком. Ну, так чему хорошему мог научить детей этот тайный папист? Пропади пропадом такая наука! В нашем йоркширском графстве говорят только по-английски, но если вы попросите у лавочника хлеба, то будьте спокойны, что он вам не свешает гвоздей и не нальет дегтя. Да и судья, сидя на своем кресле, тоже говорит с нами на добром английском языке, и

как будто выходит правильно. Так к чему нам еще французский язык? – так отвечали достопочтенному пастору прихожане.

"А говорить с ними все-таки приходится по-французски: со всякими церемониями, — подумал пастор, заходя в зало,—по-простому-то ничего не скажешь, чуть что не так — и сейчас же обида до гроба. Вот и с этой дурехой..."

Анна Шекспир — рослая, сырая женщина — сидела рядом с женой пастора и что-то негромко ей рассказывала. И, по смыслу ее рассказа, у его молодой жены тоже было печальное, задумчивое и благочестивое лицо, но когда пастор вошел, она с такой быстротой вскинула на него живые, черные, как у жаворонка, глаза, что Кросс невольно улыбнулся. "Ну что ж, — подумал он, — у Мэри хороший муж – разве ей понять эту несчастную?"

— Вот так и живем! – громко, со скорбной иронией окончила Анна Шекспир, уже прямо глядя на пастора. — Здравствуйте, достопочтенный мистер Кросс, а я вот вашей жене свои старушечьи... — и она сделала движение встать.

— Сидите, сидите! – учтиво испугался пастор. – А я вот тут, — и, пододвинув третье кресло, он сел с ними рядом.

Матушке Анне Шекспир только недавно исполнилось пятьдесят пять, у нее было плоское лицо, большие, крестьянские руки с узловатыми, тупыми пальцами и черты резкие и прямые, как у старой деревянной Мадонны, завалявшейся на чердаке еще со времен Марии Католички. И голос у матушки Анны был тоже по-крестьянски грубый и звучный, но когда она горячилась или смеялась, то все ее неподвижное лицо озарялось изнутри блеском крупных, круглых зубов. Посмотришь на такую бабищу и подумаешь: "Такая, если что не по ней, сразу сгрызет".

И, судя по рассказам, Анна в девках и верно была такой, но прошли года, народились крикливые дети, незаметно подошла старость, и вот произошло

"укрощение строптивой": теперь Анна робела и перед голосистыми дочерями, когда они начинали орать друг на друга и начинали требовать то того, то другого (их у старухи было две — Сюзанна и Юдифь), то перед мужем Сюзанны — противным, самоуверенным человеком с наглой и вежливой улыбочкой шарлатана (он и в самом деле был доктор), то перед своим блудным мужем — молодящимся лондонским хлыщом в плаще и с дворянской шпагой на боку. Его-то пастор просто ненавидел. В три года раз он вдруг вспоминал, что в родном захолустье у него осталась семья, дом, — два дома даже, старый и новый, — старуха жена, которая старше его на семь лет, и две взрослые дочери, и на все это надлежало бы взглянуть хозяйским оком. И тогда он с легкостью театрального предпринимателя, для которого все на свете одинаково важно и на все равно наплевать, доставал где-то лошадь и верхом прискакивал в Стратфорд. Пастор видел его несколько раз (в последнее время он что-то зачастил). Шарлатан был тогда одет джентльменом, кутался в тонкий зеленый плащ и звенел шпорами. Стоя в церкви, он расточал улыбочки и с величайшей готовностью раскланивался на все стороны. Уж по одной улыбочке можно было понять, из какого гнезда вылетела эта птица и много ли ей дела до старухи жены, двух дочерей, скромной апостольской церкви в Стратфорде и всего Стратфорда вообще. А старая Анна, эта голосистая и здоровая, как медведица, дурища, ходила перед ним на цыпочках и млела от одного его голоса. А от чего тут млеть, скажите пожалуйста, на что тут смотреть?!

И, откашлявшись, пастор сказал:

— Живете-то вы неплохо, матушка! Я недавно проходил мимо вас и любовался домом. Такой дом тысячу лет простоит. Мэри, — обратился он к жене, — а ты бы...

И его понятливая жена сейчас же плавно встала со стула и сказала:

— Миссис Анна, так, значит, вы потом пройдете на кухню, я вам кое-что покажу.

Когда она ушла, Анна подняла на пастора большие желтые, как у умной собаки, глаза и посмотрела прямо, скорбно и просто.

— Ну, значит, приезжает? - бодро спросил Кросс, подвигаясь к Анне.

Та кивнула головой.

— Да, я уже слышал, у них там театр сгорел, что ли?.. Что, письма от него не получали?.. Ах, получили все-таки! А ну, покажите-ка!..

Анна протянула пастору сложенный лист бумаги. Тот развернул его, пробежал глазами и положил ей на колени.

— Ну, а что говорят дочери? — спросил он, и по тому, как старуха замедлила с ответом, понял: говорят они неладно.

— Ну, да-да, — понятливо кивнул он головой, — разговоры-то, конечно, идут у вас всякие, и я представляю...

— Юдифь говорит, — тяжело выговорила старуха, — пришло время, так он и о доме вспомнил, кутилка!

Юдифь была младшая, незамужняя дочь. Она отца терпеть не могла, а мать свою ела поедом.

— Так? А Сюзанна? — спросил пастор.

Анна только рукой махнула.

— Но она, кажется, вообще недолюбливала отца, — вскользь вспомнил пастор. — Я помню, когда вы еще покупали дом... там что-то такое было...

— Ну, тогда-то она, положим, долюбливала! — с горечью воскликнула старуха. — И все они его тогда любили! Ну как же! Бывало, покоя не дают: "А когда папа приедет?", "А когда папа приедет, подарки нам привезет?" Вот как было тогда! А как стали-то повзрослее...

— Да, — сказал пастор задумчиво, — дочери повзрослели и отошли от отца. Когда наши дети вырастают, они начинают судить нас. Да, так и бывает в жизни!

— Ну, да что там говорить, он всегда о нас заботился, — грубовато отмахнулась старуха от благочестивых слов пастора. — Мы только благодаря ему всегда имели верный кусок хлеба. Это-то почему они забывают?!

Пастор невольно улыбнулся. Анна была состоятельной женщиной — с домами, землей, просто деньгами, — но все это она называла по-крестьянски: "кусок хлеба".

— Все это так, но ведь не одним куском хлеба живет человек, — вот о чем, верно, думают ваши дочери! — мягко напомнил пастор.

— А я говорю, когда Сюзанна была малюткой, она ничего такого не воображала, — упрямо сказала старуха и даже как будто бы кулаком пристукнула, — и он тоже любил ее и хотел увезти в Лондон, да я не дала. Я тогда сказала: "Нет, это все-таки не мальчик. Вот если бы был жив наш малютка Гамлет, тогда другое дело". Но он умер, наш первенец...

Она и о смерти сына говорила тяжело, спокойно и бесчувственно, и пастору даже стало жаль ее. Он и сам не так давно узнал, что такое недостойная любовь и как трудно от нее избавиться.

— Конечно, любовь к родителям — это одна из основных христианских добродетелей, — сказал он докторально, уже голосом проповедника. — И этого никогда не следует забывать ни вам, ни дочерям. Когда отец после многолетней отлучки возвращается под семейный кров, это хорошо. Какой бы ни был отец. Но, ведь, с другой стороны...

— А я что говорю? Я это же и говорю! — радостно воскликнула Анна, не дав пастору сказать об этой другой стороне. — Я тоже говорю: "Детки, он ваш отец! Плох ли, хорош ли он был ко мне — это дело наше супружеское, вам в нем не разобраться, но к вам он всегда был хорош. О вас-то он всегда заботился". Вот дом этот купил. Зачем он ему, спрашивается? Он живет в Лондоне, а мы бы и в старом прожили, — много ли нам, старикам, места-то надо? Я и то

говорила: ''Ну его! Что ты покупаешь такой большой? Что, у тебя денег лишних много?'' — ''Нет, говорит, как же, надо купить, дочери большие, скоро замуж повыйдут, дети пойдут — нужен будет простор''. Большие! — Она скорбно улыбнулась. — Сюзанне тогда было четырнадцать, а сейчас она говорит... — старуха понизила голос, и было видно, как ей трудно все это рассказывать постороннему человеку, хотя он и пастор, — говорит: ''Он не для нас это купил, а для себя, чтоб вольнее было кутить''. Вот ведь как она мне отрезала, а разве это дочернее дело, говорить об отце такие слова? Я вас спрашиваю — ее ли это дело? Отец ее породил, так ей ли судить его? Какой бы он там ни был!

Пастор покачал головой и мудро улыбнулся.

— Вот именно, какой бы он ни был... ох-ох! — Он помолчал и заговорил строго, уже без улыбки: — Как будто бы дать ответ на ваш вопрос церкви очень нетрудно: ''Чти отца своего и мать свою, и долголетен будешь ты на земле''. Так сказано в писании — вот и все. Заметьте: там не говорится ни какого отца, ни какую мать, просто чти всякого — так нас учит Спаситель. Но... — пастор тонко улыбнулся, — будем рассуждать и дальше. Мы состоим не только из земной плоти, но и из духа, дарованного Господом. ''Отче наш, иже еси на небеси'', — молимся мы. Так что же будет, если отец земной станет отвращать ребенка от его отца небесного? Что, если он, давший ему только горсть праха, земную персть, возомнит себя единым творцом дитяти и начнет губить его бессмертную душу? Разве не вправе тогда Господь заступиться за достояние свое? Вы поняли меня, миссис Анна?

Теперь старуха сидела неподвижно, сложив на коленях большие темные руки, и слушала.

Пастор посмотрел на нее и вздохнул.

— Вам тяжело слушать, а мне тяжело говорить. Но говорить все-таки надо, миссис Анна. Когда вы меня позвали из моего сада, я подвязывал свою сло-

манную яблоньку и думал о вас и так и этак, но когда вошел и увидел вашу печаль, то, кажется, Бог осенил меня пониманием, – он улыбнулся просто и благостно, — ибо когда мы вопрошаем своего Создателя с верой и благоговением, он всегда отвечает нам просто и ясно. Итак, ваш супруг возвращается к вам в семью — отлично! Пусть двери вашего дома будут широко открыты перед ним. Пусть отца, мужа и тестя встретят только одни светлые лица. Пусть его никто не расспрашивает, а тем более не попрекает прошлым. Пусть будут огни, песни и музыка. Но... — тут пастор поднял руку, и его голос набрал высоту, — но пусть и Господь не будет обойден в этом пире. Ибо кто же знает, с чем возвращается ваш муж? До сих пор в вашем доме слышались только простые слова о дне и злобе его и звучали молитвы. Он же привык к божбе, джиге и уличным песнопениям. Так что же захочет услышать он от вас сейчас? Не потребует ли он от своих дочерей сделать выбор между отцом земным и отцом небесным — между телом и душой?

Анна по-прежнему молчала, и пастор ответил за нее сам:

— Вот вы не знаете это, и правильно — он же ничего не пожелал вам объяснить. Он просто написал: "Театр сгорел, жди, я еду". А сердца наши неустанно спрашивают — зачем? Зачем? Зачем ты пожелал вернуться? — Пастор выдержал приличную паузу и продолжал: — Царь-псалмопевец писал: "Блажен муже, иже не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании развратителей". А ваш муж не таков — он ходил, и сидел, и даже, простите меня, возлежал в собрании развратителей. Ну что там говорить! Мы же знаем кое-что про его молодые годы!

Матушка Анна теперь уж не глядела на пастора и ничего не ждала, а сидела, опустив голову, и покорно слушала. Она знала: все, что говорит достопочтенный Кросс, правильно, и она сама повторяла себе это не раз. Ведь вот опять, защищая своего нечестивого мужа, она не удержалась и похвасталась своим добром. А

6–2280

ведь это все — дома, земля, закладные — нажито неправедным путем: плясками, песнями и беснованием, и за все это когда-нибудь Господь Бог спросит ответа. Не с них, так с детей. Она знала это и теперь ждала только последнего пасторского слова. А достопочтенный Кросс вынул карманный молитвенник, открыл его на середине и, заложив пальцем, продолжал:

— "К Господу воззвал я в скорби моей и он услышал меня", — ибо Господь всегда слышит грешника, — объяснил он от себя, — но что же толкнуло грешника к Богу? А вот. "Нет мира в костях моих, — говорит грешник, — смердят и гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен, поник, ибо чресла мои (пастор мельком, но значительно взглянул на Анну) полны воспалениями и нет целого во плоти моей". Так вот что, оказывается, привело грешника к Господу. — Пастор закрыл молитвенник, так ни разу и не заглянув в него, и положил на стол.

Анна помолчала, а потом тихо спросила:

— Поэтому, вы думаете, он и приезжает к нам?

Пастор покачал головой:

— Нет, я этого не думаю. Потому уже не думаю, что ровно ничего не знаю. — Но он был доволен, что произвел на старуху нужное впечатление, — так это или не так, но этого разговора она не забудет. — Ну вот, может быть, ваш зять чего-нибудь знает. Он же доктор. Мистер Холл вам ничего не говорит?

— Он тоже ничего не знает, — тихо покачала головой старуха. — Он прочел письмо и говорит: "Пусть мистер Виллиам приезжает и садится во главе стола", — вот и все, что он говорит! От него многого не узнаешь!

— Ну, значит, ничего и нет! — спокойно воскликнул пастор. — Да и не телесные язвы страшны христианину, — праведный Иов, сидя на гноище, черепком выскребал свои язвы, но Господь возлюбил его. Тут другое, — он посмотрел прямо в глаза Анны. — "Рече безумец в сердце своем — несть Бога!" Вы понимаете меня?

На этот раз старуха испугалась так, что даже вскочила с места.

— Что вы, что вы! — закричала она, протестуя. — Виллиам всегда верил в Бога! Ой, что вы такое, в самом деле, выдумали? Нет, он верует, верует, он очень даже верует в Господа! — А по ее щекам уже ползли слезы.

— Он верует! — скорбно улыбнулся пастор. — Да, но как, как? В писании сказано: "И бесы веруют и трепещут", — так как же верует ваш супруг? Как трепещущий бес или как добрый христианин?

Руки у старухи так и ходили на ее коленях, она сделала движение встать и снова села. Открыла и закрыла рот. Потом заплакала, тихо и горько.

— Так, значит, вы думаете... — беспомощно спросила она, утирая слезы.

— Ах, опять я думаю! — мягко упрекнул ее пастор. — Да я ничего не думаю. Ровно ничего, допускаю даже, что он добрый христианин. Ведь уцелел же Даниил во рву львином. Уцелеет и праведник среди языческих торжищ! Будем думать, что мистер Виллиам возвращается с благочестием в сердце и раскаянием в душе, но если это не так, — он взял Анну за плечо, — если это все-таки не так, говорю я, пусть ваш дом, как и ваше сердце, превратится в крепость и не впустит к себе торжествующего зверя. Помните слова Спасителя: враги человека — домашние его; помните притчу об оке, искушающем вас. Лучше вырвать его, чем искуситься. Вот это все. Будьте тверды и готовьтесь к испытанию вашей веры. Ибо некто уже стучится в двери вашего дома и во тьме мы не можем разглядеть лица его. Так будем же ждать и молиться!

Глава 2

Только что пронесся косой солнечный дождик, загнал под навес кур, стеклянно прозвенел по лужам, и на дворе вдруг сильно запахло свежим сеном

и мокрой глиной. В это время с последними каплями дождя и влетел в ворота трактира ”Золотая корона” веселый всадник. Он был высок, плечист и осанист. На нем был зеленый дорожный плащ, сапоги с фигурными шпорами, на боку дворянская шпага. И конь и всадник сильно устали, оба были в поту и грязи, но ни тот, ни другой не вешали голову. Влетев во двор, конь весело заржал, а всадник припал к самому седлу и, заглянув в распахнутые двери конюшни, крикнул:

— Дедушка Питер! Эй, старина, что, ты не хочешь встречать гостя?

Зазвенело ведро, и из конюшни вышел высокий, худой старик в вязаной фуфайке, горло у него было костлявое и щетинистое, как у ощипанного петуха.

Он посмотрел на всадника и воскликнул:

— О, мистер Шекспир! Приехали? А мы ведь, признаться, думали...

— А вы думали, что мистер Шекспир уже сгорел с театром? — Шекспир легко соскочил с коня. — А вот видишь, приехал! Здравствуй, здравствуй, старина! — Он смотрел на него весело и дружелюбно. — Как живется, как можется? — Старик вздохнул. — Что, разве не расколдовала тебя та ведьма? Все болит живот-то?

— Все-то вы помните, мистер Виллиам! — хмуро улыбнулся старик. — Нет, ведьма-то расколдовала, да какое житье в семьдесят лет? Так — доживание! — Он провел рукой по шерсти лошади. — Что, опять небось неслись во весь опор? Ишь спина-то мокрая. Как бы не сгорела! Небось опять неслись, спрашиваю?

— А ты поводи, поводи ее по двору, не ленись! — весело воскликнул Шекспир. — Нет, последний перелет только скакали! Я ведь думал, ливень хлынет, вот и торопился!

— Как раз ливень хлынет, когда кругом солнце, — недоверчиво улыбнулся старик и взял лошадь за ухо. — И сколько же вы за нее заплатили?

Шекспир прищурился.

— А что, нравится? — Он потрепал лошадь по гриве. — Хороша, хороша лошадка! Дорого! За эту, уж точно, дорого заплатил! Ты бы вот сколько дал? Я продам!

Старик пожал плечами, и лицо его сразу стало тупым и равнодушным.

— Да нам такая к чему? Нежная, холеная, простыла — и все. Конечно, — помялся он, — если не подорожитесь...

Шекспир вдруг прыснул и расхохотался.

— Ах, старина, старина! И говоришь — семьдесят лет! Так слышишь, поводи, поводи по двору. — Он пошел и остановился. — Хозяин дома?

— Хозяин-то? — старик неуверенно посмотрел на Шекспира. — Хозяин-то, конечно, дома! Дома, дома хозяин, заходите.

— А хозяйка? — быстро и открыто спросил Шекспир. Они оба видели друг друга насквозь и поэтому притворяться не стоило.

— А хозяйки-то вот и нету, — любезно ответил старик и даже слегка развел руками. — Хозяин-то дома, конечно, а хозяйки и нету. Хозяйка-то вчера уехала.

— Куда? — спросил Шекспир.

Старик двумя пальцами ощупал горло.

— Да ведь кто ж ее знает, куда? — спросил он раздумчиво. — Нам-то об этом никто не докладывает, — взяла обоих ребят и уехала.

Шекспир все смотрел на него.

— Ну, раз с детьми, значит, к родителям, — вдруг сердито огрызнулся он. — А куда же еще? К ним, конечно.

Шекспир молча отцепил со спины кинжал и швырнул старику, потом снял с пояса небольшой дорожный меч в черных кожаных ножнах, тоже кинул ему и пошел.

— В конюшне все ты спишь? — спросил он, вдруг приостанавливаясь в дверях.

— Все я! — ответил старик. — Да я скажу, когда приедет.

Шекспир повернулся к нему лицом:

— Пойди сюда! Ты скажешь, что меня дома ждут и я очень тороплюсь. Понял? Задерживаться не буду. Понял? Но крестника своего, — понимаешь, крестника, — очень хочу видеть. Ну, а это все, — он ткнул на дорожную сумку, — принесешь ко мне.

И он вошел в помещение.

* * *

Гостиница "Золотая корона" была построена еще лет семьдесят тому назад. Все в ней было увесисто, топорно, неуклюже и крепко, как во всех постройках короля Генриха VIII. Но как раз эта грубость и нравилась многим.

Крестьяне любили гостиницу "Корону" за то, что стены ее расписаны яркими завитушками и со двора и с фасада; ремесленники — за то, что в ней все прочно и удобно, что внизу, в харчевне, стоят огромные дубовые столы, и если по ним хорошенько ударить, то они загудят, как бубны, потому что их делали добрые старые мастера и из хорошего, сухого дерева; купцам же нравилось то, что здесь все отпускалось открыто, на глазах заказчика. Стоит, например, внизу, возле стойки, большая черная сорокаведерная бочка, и когда кто заказывает эль, то его и наливают прямо на глазах. Главное же, что хозяин хорошо знает и местные оксфордские, и стратфордские, и даже кое-какие лондонские цены, и если с ним поговорить по душам, он всегда посоветует что-нибудь дельное.

Но заходили сюда и студенты оксфордских колледжей, — их привлекало, конечно, совсем другое. Им нравилась галерея с крохотными комнатушками под самой крышей, под потолком клетки с жаворонками, а на стенах дешевые гравюры; то, что хозяин знает несколько латинских кудрявых цитат, а моло-

дая, спокойная, красивая хозяйка говорит даже по-французски; что все, что бы ни случилось, тут будет шито-крыто, а главное — то, что здесь всегда можно встретить бродячих актеров. И потому в "Корону" заходили и те, и другие, и третьи, и в ней всегда было шумно и весело.

А сейчас старый дом как будто вымер.

Шекспир постоял в дверях и прислушался, — на кухне кто-то играл на свирели, начинал, доходил до середины и опять повторял все сызнова. А так никого не было. Он прошел по длинному темному коридору и заглянул в зало. Там, за дальним столом, сидели два бородатых человека, пили из глиняных кружек и о чем-то разговаривали. Шекспир хотел отворить дверь и войти, но в это время к нему подошел хозяин.

Волк звали этого человека. У него были прямые скулы, жесткие короткие волосы и глубоко запавшие, узкие серые глаза. Волком его звали уже с детства, и тогда он чурался этой клички, но к сорока годам, то есть сразу же после женитьбы, у него и волосы сразу поседели, и возле рта и носа появились прямые, волчьи складки, — и тогда уже никто не стал звать его иначе. Улыбался Волк редко — разве только когда встречал кого-нибудь из знакомых актеров.

Ибо поистине не было в городе Оксфорде большего болельщика и театрала, чем Волк. Тут ему и хозяйство было нипочем. Он мог по целым часам сидеть и слушать рассказы какого-нибудь случайного театрального бродяги; он не перебивал, не поправлял и не переспрашивал, а просто и честно слушал. А если рассказчик вступал с ним в разговор, то он видел и другое — этот захолустный медведь имеет свои суждения. Так, например, он очень здраво судил, почему трагический актер театра "Лебедь" Эдуард Аллен хуже, крикливее актера театра "Глобус" Ричарда Бербеджа, а ныне преуспевающий комик Аримн недостоин даже развязать ремня на башмаке чудного, нежного Тарльтона, умершего десять лет то-

му назад. Так, по крайней мере, прибавлял он, говорит мистер Шекспир, его кум и близкий приятель. И, услышав наконец про такого кума, чрезмерно прыткий рассказчик (а по совести сказать, какой актер не чрезмерно прыток в кабачке за пять дней пути от Лондона?) начинал сбиваться, мекать, а потом и совсем замолкал. А вечером хозяин говорил своей жене — спокойной и ласковой ко всем Джен: ”Враль изрядный, но актер, кажется, неплохой”, или: ”Умен-то он умен, да толку-то что? Ведь в театре не за ум деньги платят”, или (со вздохом): ”Ну что ж, лет десять тому назад и эта ветряная мельница чего-то стоила”, — и молоденькая Джен смеялась. Она вообще на людях много и охотно смеялась, и смех ее был просто необходим завсегдатаям трактира ”Золотая корона”. Ведь иначе было бы просто невыносимо думать, что она живет с этим Волком уже восемь лет и имеет от него двоих детей.

Вот этот Волк и стоял сейчас перед Шекспиром.

— Здравствуйте, мистер Шекспир, — сказал хозяин, делая вид, что улыбается. — А мы позавчера как раз вспоминали про вас.

Они пожали друг другу руки.

— Вы меня только позавчера вспоминали, мистер Джемс, — ласково, но с сердцем сказал Шекспир, — а я вас все эти пять дней непрерывно вспоминаю! Да что, в самом деле? — продолжал он, разводя руками. — Выезжал я из Лондона в дождь, и вот как промок на мосту, так и до сих пор не обсушился. В гостиницах все дрова мокрые, а камины дымят! И что они только летом смотрели, не знаю! Ну нет, любезные, говорю, нет! Мистер Джемс в Оксфорде отлично знает, что делает, когда выписывает печника из самого Лондона, — вот уж у него обсушишься!

На лице хозяина появилось опять какое-то подобие улыбки, хотя, может, он просто пожевал губами.

— Благодарю вас, мистер Виллиам, — сказал он очень любезно. — Очень рад, что мы — я и Джен — сумели вам угодить. Моя супруга все время напоми-

нала про вас. Крестника-то вашего нет. Вам, наверно, сказали?

— Нет! — быстро отозвался Шекспир. — Я ведь никого еще не видел. А что, разве...

— Так нету, нету, — уехал с матерью к бабушке. Ничего, пусть потормошит стариков, правда? — Он посмотрел на Шекспира. — А вы все еще не хотите стареть. Все такой же красавец!

— Ну да, а виски? — мотнул головой Шекспир. — Виски-то все белые! Нет, мистер Джемс, что уж тут нам говорить про нашу красоту...

— Такой же красавец, такой же красавец! — безапелляционно повторил хозяин и отпустил его руку. — Ну, наверно, хотите умыться и отдохнуть с дороги? Идемте, — как раз ваша комната свободна!

Они прошли коридор и стали подниматься по лестнице.

— И ведь ни одна ступенька не качнется, — похвалил Шекспир.

— А у меня в доме ничего не шатается, мистер Виллиам, — ответил Волк, мельком взглянув на Шекспира. — У меня все крепко, — продолжал он с нажимом, — и дом, и двор, и потому что я за этим смотрю по-хозяйски, я...

И тут вдруг Шекспир приглушенно вскрикнул, выпрямился и, конечно, упал бы, если бы хозяин вовремя не успел подхватить его за спину.

— Ну-ну! — сказал Волк, удерживая в руках его тело. — Ничего, ничего! Ну-ка, сядьте на ступеньки.

Закинутое назад полное лицо Шекспира полиловело, а на висках, как пиявки, вздулись извилистые черные жилки. Он все хотел что-то сказать, но челюсть его отваливалась и отваливалась, и изо рта лезли длинные ленты слюны. Волк стоял, держал его за плечи и говорил:

— Ничего, ничего. Сейчас все пройдет!

Но как будто огромное деревянное колесо шло по телу гостя, давило грудь, ломало ребра, и он все выгибался и выгибался под его страшной тяжестью,

задыхался и ловил руками воздух. Так продолжалось минут пять.

Наконец Шекспир облегченно вздохнул, открыл и закрыл глаза и встал. Потом дрожащей еще рукой вынул платок и обтер лицо.

— Извините, — сказал он пересохшим, но уже бодрым голосом, — я вас испугал. Вот так накатит иногда на меня...

Губы у него мелко дрожали, а по щекам бежали слезы.

Хозяин, не отвечая, молча взял Шекспира за плечи и повел. Довел до кровати и, сбрасывая одеяло, сказал:

— Ложитесь! — Шекспир что-то медлил. — Да ложитесь как есть. Я все сделаю.

Он положил его, ловко стянул с него сапоги со шпорами и поставил возле изголовья. Потом подвинул стул и сел. Шекспир лежал, смотрел на него и улыбался. Он чувствовал себя очень сконфуженным, как будто его кто уличил во вранье.

— Как же вы ехали? — спросил тихо Волк, помолчав.

— Да вот так и ехал! — ответил Шекспир.

Волк покачал головой и с минуту смотрел на него, что-то соображая. Сзади скрипнула дверь. Толстая, трепаная девка заглянула в комнату и деликатно хмыкнула.

— Что ты? — спросил ее Волк, не оборачиваясь.

Девка опять хмыкнула и пошаркала ногой по полу.

— А это раньше надо было, — сказал хозяин спокойно. — Убирайся. Ну а играли вы как же?

Шекспир молчал.

Хозяин встал.

— Так, может, обед вам принести сюда?

Шекспир кивнул головой.

— Но без вина? Без вина, конечно! После припадка пить нельзя. Да и вообще — вы свое уже отпили,

правда? Ну и женщины, конечно, тоже нельзя. Помните смерть Рафаэля? Умер на чужой кровати. Ну, если и с вами что-нибудь случится, что же мне тогда за вас Джен-то скажет? Нет уж, отца крестного надо беречь и беречь. А случайная женщина и случайная смерть — две родные сестры. Так-то, мистер Виллиам.

Волк ушел, а он лежал на кровати и думал. Мысли налетали на него и сразу обхватывали всего, как ветер шумящую листву. Сперва он думал: ”Надо обязательно добраться до дома и позвать нотариуса. А то она и своей свадебной кровати не увидит! Бедная моя старуха! А что ты хорошего еще видела в своей жизни? Одну ругань!”

Потом: ”Ну а до этого, конечно, еще далеко, лет на пять меня хватит. А все-таки надо позаботиться загодя”.

Так прошел час, а он все лежал на кровати и смотрел на потолок, мысли по-прежнему захватывали его; как всегда, это был бессвязный вихрь — одного, другого, третьего, — все без начала и конца.

Он думал еще:

”Питер прав, нужно же было мне скакать сломя голову неведомо зачем!”

(Джен хотел видеть, Джен хотел видеть, Джен хотел видеть — вот и скакал.)

”...Полежу еще немного и спущусь. ”Без вина, конечно!” А вот выпью при тебе целую кварту, тогда ты прикусишь язык”.

(Спускайся не спускайся, Джен-то нет...)

”Двойной родственник... смерть Рафаэля...

Ах, Волк! Хитрейшая бестия он, скажу вам по совести. Почему он, когда ему рассказывают, сидит и молчит и никогда ничего не спросит? Потому что он знает: ври не ври, а все равно скажешь правду. Но я-то не из таких! Бросай не бросай мне червяка, я на него не клюну, помни это, пожалуйста.

...Смерть Рафаэля... А что, если я с этой самой кровати и явлюсь в царство небесное? О, тогда я буду полон всеми смертными грехами, и сегодня при-

бавится еще новый (не бойся, сегодня ничего не прибавится — ее-то нет!). Я скажу тогда: Господи, конечно, я большой грешник, но, сказать по совести, корень всех моих грехов — моя женитьба. Все, что есть нехорошего, мелкого в моей жизни — все наползло оттуда. От нее я и одинок. Ни дома, ни семьи, ни детей, — только могила сына да три деревенские ведьмы над ней — вот все, что у меня осталось под конец. Да еще ты, Джен, если это верно, что ты меня любишь.

Да, надо будет сразу же позвать нотариуса и составить завещание, но Господи, Боже мой, ты же знаешь, я никогда не любил ее, такую безобразную, грубую, плечистую — ни дать ни взять, переодетый мельник. Когда мне было восемнадцать лет, ей уже стукнуло двадцать пять. А вообще, Господи, все получилось очень просто, — ты же знаешь, я был молод и гол, а отец слыл самым богатым плутом в нашем округе. Она знала это и была такая гордая да чванливая, что просто хоть не подходи, но против меня все-таки не устояла. Когда мы появились вместе, все оглядывались на нас и говорили: "Молодец, Билл! Ты, Билл, далеко пойдешь", "Тебя повесят, Билл, подлец ты эдакий". Вот как говорили тогда. И это меня больше всего подхлестывало. А были такие, которые смеялись: "Ни черта из этого не выйдет все равно, разве старый Хатвей примет к себе нищего?" Но я-то знал: теперь уж ничего не попишешь — примет! Я был в ту пору тщеславен, как все деревенские парни.

Так мы и обвенчались. В первые годы она была свирепой и необузданной стервой, швыряла тарелки и кричала через все комнаты так, чтобы слышали прохожие: "Нищий лоскут! Ты думаешь, я не знаю, почему ты женился на мне? Нет, я очень хорошо знаю это". Но раз я ей ответил: "Анна, я женился на тебе потому, что через пять месяцев после нашей свадьбы родился ребенок, — вот и все". Тогда она упала на свою кровать и заревела, а я был доволен и улыбался. Так мы ругались пять лет, потом охрипли и уста-

ли, потом совсем замолкли, — вот с тех пор и молчим. Так что ты зря считаешь меня счастливчиком, Джен. Одной тебе нравятся мои стихи — очень дрянные стихи, если сказать по правде, не то у меня сидит в голове, когда я еду из "Золотой короны" в Стратфорд, но тебе все равно они нравятся.

Дрянные стихи.

...Однажды некий сэр мне сказал: "Ваше время проходит безвозвратно, вы двадцать пять лет заливали сцену кровью из бычьего пузыря, а нам нравятся теперь только изящные интриги, тонкость чувств и речей. Королева любила вас потому, что сама была груба, как скотница, а его величеству еще нравятся ваши ведьмы и духи, но долго на них вы все равно не проездите. Изящный вкус возвращается в Англию". А тот великий лорд и философ, который когда-то допрашивал меня по делу Эссекса, — этот мне сказал так: "Сэр, я видел вашего "Гамлета", не скрою, в нем много истинно смешного и истинно высокого, но, сэр, вы забываете свое же золотое правило, что скромное суждение одного знатока следует предпочесть реву целой сотни ослов. Вы пишете только для увеселения черни. Достойно ли это истинного таланта?" Тогда я ответил: "Ваша светлость, в моих трагедиях короли и графы говорят о философии". Он засмеялся, махнул рукой и ответил: "Ах, нет, сэр, пусть ваши короли и графы никогда не говорят о философии, а занимаются своими делами". И больше по своей благовоспитанности он ничего не пожелал прибавить — так мы и разошлись.

Только одной Джен нравятся еще мои неуклюжие стихи..."

* * *

А вечером как ни в чем не бывало он и Волк сидели в харчевне за самым дальним столом, и возле Шекспира стояли два стакана и большая, тяжелая бутылка из черного грубого стекла.

— Ну вот, часок поспал — и опять молодой и красивый, — сказал Волк радушно. — Сейчас подадут закуску, и будем пить за ваше здоровье.

Шекспир, чисто выбритый, в свежей, душистой сорочке с кружевными манжетами, поднял пустой стакан.

— Первый — за маленького Виллиама! Вчера я даже не успел вас спросить про моего крестника, как он жив?

— Да, да, не спросили, — серьезно подтвердил хозяин. — А он ведь не только крестник, он еще ваш тезка! Как жив-то? А вот через два дня приедет с матерью — увидите. — В голосе Волка дрожало что-то неуловимое.

— Да вот уж и не знаю, увижу ли, — закинул крючок Шекспир. — Я ведь очень тороплюсь. Дома меня ждут. Уже неделю, как ждут.

— Но вы же не уедете, не повидавшись с крестником? — спокойно изумился Волк. Шекспир хотел что-то сказать, но тот перебил: — Нет, нет, об этом и речи быть не может, и Джен вас так хочет увидеть. Вот! — Волк взял в руки бутылку. — Настоящее португальское! Она для вас сберегла эту бутылку. Сейчас попробуете, что за вино.

Подошел слуга, откупорил бутылку, любезно осклабился и ушел. Хозяин, строго нахмурившись и священнодействуя, взял бутылку, осторожно и бесшумно наполнил стаканы и один подвинул Шекспиру.

— Ну, — сказал он, — за ваше здоровье! Вы в этом году что-то здорово запоздали.

— Да, запоздал, — подтвердил Шекспир, оглядываясь. — А что это, я смотрю, у вас сегодня мало народу?

Не то что народу было мало, просто никого не было в харчевне, только на другом конце стола опять сидели два пожилых бородатых человека, — наверное, купцы, — пили эль и о чем-то тихо разговаривали. И Волк тоже мельком посмотрел на купцов.

— А прогораем, — сказал он спокойно и смешливо, — скоро все придется продать и пустить с молотка. Почему? А вот появился в Оксфорде новый лорд-канцлер и начал наводить свои порядки. "Как? — говорит он. — Чтобы будущие пасторы, богословы и судьи рыгали, как свиньи, и валялись с непотребными девками под заборами? Так не будет же этого! Буду ловить и судить своим судом". Ну, а человек он крутой, и суд у него короткий, — вот видите, не ходят, боятся. — Волк говорил насмешливо и спокойно. — Так что хоть закрывай лавочку. Только одна надежда есть: у нас в веселой Англии праведники что-то не заживаются. — Он взглянул на Шекспира повеселевшими глазами. — Ну а вы надолго к нам?

— Насовсем, — ответил Шекспир.

— Вот как? — удивился хозяин и в первый раз посмотрел на своего гостя как-то по-настоящему.

— Да вот так, — ответил Шекспир уныло и сдержанно, — именно так!

Помолчали.

— Нехорошую весть вы мне сообщили, мистер Виллиам, — сказал наконец Волк печально и просто. — Лондон для меня будет пуст без вас.

— Ну что там! — отмахнулся Шекспир. — Знаете, какие парни там будут работать вместо меня?

Он говорил о Флетчере и Бомонте — двух модных драматургах, поступивших в "Глобус" еще семь лет назад.

— Да, не ожидал, не ожидал, — повторил Волк задумчиво. — И что же, Бербедж вас отпускает?

— А-а! — поморщился Шекспир. — Вы думаете, это все те же времена, когда в театре только и были я да Бербедж? Нет, теперь все не то. Меня и слушать не хотят.

Тут хозяин даже улыбнулся.

— Шуточки! Кто же захочет порвать с вами после письма короля?

— Ах, это письмо! — Шекспир так рассердился, что даже выругался про себя. — Дорогой мистер

Джемс, — сказал он бешено и тихо, — этому письму уже семь лет, — это раз. Второе: надо же знать, что это за письмо и что в нем было, а этого никто не знает, но все кричат: "Письмо короля, письмо короля!" И третье, самое главное: правда, король послал мне письмо, но сверх этого его величество не даст мне ни шиллинга. Меня содержат такие же простые люди, как вот вы, или старый Питер, или я сам. Это они бросают в медную кружку свои пенсы, — значит, они хозяева и в них все дело. И я всю жизнь жил с ними в ладу, потому что знал, что им от меня нужно. А сейчас вот не знаю, — значит, стал стар и непонятлив. Да и вообще, скажите, может, наконец, человеку все надоесть?

— Конечно, если этому человеку шестьдесят пять лет... — сказал хозяин неохотно.

— Ну а если человеку сорок восемь, но двадцать пять лет он провертелся на сцене, тогда что? — спросил Шекспир сердито. — Ведь если мне сорок восемь, то Бену только тридцать девять, а Бербеджу тридцать шесть.

— Все это не то! — досадливо сморщился хозяин, — Бербедж — актер, Бен — солдат. И вы теперь только пишете, а не играете!

— Я пишу! Марло кончил писать в двадцать девять, а Грин в тридцать, — сказал Шекспир, — а мне сорок восемь, и этого все мало! Эх, мистер Джемс, давайте тогда лучше уж пить!

Волк быстро отодвинул бутылку.

— Хватит! Я не хочу с вами возиться всю ночь. Нет, вы говорите не то. Ваш возлюбленный Марло и Грин были пьяницы и пропащие души. Поэтому одного зарезали, а другой сгорел от вина. А вы хозяин, джентльмен и благоразумный человек.

— Вот поэтому я и нагружаю свой фургон, что я благоразумный человек, — сказал Шекспир, отдуваясь. — Именно поэтому. Вы же знаете, что такое "нагрузить фургон"?

Волк кивнул головой.

"Нагружал свой фургон" Шекспир уже дважды.

Первый раз — когда во время чумы парламент на три года закрыл все театры и актерам пришлось ехать за границу, и второй раз, лет двенадцать тому назад, — когда в Лондоне появились детские труппы. Успех их был потрясающий, и актеры не понимали, в чем секрет. Все в этих театрах, все было как в настоящих, только хуже. По сцене двигались, неумеренно махая руками и завывая, карликовые короли, замаскированные крошечные пираты, наемные убийцы, малюсенькие принцессы, рыцари, монахи, арабы и любовники. Все, что полагалось по пьесе, дети проделывали до конца добросовестно, — они изрыгали чертовщину, говорили непристойности, резались в карты, блудодействовали, убивали и даже вырывали из груди сердце убитого, но ручка у убийцы была тонкая, детская, с пальчиками, перетянутыми ниточкой, а из-под злодейски рыжих лохматых париков светились чистые, то по-детски сконфуженные, то детски восторженные глаза; у блудниц же были голубые жилки на височках, тоненькая, наивная шейка, и у всех без исключения — звонкие, чистые голоса. Репертуар для детских трупп подбирался самый что ни на есть свирепый — убийства, отцеубийства, кровосмешение, вызывание духов, но детские голоса побеждали все — и кровь, и грязь, и блуд, зритель уходил из театра довольный и очищенный от всей скверны. И тогда большие мрачные театры взрослых опустели. Актеры закрыли их ворота на замок, забрали костюмы да и поехали искать счастья по графствам. "Дети оттеснили всех, даже Геркулеса со своей ношей", — писал Шекспир о "Глобусе". Вот именно тогда они и встретились, молодой Волк и молодой Шекспир.

— Ну что ж, — сказал Волк, подумав, — пусть будет так. Вы правы, "отцветают первыми те цветы, которые зацветают первыми". Вы достаточно поработали — у вас два дома...

Шекспир сердито засмеялся.

— Вот в этом-то и все дело! Дома-то и тянут меня на дно. Юдифь говорит: "Ну, когда у тебя не было за душой ни гроша и мы жили на матушкино приданое..." Вы слышите, "на матушкино приданое"! Это все тетки Хатвей им вбивают в голову. Так вот, им понятно, зачем тогда я сунулся в клоуны. Ну что удерживает меня теперь, когда у меня есть деньги? Ведь мы для них все клоуны — что я, что Бербедж, что король джиги Кемп, — разницы-то нет! Они всех бы нас засунули под один колпак. — Он протянул Волку стакан и сердито приказал: — Налейте! Вы еще будете, Джемс, дурить!

Волк налил, и они выпили еще по стакану.

— В прошлом году было такое, — продолжал Шекспир, — приходит к моей супруге некое очень уважаемое лицо. Ольдермен или пастор, уж не знаю, — для меня же все тайна. Так вот, приходит это очень уважаемое лицо и говорит моей старухе: "Вы — мать почтенного и богобоязненного семейства, ваши дочери — лучшее украшение нашей апостольской церкви, а ваш супруг за пенни представляет дьявола возле кабачка рыжего Джона". Вот видите, какое дело! И моя старуха плачет и говорит соседям: "Я знаю, что господня десница на мне и на моих детях".

— Вы ей и ее детям заработали дворянство, — возмутился Волк, — про это-то она, по крайней мере, помнит?

— И теперь насчет дворянства, — продолжал Шекспир. — Моя старуха, конечно, ему это сейчас же и выпалила, — так знаете, что он ей ответил? "Милорды своим шутам и не то дают, но Бог в судный день отворотится от такого дворянина". Эти старые надутые дурни, оказывается, знают, кого Бог спасет, кого осудит! — Он швырнул в сердцах по столу стакан и продолжал: — На достопочтенного сэра можно было бы, конечно, и плюнуть, как он этого и заслуживает, но тут другое: Юдифь-то все не замужем. Когда Сюзанна выходила за доктора Холла, у Юдифи целую

неделю обмирало сердце, болела голова, и она ходила с опухшими глазами. Я в то время этому не придал значения: ладно, мол, еще время-то будет, успеет выскочить. Но вот прошло пять лет, а она все в девках. И говорит: "Это все твой чертов театр, чтоб он сгорел!" Ну вот, он наконец сгорел, и я приехал, чтоб ее выдать замуж.

Волк сидел молчаливый и хмурый. Он хорошо знал Юдифь. Это была рослая, белобрысая, перезрелая девка, такая тяжелая и злая, что когда она шла, то на столе и полках дребезжала посуда. Она, конечно, и не такое еще могла выпалить.

— "Чтоб он сгорел"! — угрюмо повторил Волк. — И ведь не знает ни одной вашей строчки.

— Одну знает, — ответил угрюмо Шекспир. — В прошлом году, как я только приехал, она мне ее и преподнесла. Вот: "Я должна танцевать босиком на свадьбе моей сестры и из-за вашей глупости водить обезьян в ад".

Волк покачал головой, — видно, кто-то из стратфордцев подобрал этой ведьме подходящую цитату: "Водить обезьян в ад" — это и значило сидеть в девках.

— Это, наверное, ее доктор подучивает, — сказал он.

— Возможно, — сейчас же равнодушно согласился Шекспир. — Возможно и доктор, я его плохо знаю. Так вот, для того чтобы она не "водила обезьян в ад", я и возвращаюсь. Раз уж нажил два дома и народил дочек, ничего не поделаешь, тогда возвращайся и уж сиди смирно на месте. Оказывается, что за все нажитое приходится отвечать перед людьми и Господом.

— Да, перед людьми и Господом, — задумчиво согласился хозяин, упорно думая о своем, — и такова, наверно, природа вещей. Как говорит один ваш герой: "Простите нам наши добродетели, ибо в наши жирные времена добродетели приходится просить прощения у порока".

Глава 3

На другой день он сидел и брился, как вдруг вошла давешняя девка и спросила, готов ли он и может ли к нему прийти госпожа.

Он вскочил, как был, весь в мыле и с бритвой в руке.

— Скажи ей, что сейчас я сам...

Но девка, не торопясь, подошла к постели и стала ее убирать.

— Госпожа придет сюда. Хозяин уехал ночью за сеном, — голос девки был очень спокойный, она даже ни разу не посмотрела на Шекспира, — госпожа приказала, чтоб вы скорее вставали и ждали ее.

"Сумасшедшая! — подумал Шекспир о Джен. — Ну не сумасшедшая ли? Что еще за спешка?!"

Пришла она, однако, только через полчаса. На ней было простенькое черное платье, которое очень ей шло, потому что оттеняло чуть желтоватую, сливочную белизну ее лица и шеи. Ведь она и вся была полная, спокойная, неторопливая, с мягким шагом, осторожными руками и округлыми, плавными движениями.

— Подумать только, — сказала она, бесшумно заходя в комнату и притворяя дверь, — он как будто выбрал специально такое время, когда меня не было. Год ждала его, уехала на два дня — и он тут как тут! Ты что же, не хотел меня видеть? А я вот все равно услышала и приехала!

— Боже мой, Джен! — как будто даже подавленно сказал Шекспир, подходя к ней и целуя ее то в одну, то в другую щеку. — Джен, да я с ума сошел, когда узнал, что тебя нет! Я бы и сам поскакал к тебе, но Джемс был так снисходителен...

Она не то поморщилась, не то улыбнулась.

— Снисходителен? — спросила она певуче и вздохнула. — Ну, хорошо! — Она подошла к окну, спустила штору и села в кресло. — Так почему ты так запоздал?

Он посмотрел на нее.

— А разве тебе твой муж ничего...

— Я его видела только одну минуту, — ответила она, серьезно и прямо глядя на него. — Он вызвал меня, а сам уехал.

Она говорила очень спокойно, но он вдруг почувствовал, что с ней что-то случилось и она совсем не такая, как всегда, — не то встревоженная и затаившаяся, не то совершенно спокойная, — но какая же именно, он ухватить не мог.

— Так рассказывай, — нетерпеливо сказала она. — Ты рассчитался с театром, да?

Это "ты рассчитался" прозвучало так по-обидному легко и жестоко, что он внутренне вздрогнул.

— Значит, кое-что он все-таки успел тебе рассказать? — спросил он.

— Но я же сказала: он мне ничего не говорил, — суховато отрезала она, — так говори, я слушаю.

Он смотрел на нее настороженно и неуверенно, потому что совсем не этого ждал от их встречи и никак не понимал ее тона.

— Ну так что ж рассказывать? — пожал он плечами. —Рассчитался, вынул свою долю и вот еду домой.

— Домой? — спросила она протяжно, что-то очень многое вкладывая в это слово, но сейчас же и осеклась. — Ладно, о доме потом, но почему ты ушел? — Он открыл было рот. — Ты болен? Давно?

"Рассказал о припадке, скотина", — быстро подумал Шекспир и ответил, принимая вызов Волка, в лоб:

— Так болезнь-то, собственно говоря, одна — мои пятьдесят лет. Для театра я стар — вот и все.

— А те моложе? — спросила она спокойно.

— Те делают сборы, — резко сказал Шекспир, — а я не делаю сборов, значит, я выдохся и стар. Что бы я ни написал, все теперь не имеет успеха. Ну кому теперь нужна "Буря" или "Зимняя сказка"? — Он улыбнулся и развел руками. — Никому! Только мне.

Так же резко и спокойно она спросила:

— А "Гамлета" ты больше не напишешь?

— А "Гамлета" я, пожалуй, больше не напишу, — ответил он задумчиво и просто, — нет, определенно даже не напишу. Да он и не нужен. И потом я просто устал. Джен, ну может человек устать?

Она ничего не ответила, он хотел сказать что-то еще, но вдруг, наколовшись на ее взгляд, резко махнул рукой и замолчал.

Он знал: что бы он ей ни сказал, она поймет его, но говорить дальше было уже просто невыносимо, — кто же имеющий голову станет жаловаться любимой женщине на свою несчастную судьбу или на интриги товарищей!

Но она больше ничем и не интересовалась, а только спросила:

— А дома тебя ждут?

— Ну конечно, — ответил он невесело.

— Жена и дочери? — спросила она, легко произнося те слова, которых они до сих пор оба тщательно и пугливо избегали.

— И зять еще, — ответил он, усмехаясь.

— И все они будут рады?

Он пожал плечами. Ему вдруг подумалось, что вот он рассчитался с театром — и все вокруг сразу переменилось: и Волк не так его встречает, и старый Питер глядит как-то странно, и даже Джен иная. Или, может быть, это он переменился, а люди-то остались прежними?!

— Джен, Джен, — сказал он, мучительно улыбаясь, — что ты такое говоришь, как же жена может быть не рада своему мужу? Нет, моя Анна благочестивая женщина.

Джен кивнула головой и сказала раздумчиво и печально:

— Месяца полтора они были все тут: миссис Анна, Сюзанна и доктор Холл.

Его сразу обдало жаром, и он спросил:

— Ну и что?

Она смотрела на него с улыбкой, смысла которой он не понял.

— Ничего! Миссис Анна — старая достойная женщина. Когда Джемс показал ей две твои книги "Сонеты" и "Гамлет", — она взяла их и долго переворачивала и только потом листнула и положила, а вечером она спросила Джемса, давно ли они печатались. Джемс ответил: "Одна — восемь лет назад, другая — три". Тогда она покачала головой и сказала: "Не знаю, не знаю, восемь лет тому назад мы, правда, уже купили дом, но, наверно, не на них. За эти штуки дорого не платят". А Сюзанна крикнула из другой комнаты: "Да и ничего не платят! Это так кто-то зарабатывает, а нам от них только позор". Тут я сказала ей, что это не позор, а слава. Лорды, графы и герцоги издают такие книги. А миссис Анна вздохнула и сказала: "Да уж наверно не такие, а какие-нибудь графские. Вот у доктора в комнате лежит с гербом и короной на белом переплете — это другое дело, а от этой дряни чести нам не много, а денег и того меньше.

— Они правы, — усмехнулся Шекспир, — и хорошая слава в Лондоне на мне, а худая в Стратфорде на них. В том-то и дело, Джен, что, пока я витал в облаках, мои женщины ступали по стратфордской земле. Поэтому я и имею два дома.

— Разве поэтому? — повторила Джен невесело. — Когда Анна увидела, что доктор принес своей жене букет, она сказала ей: "Вот твой бы отец посмотрел! Он ведь знает название каждого цветка. Бывало, пойдем мы за мельницу, сорвет он какую-нибудь болотную травку и спрашивает: "Анна, ну а это что такое?" Тут Сюзанна закричала: "Ой, мама, вы всегда заведете что-нибудь такое! Ну кому интересно, в какое болото вас таскал отец сорок лет тому назад..." И миссис Анна сразу замолкла. Вечером я подошла к ней и спросила: "Мистер Виллиам так любит цветы?" У нее уже были заплаканные глаза, — там что-то опять вышло у Холлов, — и она мне сердито ответи-

ла: ”А что он только не любит? И птиц, и деревья, и цветы, и песни, и еще Бог знает что! Только до своей семьи — жены и детей — ему нет никакого дела!” Я возразила: ”Но и земли и дом он купил в Стратфорде только для вас и дочерей. Его сердце все время с вами”. Тут она так рассердилась, что даже покраснела. ”Да что вы мне толкуете про его сердце, сударыня? Я-то уж знаю хорошо, где его сердце. Вы мне хоть этого-то не рассказывайте. Несчастная та женщина, которая ему поверит!” Я хотела ей еще что-то сказать, но она закричала: ”Ну и довольно слушать мне эти глупости! Куда ни приеду, все мне: ”Ваш муж, ваш муж!..” Как будто хотят похвалить, а на самом деле запускают когти. А я стара-стара, глупа-глупа, да вижу, кто на что метит. Я вам говорю: забери нас всех завтра чума — он только перекрестится. Слава Богу, наконец развязался бы и со мной и с дочерьми”.

Джен посмотрела на Шекспира:

— Виллиам, зачем вы туда едете? К кому?

Пока она говорила, Шекспир сидел и горел. Ему было так неудобно, что он даже перестал улыбаться. Когда же Джен кончила, он вскочил и бурно обнял ее, но она резко вывернулась и сказала:

— Оставьте, я с вами хочу серьезно говорить.

Но он, беспокойно и мелко смеясь (куда делось его мужество!), схватил ее и уткнулся лицом в ее шею. Действительно, только того и не хватало, чтоб его ведьмы, собравшись скопом, поочередно совали в нос Джен печные и ночные горшки его семейства. И Шекспир понимал, что сейчас чувствовала Джен. До сих пор она знала его совсем иного — легкого, веселого, свободного, как ветер, избалованного успехом и женщинами, знатного джентльмена, спустившегося в их харчевню из голубоватого лондонского тумана. Любимца двух королей и друга заговорщиков. Он сорил деньгами и был молод — сколько бы лет ему ни исполнилось! — был весел и беззаботен — что бы с ним ни случилось! — был одинок и беспоща-

ден в своей жестокой свободе. И вот теперь перед ней оказался старый, больной человек, плохой муж и нелюбимый отец, который никак не может сбыть свою перезревшую дочь и за это все семейство грызет ему шею; то, от чего он скрывался всю жизнь, откупаясь письмами, деньгами и обещаниями, вся эта жадная, глумливая прорва наконец настигла его и накрыла в его последнем и сокровенном убежище — как же тут не мычать от стыда и боли и не прятать раскаленное лицо в шею любовницы?

— Да что ты их слушаешь? — чуть не закричал он. — Сюзанна поссорилась со своим мужем — это у них на неделе два раза, чем-то затронула мою старуху, та и раскудахталась... — Он не хотел сказать "старуху", это уже само собой вырвалось, и он увидал, как Джен поморщилась. — Ну вот еще беда! — сказал он безнадежно. — Я вижу, наговорили тебе черт знает что, а ты и расстроилась.

— Вы не научили ваших дочерей даже грамоте, — сказала она задумчиво, — они же не могут отличить писаного от печатного. — Он осел от ее тона — так горестно и искренне прозвучали ее слова. Замолчала и она. Так они и молчали с минуту.

— Ах, Виллиам, Виллиам, — сказала она наконец, — завтра вы будете у них. Что ж вы там будете делать? С кем говорить? Куда вы кинетесь, когда вам станет невмоготу?

— К тебе! — пылко, тихо и решительно сказал Шекспир. — Ты мне теперь заменишь всех. Ты моя последняя и самая крепкая любовь.

Она хотела что-то возразить, но он перебил:

— Послушай, я все обдумал. Спроси у Питера, какого коня я купил, — для него сорок верст — пустяк, один прогон! У старика глаза разгорелись, когда он на него взглянул.

Она посмотрела на него, словно не понимая.

— Ну конечно, придется беречься. Я уже не буду заезжать к вам каждый раз.

Он не докончил, потому что увидел — она плачет.

— Джен, — сказал он обескураженно, — что это с тобой, а?

Она быстро вытерла глаза и приказала:

— Сядь!

И так как он продолжал стоять, вдруг горестно крикнула:

— Ах, да сядь же ты, пожалуйста! Мне надо тебе сказать!

Он посмотрел на нее, отошел и сел.

— Ну вот, — сказала она как-то тупо. — Я хотела сказать тебе, что нам надо перестать встречаться.

И только что она сказала так, как он понял, что именно этого и ждал от нее с самого начала разговора. И все-таки это было так неожиданно, что он вскрикнул. А она продолжала:

— Муж знает все. Уж Бог ведает, кто ему сказал и что именно. Ты же знаешь, что от него не допросишься лишнего слова. Но сегодня, как я только приехала, он сказал: "Милая Джен, я вызвал тебя и сам уезжаю, чтобы ты могла хорошенько наедине поговорить с мистером Виллиамом". Я ему сейчас же ответила, что наедине нам с тобой не о чем говорить, но, наверное, все-таки побледнела, потому что он даже усмехнулся и сказал: "А ты поговоришь вот о чем: скажешь, что мы его по-прежнему очень любим и ценим, но останавливаться в другой раз ему у нас не следует, и вообще, раз он уже ушел из театра, пусть сидит в Стратфорде". Я чувствую, что у меня пересекается голос, и говорю: "Джемс, что ты делаешь? Он же крестный отец нашего Виллиама". А он кротко ответил: "Джен, так будет лучше для всех нас". С этим и уехал.

Она умолкла. Шекспир понимал: это все. Здесь слова на ветер не бросаются. Волк подумал, решил и отрезал. А Джен не такая, чтоб идти на гибель. Она его любит, конечно, но больше всего она держится за свою честь и тишину в доме. Ну, так значит, все. Не переставая улыбаться, он наклонился и галантно поцеловал ей руку.

— Ну что ж, — сказал он любезно, — раз вы уж оба так решили — покоряюсь. Хорошо: буду сидеть дома.

— Да жить-то ты с ними как будешь? — спросила Джен, задумчиво смотря на него. — Как тебя там встретят? Вот о чем я думаю все время.

Он выпрямился. Сейчас он уж полностью владел собой. Так его всегда укрепляла безнадежность.

— Как меня встретит семья? — спросил он, тщательно выделяя интонации (но актеры сразу же заметили бы, что он переигрывает). — Странный вопрос, Джен. В конце концов, это же мои дочери, и моя жена, и мой дом. Я приеду к своей семье и буду разводить розы. Вот и все.

Она подошла и обняла его.

— Ну, я рада, что ты так это принял. Но помни — я тебя люблю и о тебе думаю.

У него сразу же потеплело у глаз (это же беда — до чего он стал плаксив за последнее время!), но он скрыл это, торопливо поцеловав ее в висок.

— И мне жалко, что мы так расстаемся, — сказал он. — Но Волк прав, пора кончать. Случайная женщина и случайная смерть — две родные сестры.

Она возмущенно вскрикнула:

— Это, значит, я — случайная женщина?

Он мирно поцеловал ее опять в щеку, а потом быстро наклонился и стал беспорядочно целовать ее руки — одну и другую. Это на время скрыло его лицо.

— Не сердись! — сказал он кротко и беспощадно. — Но когда человек проживет на свете пятьдесят лет, с ним обязательно случится однажды что-то такое, что он вдруг поймет: все встреченные женщины — случайность, а по-настоящему есть у него только одна старая и некрасивая жена, та самая, которая сидит и, проклиная, терпеливо ждет его всю жизнь. Вот только в ее кровати он и должен умереть, если хочет кончить по-порядочному.

— А я? — спросила Джен обескураженно. — Как же я-то, Виллиам?

Он пожал плечами.

— А ты навеки останешься в моем сердце. Без твоей любви мне было бы очень трудно, я даже не знаю, выдержал ли бы я эти годы. Ты не знаешь, какими они для меня были тяжелыми. Но ты ведь вот меня не ждала, не проклинала, не отрекалась от меня по сто раз в день. Ты меня только любила — и все. А любить в жизни — это все-таки, наверно, не самое главное. Вот и получается, что ты возвращаешься к своему мужу и детям, а я иду к своей старой злой жене и перезрелой девке — своей дочери, потому что они единственно близкие мне люди. И оба мы с тобой с этих пор будем жить честно и лежать только в своих кроватях, ибо, — он криво улыбнулся, — должны же исполниться наконец слова того попа из соседнего прихода, который обручил меня с Анной. — Он улыбнулся. — Этот поп был хоть куда — пьяница, грубиян, но людей видел насквозь. Он сказал тогда: "Парень, ты женишься на богатой девке, которая старше тебя на семь лет. И я вижу уже, куда у тебя глядят глаза, — ты гуляка, парень, и человек легкой жизни, но сейчас ты, кажется, уж налетел порядком, ибо у меня тяжелая рука, и кого я, поп, соединил железными кольцами, того уже не разъединят ни люди, ни Бог, ни судьба". И вот так и получилось.

КОРОЛЕВСКИЙ РЕСКРИПТ

Глава 1

Эсквайру Саймонсу Гроу:

"Дорогой сэр! Обращаюсь к вам с великой и покорнейшей просьбой. Вот уже в течение пятнадцати лет я занимаюсь историей смуты в нашем королевстве и в связи с ней и жизнью короля-мученика. Мой труд начинается с описания детства его величества при дворе венценосного отца его, короля Британии, Шотландии и Ирландии — Иакова I. Правда, я не имел возможности работать в королевских архивах, но зато все труды его величества — теологические, политические, философские, демонологические и эгзегетические – я проштудировал с величайшей основательностью. Это-то и дает мне некоторое – пусть слабое и обманчивое — право надеяться на то, что светлый образ короля-философа в моей книге предстанет перед потомством в подобающем ему свете и величии. Увы, сэр, должен сознаться, что сердце мое сейчас не весьма спокойно. Слишком уж часто на уроках (я преподаватель латинского и греческого) приходится приводить школярам слова великого Флакка, что уж третье поколение рождается и живет в пламени гражданской войны! Да избавит же нас Бог от этого! Именно по этой причине я решил на склоне лет своих откинуть школьную ферулу и взяться за перо. Я хочу, пользуясь словами Спасителя, отвести слепцов, следующих за слепым поводырем, от поджидающей их бездны. Только объяснив все это, я могу наконец изложить свою просьбу.

Мне стало известно, что полвека тому назад вы, сэр, будучи лекарским учеником, стояли у смертного одра некоего актера и сочинителя масок Уилиама

Шекспира. Этот актер за несколько лет до своей кончины был почтен личным письмом его величества, а затем и длительной аудиенцией наедине. Как и следовало ожидать, беседа с монархом оставила неизгладимый след в загрубелом сердце лицедея. Вскоре после этого он покинул подмостки и уехал на родину, чтобы провести последние годы в мирных трудах и размышлениях. Вот это чудесное преображение я и хотел бы с соответствующими комментариями внести в свой труд. Однако никаких подробностей и даже подтверждений этого факта, который к тому же отрицается весьма многими, я не имею.

Ничего существенного не дало мне и знакомство с собранием пьес покойного, выпущенных посмертно его сопайщиками. Это беспорядочное и утомительное нагромождение непристойных, грубых и кровожадных зрелищ, большей частью списанных у древних (со смешной важностью или невежеством издатели именуют их то трагедиями, то комедиями). Но если столь безмолвны сочинения покойного, то не открылись ли его уста в предсмертный час? Не поведал ли он в ту пору кому-нибудь из близких самое дорогое достояние свое — сокровенную сущность беседы с королем-мыслителем? Утверждают также, что мистер Шекспир весь остаток жизни тщательно хранил и даже прятал от своих близких письмо его величества, а после его смерти оно вообще пропало. Но так ли это? Нельзя ли предположить, что драгоценнейший манускрипт сей еще до сих пор хранится у кого-нибудь из наследников и что, чтя память покойного, они согласятся через меня познакомить с ним мир? Однако где эти наследники, кто они и как их искать? Вот с этими вопросами я и обращаюсь к вам, сэр. Сознаюсь, кроме того, что мне очень бы хотелось прибавить ваше почтенное имя, со всеми подобающими ему титулами, к тому списку лордов, философов, графов и пэров, удостоивших мой труд своим вниманием и поддержкой, который будет помещен в предисловии. Равно так же я был бы вам благодарен за

любое сообщение о бумагах и рукописях покойного, которые в какой-то мере могли бы быть использованы в моем труде. В последнее время мистер Шекспир работал в труппе, которой по соизволению монарха было присвоено звание королевской. Именно в этой связи меня заинтересовала его пьеса "Макбет". Самый замысел ее и некоторые подробности текста как будто указывают на то, что сам монарх мог указать лицедею на..."

Последний лист или листы утрачены. Но вместе с этим письмом лежит черновик другого, ответного:

"Уважаемый сэр! Ваше любезное письмо я получил и спешу на него ответить, хотя боюсь, что скорее разочарую вас, чем обрадую. Вы совершенно правы: я в действительности некоторое время пользовал сэра Виллиама Шекспира, в ту пору уже находящегося на смертном одре, но не был с ним ни близко знаком, ни тем более дружен. Не могу также представить себе, кому бы из домашних он мог доверить те сведения, которые вы разыскиваете. Кажется, никому.

Если же вас интересует история моего знакомства с покойным, могу сообщить, что привел меня к нему его зять, а мой дальний родственник доктор Холл, ныне тоже уже давно покойный. Произошло это наперекор воле его домашних, которые вообще не терпели около больного посторонних. Покойный, впрочем, платил и домашним тем же — вот почему я не думаю, чтоб кто-нибудь из его потомков мог бы быть в чем-нибудь вам полезен. Что касается бумаг и рукописей, то о них я ничего достоверного сообщить не могу. Кажется, актеры, друзья покойного, что-то подобное действительно нашли и увезли с собой. Помнится, что какой-то такой разговор при мне был, но ничего более точного я сказать не могу. Что же касается письма его королевского величества, то я сейчас вспоминаю, что действительно слухи о нем по городу ходили, но я так и не знаю, видел ли его кто-нибудь из друзей и родственников покойного. Но ка-

жется, что нет. Очень сожалею, что, кроме этих отрывочных сведений, не могу сообщить вам ничего иного, действительно достойного вашего внимания и труда, вами затеянного".

Отрывок из второго письма тому же адресату. Начало не сохранилось — черновик.

"...от безусловно смертельного удушья, протекающего до того довольно вяло и вдруг приобретшего галопирующее течение. Кроме того, здоровье его, как говорили мне близкие, и без того не весьма крепкое (все мужчины в этой семье умирали рано), было подорвано многолетним служением там, где требовалось чрезвычайное напряжение гортани, а значит, сердца и легких. Я имел горькое счастье присутствовать при последних минутах покойного и могу — увы! — засвидетельствовать, что ни в предсмертном бреду, ни при прощании с близкими мистер Шекспир не произнес ничего такого, что представляло бы философский или государственный интерес. Умер он, однако, как добрый христианин, приняв святые дары, помирившись с домашними и разумно распорядившись своим имуществом. Даже мне, юнцу, человеку совершенно ему постороннему, доктор Холл вручил от его имени 20 шиллингов и два пенса на покупку памятного перстня, который я и до сих пор ношу на пальце. Жене же своей он завещал вторую по качеству кровать, что вызвало тогда же много разговоров.

Погребен сэр Виллиам в той же церкви Святой Троицы, в которой он и воспринял таинство крещения. Как мне передавали, лет двадцать пять тому назад наследники его водрузили над могильной плитой раскрашенный бюст покойного. Мистер Шекспир изображен таким, каким он запомнился близким в последний год жизни. Вот, пожалуй, и все, что могу сообщить дополнительно в ответ на ваше второе письмо. Примите же, сэр..."

Написал, бросил перо и вышел в сад. Была уже ночь, было очень, очень тихо, кузнечики не стрекота-

ли, и он опустился на скамейку, сник и задумался. Вот за эти пятьдесят лет была война, резня, палач поднимал за волосы голову короля и мотал ее перед толпой; кости лорда-протектора, вырытые из могилы, качались на виселице, — а этот чудак все интересуется королевским рескриптом, королевской аудиенцией, еще какой-то такой же ерундой. А что он может ему рассказать? Разве после всех этих событий не испарилось у него из памяти почти начисто, что он пережил полвека тому назад, стоя у изголовья той кровати? Разве помнит он все это? Разве не забыл начисто все?

Нет, не забыл ничего и помнит все. Вот как это было. Свел его с доктором Холлом хозяин трактира "Корона", некий Джеймс Давенант — угрюмый и молчаливый, хотя по-своему добродушный человек с глубокими, волчьими складками на щеках. А сам-то он в ту пору был молодец хоть куда! Его так и звали "неистовый Саймонс" и "Саймонс-молодец", потому что он ничегошеньки не боялся! И, Боже мой, как он нравился тогда женщинам и там, в Кембридже, и здесь, в Оксфорде! И как это злило сводную сестру, у которой он гостил! И в дом Волка он вошел в тот вечер растерянный и расстроенный по этой же причине. Был скандал. Он только что насмерть поругался с сестрой, преподнес что-то хорошее ее мужу — этакому бычине с круглым лбом и маленькими глазками на сизом лице — и скатился к себе упаковывать чемоданы. За этим и застал его посланный за ним поваренок. И сначала он, даже не выслушав ничего, крикнул: "А шли бы они все..." — но сразу же одумался, поднялся и сказал: "Сейчас". И прицепил шпагу. Когда они с хозяином вошли в гостиную, доктор Холл сидел на кресле возле стола и что-то тихо внушал жене Волка. Та стояла рядом. Рука ее лежала на спинке кресла, около затылка Холла. Она слушала, наклонив красивую белокурую голову, и улыбалась. Саймонс знал: она всегда, когда с ней говорят, улы-

7–2280

бается так — неясно и загадочно. И всегда эта улыбка бросала его в пот. А в доме, очевидно, только что отобедали: пахло жареным луком, стояла грязная тарелка с ложкой и обглоданной костью, валялся комок салфетки. Когда они — хозяин и он — вошли в комнату, доктор сразу поднялся с кресла и оказался высоким, худощавым господином солдатской выправки, со светлыми холодными глазами. Он взглянул на них и сказал: "Минуту! Вымою руки!" — и исчез.

Миссис Джен поглядела на мужа, мельком скользнула взглядом по нему, завсегдатаю "Короны", взяла тарелку, салфетку и тихонько вышла. Волк отодвинул от стены кресло и сказал: "Присаживайтесь, пожалуйста". Потом посмотрел на подсвечник и негромко хлопнул в ладоши. Вошел поваренок.

— Замени, — спокойно приказал Волк. — Стой! Принесешь две бутылки из бокового шкафа и три бокала! Но я же не сказал тебе "иди"?! Захватишь еще жбан грушевой воды. Иди!

Доктор вернулся и подошел прямо к нему. Голубые глаза его сияли.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, дорогой, — сказал он, сжимая ладонь Саймонса в своих тонких, сильных и горячих пальцах. — Здорово? — спросил он вдруг удивленно. —Очень здорово! Вот этого красивого молодого джентльмена я в последний раз видел двадцать два года тому назад, когда ему исполнилось три дня от роду. И тогда мы так пили за его здоровье, что моя кузина с кровати сказала: "Ох, чувствую, он тоже пойдет в отца". А ее муж — у него была бондарная мастерская, и сам он был вырублен как из черного мореного дуба — ответил: "И на здоровье! Пусть хлещет, пока из него не попрет. Только бы не стал безбожником". Ну вот, я вижу по нему, хоть первая часть пожелания исполнилась, а? Так, коллега, да? Что ж, стали врачом и не хотите знать своего дядю? Вот это уже нехорошо! — Он повернулся к Волку: — Мистер Джеймс, ведь он и в самом

деле не знает, кто с ним говорит. (Волк чуть улыбнулся и двинул одним плечом.) Да дядя я ваш! Дядя! Доктор Джон Холл из Стратфорда, если разрешите представиться! — закричал он. — Что ж, дорогой племянничек, вот говорят, что вы частенько бываете в наших местах, каждый год гостите у сестры — привет ей, кстати сказать, привет и лучшие пожелания! — и никогда вам не захотелось навестить своего дядю? Пожить у него хоть недельку, а? Может быть, я, конечно, как врач и немного стою перед вашими светилами, но...

Холл как врач стоил очень много и хорошо знал это. Его имя было известно даже в Кембридже и Оксфорде, За это его люто ненавидели здесь все местные лекари и аптекарь, лекарствами которого он не пользовался (кажется, они не сговорились о барышах). Саймонс посмотрел на дядю (хотя какой, по совести, дядя? Троюродный брат его матери!). Лицо у доктора было такое же худощавое, солдатское и сильное, как и он сам, он говорил и улыбался, а светлые глаза не улыбались — они были пристальны и неподвижны. В это время появился поваренок с подносом, и Волк, прерывая излияния, сел за стол и изрек:

— Ну, со свиданьем.

И все тоже сели за стол.

После третьего бокала Волк вдруг негромко заговорил о новых порядках в оксфордских колледжах. Доктор молчал. Волк пожаловался на какой-то скандал у него в "Короне". Участвовали юристы и богословы. Доктор сказал, что студенты всегда буянят. Когда им и не побуянить, если не в молодости. Волк ответил: так-то это так, но вот у него был уже с лордом-канцлером один очень неприятный разговор, и тот повышал голос и под конец повернулся спиной. Доктор ответил, что вот уж точно нехорошо, лорд не тот человек, с которым можно пошутить. Волк кивнул головой и сказал, что вот теперь он и не знает,

чем все это кончится. Доктор сначала только молча и досадливо махнул рукой ("А, сойдет!"), но потом вдруг поставил свой бокал на стол и сказал, что молодежь сейчас совсем не умеет веселиться. Раньше вот и веселья было больше, и учились лучше. Поэтому и врачи старые ценятся выше новых, хотя эти новые и напичканы всякими премудростями века. Тут Волк возгласил: "Я поднимаю бокал за старика Гиппократа". Все чокнулись и выпили. Снова поговорили об университете, и доктор сказал о том, что для новых бакалавров, лиценциатов и магистров медицина сделалась ремеслом и в этом ее гибель. Она не ремесло, а искусство, муза — поэтому овладеть ею может только избранный. Больной должен чувствовать врача и верить ему. И врач тоже должен чувствовать больного — вот так! — и доктор вознес над канделябрами сильную белую руку с тонкими, гибкими пальцами. И еще, сказал доктор Холл, врач должен быть человеком ровным и успокоенным. Никаких девок и никаких привязанностей вне семьи!

— У вас есть невеста? — спросил он вдруг Гроу строго. — Зря! Мы вас обязательно женим. Вот приедете ко мне... Я слышал, что у вас с сестрой тут какие-то нелады? Ладно. Поживите-ка у меня недельку, и все наладится.

Затем, непонятно как, разговор перекинулся на театр, и тут доктор Холл вдруг по-настоящему разволновался и разгорячился. Он повернулся к Волку и сказал:

— А я всегда говорил: театры надо закрыть! Почему, когда в городе чума, то прежде всего разгоняют актеров? Почему тогда окуривают можжевельником и посыпают известью даже то место, где стояли их грязные балаганы? Потому, что нет у черной смерти слуг вернее и проворнее этой сволочи! Ну а старого актера вы когда-нибудь встречали? Никто из них не доживает до шестидесяти! Вот хотя бы взять семью моей жены. У нее и дядя и отец актеры. Так вот, дядя умер, когда ему не было еще

тридцати, а отец... — Он махнул рукой и потянулся через стол.

— Что отец? — спросил Волк.

Холл, не отвечая, хмуро взял бутылку, посмотрел ее на свет, поболтал — она была пуста, — снова поставил и хлопнул в ладоши. Поваренок появился мгновенно. В руках у него был поднос. Он аккуратно поставил его на стол, снял бутылку и, откупорив между коленями, сколупнул с горлышка глину. Доктор Холл, не ожидая других, хмуро протянул руку с бокалом. Насупившись, он смотрел, как стекает в синее узорчатое стекло черная и тягучая, как деготь, густота.

— Хватит! — стукнул он бокалом о стол и снова повернулся к Волку. — Я же говорил, ему надо лежать и ни о чем не думать. А главное — гнать в шею всех этих приятелей. А он пьет с ними. (Волк что-то хмыкнул или возразил.) Да нет, пьет, пьет! А совести у этих людей нет. Когда он уже не может лежать на боку, они ему подкладывают подушки под спину. Ну конечно, они здоровые, как кони, у них и легкие, как мехи, им бы колесо крутить, а не... Ничего, ничего, поорут на сцене лет пять-шесть — тоже станут такими же! А ведь вот, когда я им говорю, что это лежит их собственная смерть и глядит на них чуть не из могилы, — они не верят и смеются! И вот клянусь, — он сжал кулак, — женою и детьми клянусь: буду последним подлецом, если ко мне сунется хоть один из них. Говорят: "Мы его любим, он наша гордость". Любят они его! Как же! Пить они с ним любят — вот это верно. Ну и советы его им, конечно, нужны! А по-моему так: рассчитался человек, ушел к своей семье — так оставь его в покое! Оставь ты его, ради Господа! Дай ему хоть последние дни побывать со своими. Так ведь нет! Без его советов они, видишь, никуда.

— Да, — согласился Волк, — мистер Виллиам знает сцену, это так! И зрителей он тоже чувствует — вот как вы больного, пятью пальцами! Это тоже так.

— Ну и вот, — кивнул головой доктор, — говоришь с ними: "Тише, господа, поаккуратнее, никаких волнующих разговоров и, главное, ненадолго! Вот в столовой накрыт стол, милости просим туда". Ну, входят, действительно, на цыпочках, он увидал их: "А! Друзья!.." — и пошло! Через пять минут весь дом вверх ногами. Гогочут, жрут, ржут, пьют! Одной мало — за другой побежали на конюшню! Фляги у них в сумках. Хором песню затянут. Так до ночи. Утром встанут — то же самое. Потом еще вечером. Еле-еле их выпроводишь. Уедут. Он доволен. Лежит, улыбается. "Нет, мы еще поживем. Это я так, распустился немного". Наденет сорочку с кружевами, побреется, возьмет своего Плутарха — листает, думает, внучку позовет, иногда даже с женой о хозяйстве поговорит. А ночью — припадок! Бегут за священником! Вытаскивают завещание! Где нотариус? Бегите за нотариусом! Ну и конечно...

Доктор с маху выпил и снова налил себе доверху бокал.

— Что конечно? — спросил Волк. Пока доктор говорил, он не спускал с него глаз.

— Конечно, уже не встанет, — сердито отрезал доктор и вдруг ударил себя костяшкой в грудь. — А что я могу с ним сделать? — спросил он с тихой яростью. — Ну что, что, что? У него уже нет ни сердца, ни легких, он тридцать лет рвал их на потеху всякой сволочи. Теперь у него разлилась желтая жгучая желчь, и легкие каждый день теряют влагу. Когда испарятся последние капли, жар поднимется до грудобрюшной перегородки и сварит его целиком. Так учит великий Гиппократ, — так что же я могу против него сделать? Что? Что? Что?

И вдруг по щекам его поползли слезы, настоящие слезы злобного, сухого человека.

Волк осторожно поднялся и вышел. Джен осталась сидеть. Она глядела на доктора широко открытыми глазами, и взгляд ее теперь был очень прост и ясен.

— Ничего, — сказал ей доктор Холл безнадежно, — ровно ничего не могу я сделать. — Кивнул Саймонсу на бутылку: — Пейте, молодой человек!

Глава 2

Когда-то и где-то он написал: "Умеренная скорбь — право умерших, а чрезмерная скорбь — враг живых". Он не скорбел — он просто умирал и знал это. И одно утешение у него все-таки было. Он умирал в хорошем месте — там же, где родился. Как старое дерево, он чувствовал эту землю всей своей кожей. И были дни, в которые смерть от него как будто отходила. В эти дни он просыпался вдруг веселый, бодрый, брился, умывался над тазиком, требовал свежую, хрусткую сорочку с обшлагами, смотрелся в зеркало, сидел поверх одеяла, читал и думал: "А может, и обойдется! Вон сколько раз к отцу вызывали священника..." И был бодр до вечера. А к вечеру в груди его ссыхался какой-то колючий комок, и он не мог уж сидеть и полулежал, но все еще старался обмануть себя, сдержаться и не кашлять. Но кашель все равно уже был в нем, он нарастал, рвал грудь, душил, клокотал, лез вверх по горлу, и через несколько минут уже спешили домашние, несли полотенца и звали доктора.

Все двигалось неясно, как в угаре или в грани большого хрустального кубка (ему такой привезли из Вены). Свечи горели радужными мутными пятнами, люди говорили шепотом, ходили неслышно. Он лежал, вытянувшийся, обессиленный, с начисто опорожненной грудью. Потом он переставал существовать и приходил в себя от противного, приторного запаха болезни — это его обкладывали горячими выжатыми полотенцами. Потом жесткие холодные пальцы доктора уходили ему под ребра, в живот, на сердце снова клали горячую тряпку, а он кричал и хотел ее сбросить. "Потерпите, потерпите, — говорил

доктор властно, — сейчас все пройдет". И верно, через несколько минут он забывался. А утром просыпался умиротворенный, тихий и как будто совсем бестелесный. И опять лежал и думал: нет, все-таки хорошо, что он здесь, хорошо, что у него все в кулаке, — дом, где его родили, церковь, где его крестили, школа, где его учили, дом, из которого он ушел, и дом, из которого его вынесут. Как на круге башенных часов, — все можно обойти за час. А у него на это ушло пятьдесят два года! Боже мой, Боже мой! Боже правый! Боже сильный! Боже крепкий! Зачем же ты все это так устроил? Ведь все и было и как будто не было, все как на яву и все во сне, а вот когда умру — именно это и назовут моей жизнью.

А сад возле дома ему все равно нравился, он любил зиму: ранний пушистый снег, мягкую, нежную порошу, кисти на вязах и белые колокола на елочках. Любил весну, ее грязь и ростепель, бурые ручьи. Стайки белых бабочек обсели лужу, колодец в плюще и около него желтовато-зеленые, хрупкие и липкие стебельки, — он знал: летом здесь сомкнутся ряды лилово-багровых, таинственно сизых и крапчатых, как щука, меченосцев, и они совсем скроют колодец, а когда колодец засквозит вновь, то будет уже осень, и все эти ирисы, лилии, нарциссы согнутся, пожелтеют и повянут; с деревьев посыплется листва, и весь колодец — вся черная вода его — усеется багровыми и красными корабликами. Раньше он любил в такую пору стоять над прудом и смотреть, как их гонит ветер, но сейчас он знал — этого уже не увидать. Осень не для таких, как он. Но вот на эту весну и даже на лето он еще надеялся. И смущало только одно: однажды, осматривая его, зять вдруг сказал деловито: "Нельзя же вас на целый день бросать на детей и женщин: я съезжу в Лондон и захвачу оттуда своего помощника". Он тогда смолчал, а когда доктор собирался уходить, спросил: "А зачем вам помощник? Разве мне стало хуже?" Доктор — он стоял уже около двери и тихонько толковал о чем-то

с женой — ответил: ”Почему хуже? Просто вы больны — и все тут! А болезнь требует ухода! У меня есть на примете один человек, я думаю, он вам придется по вкусу — студент!”

После второй бутылки доктор Холл сказал:

— Ну, так я думаю, что мы уже сговорились, я хочу прибавить вот что. Вы, наверное, из наших разговоров поняли, что больной совсем не из легких?

Гроу кивнул головой. Да, это-то он уже понял.

Холл в раздумье погладил двумя пальцами подбородок.

— Совсем, совсем не из легких, — повторил он, — наоборот, это сложный и трудный больной. Со всякими причудами.

— Да знаю я актеров! — сказал Гроу.

— А! Это все не то, — досадливо поморщился Холл. - Таких вы не знаете. Он пайщик, руководитель королевской труппы, его вызывали во дворец, и он говорил с королем! У него хранится рескрипт.

— Да, это так! — кивнул головой Волк. — И от этого они уже никуда не уйдут.

— Было время, когда некоторые молодые люди из знатнейших фамилий... — продолжал Холл и вдруг остановился.

— Но это было в молодости, — объяснил Волк. — В дни его ранней молодости все это было. Потом этого уже не стало.

Помолчали.

— Ну так вот, трудный больной, — заговорил доктор, — как все актеры, мнителен и вспыльчив. И язык как бритва! К этому нужно быть готовым.

— Но зато и отходчив, — сказал Волк, — не надо только говорить ему под руку. От этого Боже избави, конечно, но после он сам все поймет.

”Так что же это за актер такой? — подумал Гроу. — Во дворец его вызывают, с королем он беседовал! Пайщик! Рескрипт! Дом двухэтажный. Дочка у него замужем за доктором! Вспыльчив, с причуда-

ми! Не больно много среди актеров таких! Бербедж разве?" Он было приоткрыл рот, чтобы спросить, но вдруг остро и болезненно подумал: ну что толку спрашивать? Ведь от сестры все равно уходить надо! Это еще хорошо, что случай такой подвернулся — завтра она проснется, а его уж нет.

— Я не буду говорить ему под руку, — мирно согласился он, — я вообще не буду ему перечить. Профессор Фенелл на лекциях фармакопеи нас учил: "Соглашайся со всеми жалобами больного — и он согласится со всеми твоими прописями".

— Ну, ваш Фенелл, мягко сказать... — недовольно поморщился Холл. — Только избави вас Боже вот от этого. Если он заметит, что вы ему подыгрываете, он вас перестанет замечать.

— А он это умеет, — усмехнулся Волк и взглянул на доктора.

Опять замолчали все. Холл сидел и думал, Гроу смотрел на него и тоже соображал: это неспроста, что доктор решил позвать к больному его, совершенно неизвестного там человека. Значит, он точно нужен доктору. Это хорошо!

— А самое главное — имейте в виду вот что, — сказал доктор, — не верьте его простоте. Ни один судья не прощупает вас так, как он. Вы и не заметите, как сами выложите все. Самое трудное будет скрыть, насколько он болен.

— Скажите о семье, — тихонько напомнил Волк.

— Ну что говорить о семье? — нахмурился доктор. — Семья как семья! Достойная и дружная семья! Все хорошо устроены. Болезнь главы — это большая скорбь для всех его родных. А в городе сэра Виллиама любят и уважают. Не у каждого же хранятся письма короля! — Он проговорил это все спокойно и скучно и с минуту просидел неподвижно, потом поднял голову и, смотря Гроу прямо в глаза, окончил: — Но в то же время надо помнить: это же Стратфорд. Актеров в город вообще не пускают. В городе только одна церковь, но каждый день она полна. А

сэр Виллиам свой недуг нажил на сцене, дома не бывал годами. В церковь заглядывал только мимоходом. Это не всем по вкусу. Особенно женщинам!

— Понятно, — кивнул головой Гроу. После нескольких стычек с сестрой он на этот счет вообще стал понимать очень многое.

— Ну вот, — кивнул головой доктор, — все такие разговоры доходят и до семьи, так что предупреждаю: если дочери и жена вам сгоряча скажут не то, что нужно, не придавайте этому чрезмерного значения.

— В общем, — вдруг вмешалась Джен, и он не узнал ее голоса, всегда ласкового, мягкого и певучего, — хозяина в его доме не любят, и добром вас никто там не встретит.

— Н-да, — хмыкнул доктор, — н-да!

Наступила неудобная пауза. Все смотрели на Гроу и ждали, что он ответит, а он молчал, и тут доктор поднялся.

— Ну что ж, — сказал он. — Вино выпито, час поздний, пора в постель. Ничего, все будет в порядке, — повернулся он к Гроу, — я всех предупредил, что привезу своего ученика. За больным нужен уход. Примут вас как родного, ручаюсь.

— Ну, ухода-то там хоть отбавляй, — грустно усмехнулась Джен. — Дочка, внучка, жена, сестра, племянничек. И все ждут, ждут! Только не вас, конечно, — обратилась она к Гроу...

Доктор вдруг бесшумно поставил на стол кулаки — не положил, а прямо-таки поставил на стол два сильных, крепких докторских кулака.

— Гиппократ учит, — сказал он: — "...пусть около твоего больного постоянно дежурит кто-нибудь из твоих учеников, ибо ты ничего не вправе поручить посторонним". По-сто-ронним! А для меня все профаны около ложа больного — это посторонние, кем бы они ни приходились. — Он положил руку на плечо Гроу: — Ну, молодой человек, если ехать, то идемте спать. Завтра я вас подниму с петухами.

"Если бы не сестра, — подумал Гроу, — не ее проклятый бычина, послал бы я вас... А что, если их и вправду послать, а?" И сказал обидчиво:

— А где же я лошадь возьму? Нет у меня лошади!

Он до сих пор помнит это утро. Когда он вышел из дому с сумкой, воздух был тонкий, острый. Высоко над головой стояла полная луна — желтая и светлая, как ночью. Придорожные кусты только что пробуждались и сонно перещелкивались, зато грачи с платанов и тополей около гостиницы орали вовсю. Волк запретил разорять гнезда.

Гроу постоял, подумал, потом пристроил сумку под лавкой у "Короны" и пошел к колодцу. На свежем срубе стояло деревянное ведро. Вода в нем была со льдинками и такая холодная, что, когда он сделал глоток, заломило у глаз. Ровно в семь, как было договорено, он постучал молоточком — он висел на цепи — в дверь "Короны". Не ответили. Он постучал еще. Снова не ответили. Только лениво гавкнула и сейчас же со звоном и визгом зевнула за дверью собака. Но тут появился поваренок и сказал, что его ждут, а заходить нужно с другой стороны. Когда они вошли, доктор, уже свежевыбритый, в дорожном платье, розовый и душистый, что-то быстро писал на полоске бумаги. Волк сидел напротив. Перед ним была раскрыта Библия, он держал палец на какой-то строке.

— Да, было, было такое, — спокойно говорил доктор, — я-то, конечно, не помню, но отец рассказывал. Однажды, говорит, во время такого зрелища Иуду чуть не убили. Вскочили на сцену — и ну его таскать и топтать. Даже все скамейки поломали.

— Ну вот видите! — сказал Волк.

— Ну так что ж хорошего-то! — поднял глаза доктор. — Зверство! А апостола Петра, говорят, такой пьяница играл! Его каждый день из кабака за ноги выволакивали и бросали около забора, а тут, — пожалуйста. Он — святой! Вокруг головы веночек золо-

той! Нет, мистер Джемс, язычество оно и есть язычество. Что там, у папистов, что здесь у моего тестя! Женщины-то правы!

— И петух тогда кричал? – спросил Волк с любопытством. — На сцене?

– Наверное, — пожал плечами доктор. — А что тут хитрого? Мало ли у нас шутов! И залают вам, и закукарекают — поднеси только! И Петр был пьяный, и Пилат, и Иуда! И все, вы говорите, укрепляет веру? А вы знаете, что они сейчас на сцене плетут? Вот только времени нет, а то бы я вам рассказал что племянничек мистера Виллиама на его рождении ляпнул. А мальчишке шестнадцати нет! И подучил его кто? Бербедж. Ведь вот, кажется, самый порядочный из них, а... Достопочтенный Кросс на что человек добрый, тихий, а и тот тогда не выдержал!

— Что же он ляпнул? – спросил Волк.

— А! Говорить даже не хочется, — ответил Холл. Он положил рецепт на стол. — Тут все, что нужно, моя дорогая леди, — сказал он ласково. — Когда кто-нибудь поедет в Лондон, дадите ему это. Пусть заедет в аптеку возле моста. Я позавчера заходил, проверил, там все это есть. Так! — он взглянул на Гроу и улыбнулся, как будто только что его увидел. — Ну, молодец, коллега, не запаздываете, сейчас поедем! Завтракали?

– Ну когда же?! — ответила за него Джен и вышла из комнаты. У нее была легкая девичья походка.

Волк захлопнул Библию и бережно отнес ее в шкаф.

– Пошли, — сказал он. — Я вам, мистер Гроу, самую смирную дам, только не надо ее понукать.

Втроем они подошли к конюшне. Рядом был большой курятник, и в нем бойко переговаривались куры. Когда Волк взял в руки тяжелый замок и стал вставлять в него ключ, заорал петух. Доктор поморщился.

Волк взглянул на него и улыбнулся.

— "И пропел петел третий раз", — сказал он. — И тогда Петр, — продолжал он с внезапным вдохновением,— вспомнил слова Спасителя: "Прежде чем петух пропоет третий раз, ты трижды отречешься от меня". И заплакал. Вот!

— Да, Христос понимал толк в таких вещах, — холодно и буднично ответил доктор, — ведь среди двенадцати учеников был Иуда, Фома неверный и этот Петр. Но только не всякий возглашающий: "Господи, Господи, я люблю тебя", спасется. Вот что я хотел сказать вам. Мистера Виллиама всю жизнь любили через край, а что толку?

Волк распахнул конюшню и вошел. Пахнуло, как из медвежьего садка, соломой и животным теплом. Он вышел, ведя под уздцы молодую лошадь. Она горячилась, косила большим карим глазом, взметывала голову и переступала с ноги на ногу.

— Это вам, мистер Гроу, — сказал Волк. — Ну-ну, моя красавица! — он похлопал ее по спине. — Чувствует чужих, не любит уезжать от хозяина... Ничего, ничего! Не бойся, не бойся, через три дня тут будешь.

— Зачем через три? — возразил доктор. — Как доедем, я сразу ее отошлю со своим конюхом. Так! — Он вынул кошелек. — Ну, дорогой, благодарю вас за все, и вот...

— И не вздумайте! — резко отвел его руку и сам отстранился Волк. — Мистер Виллиам — крестный нашего сына. Нет, нет, сейчас же уберите, а то обидите насмерть!

Доктор спрятал кошелек.

— Ну что ж, давайте я тогда обниму вас, мистер Джемс, — сказал он спокойно. — Дай Бог вам и вашей очаровательной жене всего, всего. Я думаю, то лекарство, что я выписал, поможет.

Вошла Джен с сумкой.

— Вот, мистер Саймонс, — сказала она, обращаясь к нему по имени. — Здесь жареная курица, и кроме того, я положила кувшин с медом.

Волк выпустил из объятий Холла и вошел в конюшню. Джен метнула ему в спину быстрый взгляд и продолжала:

— Я очень прошу вас. — И, пока Гроу принимал у нее сумку, она украдкой крепко пожала ему руку. — Очень! Доктору будет некогда, а вы уж не поленитесь, с каждой оказией давайте нам весточку о мистере Виллиаме. Вся наша семья обеспокоена. Это наш друг, у нас его так любят.

Доктор с улыбкой посмотрел на открытую дверь конюшни.

— Стой! Да стой ты! — говорил там Волк лошади неторопливым, хозяйским голосом.

— И тогда пропел петел третий раз, — сказал весело доктор, — петел пропел, а Петр заплакал, ибо понял — как ни люби, а отрекаться ему все-таки придется! Так-то вот, миссис Джен...

К вечеру третьего дня они уже въезжали в Стратфорд. Пройдет лет полтораста — и Гаррик назовет его "самым грязным, невзрачным и неприглядным заштатным городом во всей Великобритании". Да, но то великий актер Гаррик — кумир театральных капищ, первый актер века, привыкший к морям света, копоти факелов, блеску стеклярусов, радуге вееров, поклонениям и истерикам, — то Гаррик! Гроу же, наоборот, городок понравился — тихо, мирно, непритязательно, робкая весенняя зелень пробивается через землю. Деревья стоят тихие, задумчивые, в нежной, тонкой листве. Пахнет свежей землей. Зато в большой красной харчевне, мимо которой они проехали, горели все окна (одно даже на чердаке), и кто-то бестолково ударял в бубен, а кто-то притопывал ему, и все смеялись. Потом запели.

Холл посмотрел на Гроу и улыбнулся.

— Будет где, будет где, — сказал он. — А мед здесь тоже знаменитый. Ну вот, сейчас через мост — и дома!

Два человека, мирно разговаривая, прошли мимо них, и каждый притронулся к шляпе. Доктор придержал лошадь и остановился.

— Вы что, прямо из Лондона? — спросил один. — Ну что там?

— Да все так же, мистер Шоу, все стоит на том же самом месте, — отвечал Холл. — А что у Шекспиров?..

Шоу посмотрел на Гроу.

— А это тот самый молодой человек, которого...— начал Холл.

— Ага! Знаю! — Шоу слегка кивнул Гроу. — Поезжайте же скорее! Вас там заждались.

Он тронул шляпу и быстро отошел. Холл вопросительно посмотрел на второго джентльмена.

— Плохо, мистер Холл, — сказал второй. — Мистера Грина два раза с бумагами вызывали, если не полегчает — пойдут за преподобным Кроссом. Кашляет, рвет его! Кровью!

— Едем! — приказал Холл и дал коню шпоры.

Они проскакали несколько улиц прямо, потом резко свернули и поехали по топкой, пахнущей тиной земле. Холл молчал и только раз предупредил:

— Осторожно! Здесь канавы и доски, — придержал лошадь.

— А что там? — спросил Гроу.

Доктор поморщился.

— Да я уверен, что ничего, — ответил он. — Обычный припадок — и все. Опять, наверное, те молодцы приезжали! И как они так подгадывают, когда меня нет? Ну, сейчас увидим! Но вот что, — он снова придержал лошадь, — когда войдем в дом — полное спокойствие! Никаких там испуганных взглядов, вопросов или предложений. Поняли? Я все вам сам скажу, что надо. Поняли? Сговорились?

— Сговорились, — ответил Гроу, — никаких вопросов.

Им отворила старуха. Увидев доктора, она всплеснула руками и забормотала: "Ну, слава Богу, ну, слава Богу!" — и заплакала.

— Что, плохо? — спокойно спросил доктор, раздеваясь.

— Два раза за вами посылали, — сказала старуха.

— Да и сейчас бы меня не застали, — объяснил доктор, приглаживая волосы и отстегивая шпагу. — Я прямо сюда! Там наших лошадей нужно будет забрать, а то что-то нас никто и не встретил! Сразу видно — нет хозяина. Ну хорошо, проводите молодого человека в гостиную, а я сейчас приду. Сюзанна здесь?

— Здесь, — ответила старуха, — наверху. Ее отец не принял.

— Отлично, — кивнул головой доктор так, как будто это и впрямь было отлично. — Так я сейчас! — и он быстро вышел.

— Вот, — сказала старуха, когда они остались вдвоем, — вот, молодой человек, наша жизнь. Правильно поется: вчера я сидел с вами, друзья, свежий и румяный, вчера я пил и веселился, а сегодня пришла ко мне смерть и... Проснулся веселый, со мной шутил, внучке что-то такое рассказывал, после обеда попросил своего любимого квасу, выпил один глоток — да вдруг как закашляется. Упал лицом в подушку, зашелся в кровь. Кровь печенками! Вот наша жизнь!

— Да, — сказал Гроу неловко, — да, это уж...

— Преподобный Кросс два раза приходил, — понизила голос старуха. — Только к нему что-то не зашел. А он меня и спрашивает: "Мария, а кто это там у дочек?" Стала я ему что-то плести, — она опять хмыкнула, — а он мне вдруг: "Ладно! Знаю!" — лег, вытянулся и глаза закрыл. Разве с ним слукавишь? Он тебя насквозь видит. — Она открыла дверь в комнаты. — Зайдите, сударь, посидите, обогрейтесь, доктор сейчас придет.

Гостиная была обширная, с темными стенами, камином, большим окном и двумя дверями. Плечис-

тый, бородатый мужчина, одетый по-дорожному, стоял возле окна и скучно барабанил пальцами по стеклу. На вошедших он не обратил никакого внимания. Старуха сердито взглянула на него, громко высморкалась, бормотнула что-то свое неодобрительное и ушла. В комнате было темновато. В большом канделябре горела только одна пара свеч (в доме, видно, знали цену деньгам), но стол, на котором стояли эти канделябры, был покрыт богатой, тяжелой скатертью с бахромой и кистями. У стен стояло несколько стульев, крытых тисненой кожей с золотыми лилиями, и несокрушимый шкаф с врезанными костяными медальонами.

Плечистый постоял у окна, еще немного побарабанил, вздохнул, сказал печально и иронически: "Да! Д-а-а! Да-да!" — и пошел по гостиной. Дошел до Гроу, остановился и спросил:

— Вы здешний?

— Нет, — ответил он.

— А откуда?

— Из Кембриджа!

— Медик?

— Да!

Лицо плечистого сразу оживилось.

— Ах, вы, верно, тот самый студент, что... Вы к больному?

Гроу кивнул головой. Плечистый протянул ему руку.

— Познакомися. Ричард Бербедж. Актер!.. Слышали? Ну, очень приятно, значит, конечно, слышали! Половину сбора нам делают студенты. Вас как зовут-то?.. Гроу? Саймонс Гроу? Отлично, Гроу. Меня можете просто называть Ричардом! Так вот, Гроу, обязанности у вас будут чертовски сложные. Вы кем приходитесь доктору?.. А жене его?.. Так-таки никем?.. Странно! Очень, очень странно, — он даже покачал головой.

— Почему? — спросил Гроу. — Почему странно?

— Да не больно в этот дом пускают чужих! Ну да сами скоро все поймете. Тут главная сила, конечно, дочки. И та и другая. Только жалят они по-разному. Старшая как топором рубанет. Кого ей тут бояться? Младшая действует словно невзначай. Простушка — и все, просто обмолвилась или не поняла да и ляпнула лишнее. Старуха перед ними — ангел. А говорят, тоже была... Вы из Кембриджа?

— Нет, я из Оксфорда.

— Да?! А в "Короне" были? Хозяина ее случайно не знаете?.. Как, знаете? — Бербедж даже схватил Гроу за ладонь. — Ну как же! Как же! Друзья мы с ним, друзья. Я всегда у него на ночь останавливаюсь. Я и Билл! Гуляли не раз! Но все было, конечно, в порядке. Большого расчета в маленькой комнатке у нас никогда не случалось. Вы знаете, что это такое?

Гроу улыбнулся.

Актеры всегда хотят во всем быть первыми и все знать больше всех. Среди теологов и юристов Оксфорда, верно, ходила такая пословица. Про неудачливого игрока говорили: "Ну, кажется, он меня доведет! Я ему устрою большой расчет в маленькой комнате: не умеешь играть — не садись, а проиграл — плати!"

— В маленькой комнате убили Марло, — сказал Гроу. — Но, мистер Ричард, может быть, вы мне расскажете хотя бы в двух словах об этом доме и больном?

Бербедж задумался.

— Рассказать-то, конечно, надо бы, только вот что? — развел он руками. — Ну, с больным легче всего — он тихий и нетребовательный. Он догадывается, что умирает, и ни от кого ничего не требует. У него на это свой принцип: "Если ограбленный смеется, то грабит вора, а если плачет, то грабит самого себя", — так что с ним никаких забот у вас не будет, зато вот семья... — Он нахмурился, подбирая слова. — В общем, в этом доме все перемешалось, и не поймешь, кто на кого и кто за кого. Дочка — на дочку, обе

дочки — на мать, обе дочки и мать — на отца, а отец — разом на них всех. Однажды даже тарелкой запустил. А с ним тоже положение сложное: с одной стороны, он и для них сэр Виллиам и пайщик королевской труппы, джентльмен и домовладелец; с другой стороны, на все это им наплевать. Он просто-напросто актер, который нагулялся, наблудился, а помирать приехал домой. В общем, как смерть подошла, и родной дом стал хорош. Дальше: он дворянин, и король удостоил его личным письмом, а с другой стороны, и на это им наплевать. Преподобный Кросс им объяснил: короли не только на актеров, а и на медведей ходят смотреть. Какой-то языческий тиран даже коня произвел в лорды — так почему актеру смеха ради не нацепить шпагу на бок? Его величество все может!

— А письмо? — спросил Гроу.

— Письмо? Ну, письмо, конечно, кое-что значит. Против него не возразишь, в особенности если содержание его неизвестно, а болтают всякое, — но все это больше для соседей, чем для своих.

— Правильно, Волк тоже так говорил, — подтвердил Гроу.

— Волк? — удивился Бербедж. — Какой Волк?.. Ах, Волк! Ну, правильно, очень похож! Вы обратили внимание на складки у рта? Но дальше, у этого шута, Виллиама Шекспира, имеются, однако, денежки, и он может поступить с ними, как ему заблагорассудится. Вот тут-то и начинается опять гадание и смятение. Тут на него все бабы прут животами: "Деньги — наши! Твое грешные руки их наживали, наши праведные их пристроят". Но ведь их четверо — жена, сестра, дочери, — и все они тянут в разные стороны. Осаждают нотариуса, подарки ему носят — кто медку, кто бутылку португальского, кто сорочку с кружевами, — чуть не к плечику прикладываются. Но мистера Грина этим не проймешь, у него не сердце, а хартия. Он и подарки берет и обещания дает, а свое знает. Особенно им хочется выведать про завещание, но здесь рот у него на замке. "Это исповедальная

тайна умирающего, мои дражайшие. Бог и король с мечами стоят на ее страже, а я всего-навсего простой секретаришко". Вот и все. Но, кроме Бога и короля, эту тайну могут знать еще друзья больного, и, значит, вопрос о друзьях тоже имеет две стороны — праведную и неправедную. По праведной надо бы гнать всю эту сволочь в шею, а с неправедной — надо, да боязно. Ведь пусть они будут для всех сто раз шуты, но с ними он провел всю жизнь. Они у него днюют и ночуют, а вот праведные родственнички приходят, только когда их позовут, а то все стоят у дверей и подслушивают. Значит понимают они — и с шутами надо быть поласковее. Ведь тут золото, золото! А с золотом, молодой человек, шутки плохи. Одна капля его может все черное сделать белым, а черта превратить в ангела. У него, — Бербедж кивнул на потолок, — есть об этом еще один монолог, очень выигрышный, — зал всегда аплодирует. Вот я и прочел ему однажды эти стихи. Были еще Грин-нотариус, племянник, два товарища. Все смеялись. А Грин сказал: "Раз золото от дьявола, то пойду повешусь над своими закладными".

— А доктор? — спросил Гроу.

— Доктора не было. При нем бы я не стал. Он бы понял и обиделся... Ах, вы вообще о нем? Что он за человек то есть? Ну, на это одним словом не ответишь. — И Ричард на минутку как бы вправду задумался. — Странный во всяком случае человек. То он такой, то совсем другой. Только одно можно сказать: к мистеру Виллиаму он относится хорошо. Во-первых, он тоже что-то пишет, ну, всякие там свои медицинские трактаты и схолии, поэтому знает, что такое труд сочинителя. Во-вторых, он человек безусловно честный и ни на какую явную подлость не пойдет. Но на явную! Подчеркиваю! И потом опять-таки... Деньги же! Дома же! Земли! Имущество! А жена его, наверное, день и ночь гудит: "Узнай! Повлияй! Объясни! Отговори!" Свою сестру она терпеть не может! Недавно все-таки выдворила ее из

дома. Окрутила, — старуха уж молчит, только ходит и слезы утирает! И то тихонько-тихонько. Тут громко не поплачешь — такая тут любовь к родителям! Она давно поняла, что ее кровного здесь уж ровно ничего не осталось. А чуть что заикнется, так старшая дочь ей ласково: "Мамочка, ну зачем вы себя утруждаете всякими мыслями? Вам же это вредно. Вы на семь лет старше отца! Вы нас выкормили, поставили на ноги, ну и отдыхайте". Вот и все! Мать и замолчит! У-у, змея! Ее и муж боится. Он у нее под каблуком. Как она скажет, так и будет. А что вы так на меня посмотрели? Не верите? Ну, поживете — увидите. Я вам потом объясню, чтоб вы были готовы. А то еще увидите и убежите.

— Да нет, мне и миссис Джен говорила то же, — сказал Гроу.

— Джен? Неужели Джен Давенант? — И лицо у Бербеджа вдруг сразу и почти чудесно изменилось — сделалось каким-то очень мягким и простым. — Да, миссис Джен Давенант — чудесная женщина, чувствует, что здесь происходит. И Волк тоже чувствует, — они верные друзья Виллиама, только помочь ничем не могут. Да, впрочем, кто тут может помочь? Так что же доктор вам рассказал, когда вез сюда? Неужели о штучке племянника смолчал?

— Начал, да ему помешали, — ответил Гроу. Ему очень нравился этот актер: он был весь доброжелательный, положительный, собранный в кулак. На все смотрел трезво и прямо. — Если, конечно, что-нибудь важное, — прибавил он, — то простите.

Бербедж нахмурился.

— Ну, важности, положим, никакой нет... — ответил он небрежно. — Впрочем, это для меня нет, а они, конечно, раздуют костер как хотят. Так вот что вышло... — Он выглянул за дверь. — Приехал я к нему в день его рождения по делу, привез с собой бумаги...

Дело, по которому приехал Бербедж, было очень деликатное. Помимо кучи лондонских новостей и

сплетен, Бербедж привез комедию "Буря". Шекспир написал ее лет пять тому назад для придворного театра, и с тех пор она прошла только однажды и тоже при дворе. Теперь решили поставить ее для публики, но прошла репетиция, и часть пайщиков заколебалась. Уж слишком странной им показалась эта пьеса. С одной стороны, в ней, конечно, все, что надо: океан, необитаемый остров, буря, дикарь, а сейчас, когда наши корабли бороздят все моря и океаны, такие вещи в моде; с другой стороны, ни убийств нет настоящих, ни приключений — так, черт знает что! Сделает ли сборы? И пантомима, кажется, не у места — лишняя и дорогая! Спорили, спорили и наконец решили обратиться к самому автору, — что он скажет, то и будет, у него на эти вещи нюх правильный. С этим Бербедж и приехал в Стратфорд.

— Хорошо, — сказал Шекспир, выслушав его. — Оставь, я посмотрю.

Когда Ричард утром пришел к нему, Шекспир протянул рукопись с вложенным в нее листком.

— Ну вот и все, что я мог сделать, — сказал он. — Если ты будешь играть Просперо, то, я думаю, пройдет.

Часа через два Ричард с пьесой в руках снова спустился к Шекспиру.

— Ну? — спросил Шекспир.

— Ты знаешь, — ответил Ричард, присаживаясь, — я прочел. Хорошо! Теперь, по-моему, все в порядке. Я бы даже и пантомиму оставил. Без нее непонятен монолог Просперо, а его жалко выбрасывать — отличное место! Громкое, звучное! На аплодисменты!

Шекспир повернулся к окну в сад и крикнул:

— Виллиам! — И объяснил Ричарду: — Мой племянник. Учится неважно, а почерк как у секретаря королевского суда. Всегда все мои бумаги пишет.

Мальчишка вбежал с луком, увидел Бербеджа и остолбенел.

— Твой почитатель, — объяснил Шекспир с хмурой и гордой отцовской улыбкой. — С утра здесь

крутится. Видел тебя в "Гамлете" и "Саяне"[1]. Тебе сколько тогда было?

— Одиннадцать, — ответил мальчишка.

— Боже мой, пять лет прошло, а все как будто вчера, — вздохнул Шекспир. — И стихи пишет.

— Хорошие? О чем?

— На темы древних. Ничего. Достопочтенному Кроссу нравится. Он ведь здесь у нас самый ученый человек. И читает хорошо, с чувством.

— Преемника себе готовишь? — улыбнулся Бербедж. — Что ж, давай его к нам на треть пая?

— Что ты! Что ты! — по-настоящему испугался Шекспир. — Вот тогда уж меня точно сживут со света. Три актера в одном семействе! Это даже для Шекспиров много.

— Ладно! Пусть тогда будет секретарем королевского суда, — улыбнулся Бербедж. Он взял мальчика за плечо: — Поднимемся, малый, ко мне, я тебе дам бумагу и покажу, что мне нужно.

А на другой день вот это и случилось.

...После ужина гости вышли в сад. Их было много. Был содержатель соседнего трактира, высокий, длинный мужчина с висячими усами, хитрый, плутоватый и добродушный; был достопочтенный Кросс; был клерк муниципалитета и местный нотариус Грин; был старый друг, сосед и торговец шерстью Юлиус Лоу; был Джон Комб — человек странный, замкнутый, иронический, вечно подтянутый, о котором ходила нехорошая слава, что он дерет безбожные проценты; был сын его Томас; был близкий друг дома Сандлер и многие другие. Все были веселы, беспечны, все сильно выпили, и никто не думал о смерти.

И вот когда гости расселись за столом под большой тутовицей, а слуги принесли и поставили фонари и свечи, Ричард Бербедж вдруг встал и сказал:

---

[1] Трагедия Бен Джонса.

— Леди и джентльмены, минуту внимания! Самый молодой из нас прочтет стихи, посвященные нашему дорогому новорожденному. Мистер Харт-младший, прошу!

Мальчик встал из-за стола, высокий, спокойный, независимый маленький джентльмен, и вышел на середину. Под мышкой у него была папка. Он распахнул ее и вынул лист бумаги, украшенный рамкой со шнурами и розами.

— Нет, сюда, — позвал его Бербедж и показал на место около хозяина. — И громко, здесь ведь театр, а это, — он показал на дочерей хозяина, — ложа для дам и лордов. Читай, обращаясь к ним.

Мальчик выкинул вперед руку и начал читать. Конечно, не ахти какое было это стихотворение, каждый начинающий мог скропать такое, но гости, слушая мальчишку, одобрительно порыкивали и кивали. Молодец парень, правильно догадался! Прямо как в муниципалитете во время праздника.

Даже достопочтенный Кросс и тот легонько хлопнул два раза в ладоши, хотя если хорошенько подумать, то было отчего ему, человеку ученому, насторожиться. ''Жизнь не только коротка, но и бессмысленна, — читал мальчишка, — вечно только искусство. Только поэтам принадлежит бессмертие''. (''Как это так — поэтам? — спрашивали потом друг друга почтенные горожане. — А людям с праведной жизнью? Зачем же тогда и в церковь ходить?'')

— Все на свете — сон. И дом — это сон (великолепный, двухэтажный каменный дом на площади, может быть, лучший в городе, окруженный прекрасным садом и цветником), и стол, за которым мы все веселимся, и вечер, сошедший на нас, и горящие свечи, и наши разговоры, наши радости и горе — все это сон.

— Да! Точно! — благочестиво кивнул головой Кросс. — А мы это забываем и продаем жизнь вечную за чечевичную похлебку. И детей учим тому же.

Истинно сказал Спаситель: "Они слепые — поводыри слепых". Спасибо, милый!

— Горы, замки, храмы — весь земной шар когда-нибудь заколеблется, поплывет и превратится в клочья тумана, — продолжал мальчик, — и останется одно пустое, холодное небо. Мы состоим из того же вещества, что сны. И снами окружена маленькая жизнь — непонятная и бессмысленная. Так сказал великий Просперо! Поэтому восславим же сегодня великое искусство и тех творцов, которые служат ему, непреходящему, вечному, бессмертному, и сами становятся причастными вечной жизни.

Мальчик кончил, опустил руку, и все захлопали.

— Иди, иди сюда, мой милый, — сказал Бербедж растроганно, — иди, очень хорошо сочинил и прочел. Молодец! Лист клади сюда, и вот тебе бокал, как взрослому, — пей!

Задвигались стулья, зазвенела посуда, и все потянулись к маленькому Харту с бокалами, только мать откуда-то из-за угла закричала:

— Нет, нет, ему нельзя! Я вас прошу! И вообще сейчас уже поздно.

Достопочтенный Кросс — он все время сидел неподвижно, переждал, когда шум стихнет, а потом спросил:

— Виллиам, милый, а кто такой Просперо? Я что-то не слыхал такого. Это из древних или он итальянец?

— Это добрый волшебник из последней комедии дяди, — ответил мальчик.

— Ну, не очень-то он добрый, если говорит такие вещи, — усмехнулся Кросс. — Жизнь для христианина — это не сон, а подвиг, мой любимый. И пресвятая апостольская церковь тоже не сон, а твердыня, коя сотрет врата ада.

— Так это же стихи! Достопочтенный Кросс, стихи это! — крикнул Грин с другого конца стола.

— Что ж, и царь-псалмопевец писал стихи, — скромно и неумолимо вздохнул Кросс, — и Библия

разделена на стихи. И Нагорная проповедь тоже состоит из стихов. И все-таки все они не сон. А земной шар не разлетится в туман, а по воле сотворившего его в один день станет местом Страшного суда, где все получат по заслугам — и грешники, и праведники, и словоблуды, и мытари. Пусть никто не забывает этого. Каким судом мерите, таким и вам отмерится, учит Святое Писание. — И он слегка покосился на спокойного и равнодушного ко всему Комба, который сейчас даже не слушал его. — Не повторяй больше этих негодных стихов, мой ненаглядный.

Когда гости расходились, Шекспир шепнул Бербеджу: "Зайди ко мне". Он пришел и застал Шекспира за столом. Увидев Ричарда, Шекспир отложил перо и встал.

— Это ты научил мальчика?

Бербедж засмеялся:

— Да нет, он сам.

Шекспир покачал головой:

— Скверно.

— Почему?

Шекспир положил перо, встал, пошел, сел на край постели и закрыл глаза. Лицо его было очень утомленным.

— Тебе что, нездоровится? — спросил Ричард.

Шекспир ногой об ногу сбросил туфли и лег.

— Нет, ничего, — сказал он.

— Так почему же скверно? — спросил Бербедж.

— А потому, — ответил Шекспир, — что пастор прав. Не мальчишке в шестнадцать лет повторять такие стихи. Это приходит в голову только перед самым концом. Когда человек начинает, как сказал один умный француз, учиться умирать. Тогда он смотрит на свою жизнь с другого конца, переоценивает ее заново, и оказывается, что и деньги, и земля, и семья, и все житейские треволнения были только дурным сном. Он рассеивается, и вот ты умираешь.

— Все? — спросил Бербедж. — Когда-то ты не так говорил об искусстве.

Шекспир открыл глаза и улыбнулся.

— О каком? О нашем с тобой? Ну что ж, мы не зря сунули в руки нашему Геркулесу земной шар и написали: "Весь мир актерствует". Так оно, кажется, и есть, если поглядеть на жизнь поосновательней.

...Уж с неделю ему было трудно дышать. Но доктор догадался: по его указанию жена и Мария устроили что-то похожее на большое кресло из подушек, и с тех пор он не лежал, а сидел. Думал, вспоминал, читал Сенеку (раньше он как-то прошел мимо него). Он думал, что, может быть, было бы хорошо написать трагедию "Актею". Но сейчас на это у него просто не хватит пороху. Ему была очень понятна эта древняя Актея, героиня трагедии Сенеки, двоюродная сестра и жена Нерона. Тиран и ее, конечно, убил, как и всех остальных своих жен, и она безропотно приняла эту участь — кроткая, белокурая, печальная женщина. Одна из тех, которые в жизни любят только однажды и гибнут как-то сами, когда любовь их обманет. Он сам искал таких женщин, любил их, восхищался ими, а через месяц сбегал от них, потому что ему становилось нестерпимо скучно. Сейчас он вспоминал о них то с нежностью, то с грустью, то с хорошим чувством сожаления и не замечал, как в комнате становилось все темней, приходила Мария и зажигала две свечи — три было плохой приметой. Утром он брился, переодевался — сорочка на нем всегда была свежая — и разговаривал с внучкой, вежливой розовой девочкой, очень похожей лицом и ухваткой на мать, и они вместе рассматривали картинки (книга была огромная, в скользком белом переплете, и внучка ее едва удерживала), принимал процедуры (банки, банки, банки, — доктор Холл, кроме тинктур, инфузий и микстур, признавал еще только их, к кровопусканию же, как и ко всему хирургическому, относился отрицательно). Затем завтракал, затем обедал и напоследок ужинал. Правда, ужинал он редко, зато выпивал за сутки почти пинту кваса на меду; просил холодной воды из колодца, но ему ее приносили ред-

ко, только во время отъезда доктора. (Какой-то странный огонь сушил его грудь, и, прикладывая ладонь к груди, он чувствовал, как это пламя поднимается выше и выше — к сердцу, к легким, к гортани.) Раза два в месяц он получал почту, приносил ее трактирщик — длинный, худой мужчина лет сорока, с висячими усами и хитрыми глазами.

При его появлении больной оживлялся. В этом человеке все было хитрым, плутоватым и вместе с тем простым. О болезни они не говорили. Трактирщик приходил и сразу кидал на стол кожаную сумку. "Ух! Еле довез! — говорил он. — Все плечо оттянула!" Он вынимал письма и взвешивал их на ладони. "Вон сколько! Только что я зашел к ним — ну! Как они все закричат, как на меня налетят! Как здоровье? Как настроение? Как что? Один кричит: "Подождите минутку, я черкну пару слов!" И другой кричит: "Минуту!" "Пишите, пишите, — говорю, делать ему все равно нечего, он вам сразу всем ответит."

И они оба смеялись.

Все к его болезни относились серьезно, с боязливым почтением, только этот кабатчик плевал на нее. Он говорил: "Э, мистер Виллиам, да что вы их слушаете? От этих микстур да банок и бык ноги протянет. А я такую микстуру привез из города, что от нее покойник запляшет. Вот зашли бы ко мне".

И то, что трактирщик откровенно презирал его болезнь, было тоже очень хорошо. Письма большей частью приходили деловые: его о чем-то спрашивали и о чем-то советовались. Очень много было вопросов насчет репертуара, новых актеров и паев. Под конец сообщали о смертях и родах и приглашали к себе.

— Опять приглашают? — спрашивал трактирщик.

— Опять, — махал рукой больной и смеялся.

— Ну и надо поехать, — суровел трактирщик, — а то что так лежать? Так, верно, долежишься до смерти. Встали, зашли бы ко мне, я бы вам полную кружку этой мальвазии нацедил, и вы бы хватили и поехали за милую душу. Нет, правда, а?

И Шекспир обещал.

Потом трактирщик уходил, и Шекспир начинал заниматься письмами уже как следует — снова читал их, делал пометки и клал в ящик тумбочки. Надо всем этим надлежало хорошенько подумать.

Итак, днем ему было еще чем заняться. Ночь же казалась огромной и всепоглощающей топью. Вдруг наступала тишина. Свечи уносили, оставляли одну. Окна закрывали ставнями. Засыпал он с закатом, а просыпался часа в три — тяжелый, набрякший и все равно сонный. Но заснуть снова уже не мог, а просто сидел и слушал. Дом был теперь полон тонких, осторожных звуков. Стрекотал сверчок, тикали хитрые часы из Нюрнберга, рассыхались и стреляли доски. Каждый час часы звонили и из отлетающей дверцы выходил толстый, румяный, смеющийся монах: "Dixi, Dic, Dixi, Dic", — выговаривали часы. "Я высказался, Дик; я все тебе сказал, Дик". Догорала свеча, над городом стоял не прекращающийся ни на минуту собачий лай, перекликались все дворцы города, и он представлял, как тоскливо псам ночью. Ведь только они и не спят сейчас. Иногда приходил доктор (это происходило после припадков). Он слышал, как Холл входил, раздевался, переговаривался со служанкой, как скрипела лестница — доктор все инфузии хранил на первом этаже в особом шкафу — и наконец входила Мария, строгая, молчаливая, со свечой в руках, ставила свечу на тумбочку возле его постели и сразу же выходила. Доктор появлялся минут через десять. Перед этим еще было слышно, как стекает вода и звенит тазик (доктор боялся заразы, называл ее по-латыни "контагий" и был мелочно аккуратен). Холл входил и брал больного за пульс.

— Ну, как у нас дела, — спрашивал он, — кашель не мучает?

Шекспир, улыбаясь, смотрел на него. "Какой смысл ему меня лечить?" — думал он. И именно потому, что не понимал, какой же именно, при появлении доктора, как бы ему ни было худо, назло всем,

подтягивался, прибадривался и встречал доктора не лежа, а сидя.

— Да все так же, — отвечал он.

— Так же, значит, плохо? — нарочно недоумевал доктор.

— Да нет, все хорошо, спасибо вам за заботы.

— За спасибо благодарю, — улыбался доктор, — а вот насчет хорошо — это мы сейчас посмотрим. Вы опять кашляли и вас тошнило? — И он прикладывал холодную и еще влажную ладонь ко лбу больного. — Так как, тошнило вас или нет?

— Нет, не тошнило, просто голова закружилась, — резко повернулся, и вот...

— А вот не надо ничего делать резкого — ни по отношению к близким, ни по отношению к самому себе, — говорил доктор. — Ладно. Завтра мы сварим вам великолепный элексир! Прямо-таки бальзам молодости. Вы себя почувствуете воскресшим, ну а теперь сидите так, не двигайтесь, я хочу послушать сердце. — Он долго и придирчиво слушал. — Да, с таким сердцем еще жить можно. — Он присаживался на край постели. — Давайте пульс! Помолчите немного! Хорошо! — он отпускал руку. — А тошнит вас потому, что вы сами себя не жалеете и не лежите. Ну к чему вы столько читаете, обдумываете что-то, диктуете всякие письма? Очень это вам сейчас нужно? Вы больной, ну и ведите себя как больной. Вот Мария говорит, что вы опять зачем-то звали этого сорванца Вилли и что-то ему там диктовали? Слушайте, да отлично они обойдутся и без вас! Даже обидно — не умели вас щадить, когда вы были здоровы, а теперь... Эх, мистер Виллиам, мистер Виллиам! Вы ведь сами все понимаете.

Иногда, когда доктор ему надоедал, он нарочно спрашивал:

— Когда я умру, Джон?

Тот сразу же вставал.

— Врачу не задают такие вопросы, — отвечал Холл строго, — врач приходит затем, чтобы ставить на но-

ги, а не зарывать в могилу. Ну, спите спокойно! – и уходил на цыпочках.

Один раз, когда днем ему было очень плохо и сильно рвало, доктор сказал и немного больше:

— Ничего страшного не произошло. Как вы знаете и без меня, наше тело содержит четыре жидкости: слизь, кровь и два вида желчи — желтую и черную. Когда все это смешано правильно, человек здоров, если пропорции нарушены, человек болеет. "Какое беспокойство и жар овладевают нами, когда разливается желтая желчь", — говорит Гиппократ и предписывает: "Освободи больного от ее избытка, и ты избавишь его от боли и жара". Вот это я и делаю, но сейчас в вашем организме берут верх сильные заржавленные кислоты. От этого боль и кашель. Я стараюсь всю эту дрянь выбросить, вот поэтому и даю вам такое сильное рвотное.

— Которое я и пью аккуратно, — усмехнулся Шекспир.

— Которое вы пьете, когда вам об этом напоминают по нескольку раз. Это, конечно, должно помочь, ибо все, что я делаю, засвидетельствовано и проверено опытом двух тысячелетий, так что положимся на Бога и Гиппократа.

И однажды Шекспир попросил его:

— Дайте мне почитать этого самого Гиппократа.

Доктор нахмурился и резко ответил:

— Да вы же не читаете по-гречески!

И ушел очень-очень быстро.

...Гиппократа привез из Лондона кто-то из актеров. Это был тяжелый том в желтом переплете. Он вышел лет двадцать назад во Франкфурте, и Ричард Бербедж купил его у какого-то прогоревшего врача, который распродавался и уезжал. Очень тяжело было прятать утром этакую громадину под мартац и к ночи вытаскивать снова.

Вот и прибавилось у него еще одно ночное занятие. Доктор, конечно, схитрил, сославшись на греческий, Гиппократа можно было прочесть и по-латыни.

Франкфуртское издание, выпущенное в конце прошлого века, было именно таким, но и латынь-то он позабыл основательно. К счастью, тот бедняга, которому под конец своей неудавшейся карьеры пришлось расстаться с Гиппократом, основательно проштудировал эту громадину. На полях стояли восклицательные и вопросительные знаки, обозначения "Sic NB", некоторые места были даже отчеркнуты, содержание их пересказано по-английски. Кое к чему были сделаны подзаголовки: "Это о симптомах", "Здесь о медикаментах", а во многих местах просто стояло: "Mors" — смерть! Если бы не оно, Шекспир никогда бы не набрел на место, как будто специально написанное для него. Канцелярским почерком — безличным, четким и торжественным — владелец книги надписал: "Тут говорится о том, что при лекарствах, изводящих слизь, прежде всего больного рвет слизью, затем желтой желчью, затем черной, а перед смертью — чистой кровью. В этот момент, – говорит Гиппократ, — больные умирают. NB: неоднократно наблюдал это сам в госпиталях и лазаретах".

Шекспир положил книгу прямо на тумбочку и задумался. Да, видимо, пора! Пора перестать валять дурака, обманываться бабьими сказками, верить в инфузии и примочки. Он всегда говорил: "Человек должен так же просто умирать, как и рождаться". Надо, в конце концов, позвать Грина и составить завещание как следует. Все его ближние хотят этого и все боятся. И он боится тоже. Не самого завещания, конечно, а всего связанного с ним. Мерзости окончательного подведения итогов, когда все, что он так хорошо умел прятать, — любовь, равнодушие, неприязнь, зло, дружбу, благодарность, — вдруг перестанет быть просто его чувствами, а превратится в волю, поступок, в купчие крепости, расписки, земли и деньги. Что за вой поднимется тогда над его гробом!

И все-таки пора, пора! Ведь сегодня утром его тошнило чистой кровью.

8–2280

— Mors! — сказал он громко. — Mors! — и прислушался к слову.

Было очень тихо. За стеной тикали часы, от единственной свечи на всем лежал желтый, угарный свет.

Так и застал больного доктор Холл. Было утро. На приветствие доктора больной не ответил. Доктор наклонился и пощупал пульс — бился он часто и жестко, один такт выпадал. "Да, все к развязке! — подумал доктор. — Надо бы о завещании, а то жена перегрызет горло".

— Мистер Виллиам, — сказал он осторожно.

Больной молчал. Раскрытый фолиант лежал на тумбочке, доктор наклонился и прочел строчки, подчеркнутые красными чернилами. "В этот момент, — говорит Гиппократ, — больные умирают". "Погано", — подумал доктор и повторил:

— Мистер Виллиам...

Больной не пошевельнулся, только чуть дрогнули сомкнутые веки. Доктор постоял немного и осторожно, на цыпочках, как от спящего, вышел из комнаты. И дверь он затворил тихо-тихо, так, чтобы не разбудить.

Оба они играли в одну игру и слегка подыгрывали друг другу.

Глава 3

...Холл возвратился от больного, увидел Бербеджа и недовольно поморщился.

— Нет, нет, мистер Ричард, — сказал он, — это абсолютно исключено. Никаких пяти минут больше не будет. Идемте, Гроу.

— Но честное слово! — истово округлил глаза Бербедж. — Даю вам честнейшее из честных...

— Нет и нет! Идемте, Гроу! — Доктор схватил его за руку и вытащил в коридор.

— Значит, так, Гроу, — сказал он. — Мы сейчас входим к больному. Я вас ему рекомендую и ухожу — я еще домой не заглядывал, — а вы подвигаете стул к кровати, садитесь, берете книгу — их там на столе несколько — и читаете. Пока он сам к вам не обратится — не заговаривайте. Этого он не любит! Понятно?

— Понимаю, — кивнул головой Гроу.

— А что, он очень плох? — спросил Бербедж.

— Очень, — отрезал Холл, не оборачиваясь. — Застегнитесь, Гроу, хорошенько, что это вы как?.. Я там велел отворить все окна. А вас бы, мистер Ричард, я попросил пройти к хозяйке и занять ее. Ни в коем случае не надо, чтоб она входила к больному, он сейчас в очень возбужденном состоянии.

— Ясно, — сказал Бербедж, — не беспокойтесь, пока я здесь, никто из домашних к нему не зайдет.

— Очень прошу вас, — повторил доктор, — очень.

— Нет, нет, никто не зайдет. Вашу супругу он уже выгнал, Юдифь дома, а миссис Анна сидит у себя и плачет. Все в полном порядке, мистер Холл. Все как и должно быть в этом доме.

Доктор зря остерегал Гроу: почти полчаса больной молчал и не то спал, не то просто думал о чем-то очень своем. Во всяком случае, глаза его были плотно закрыты. За это время Холл появлялся дважды. Он подходил к кровати, прикладывал к виску больного два длинных прохладных пальца и, только-только коснувшись, сразу же, удовлетворенный, уходил, даже не взглянув на Гроу. Все это он проделывал так бесшумно, так скользяще легко, что даже казался почти плоскостным, как тень или призрак. Потом, через какой-то промежуток, зашла Мария, приставив стул к окну, стала на колени и закрыла форточки.

— Хорошо, Мария, — сказал больной не открывая глаз.

Мария молча слезла со стула, поставила его обратно, потом подошла к двери и оттуда спросила:

— А может, протопить? Дрова еловые, сухие, трещат! Для воздуха, а? И сыровато что-то!

— Не надо, Мария, — ответил больной не двигаясь.

Старуха пожевала губами и ушла. Потом долго никто в комнату не заходил. Затем дверь приотворилась и в щели показалась голова. Она поглядела в сторону кровати — в комнате было темно — и перевела глаза на Гроу. Тот коротко развел руками. Голова кивнула и исчезла, и сейчас же больной спросил:

— Это кто был, Саймонс?

— Мистер Бербедж, — ответил он.

— А, он здесь! — словно удивился больной и тут же спросил: — Вы доктора давно знаете?

— Он мой дядя, — слегка удивился Гроу.

— Но не родной? — больной даже не спросил, а напомнил.

— Нет! — вырвалось у Гроу, и он сейчас же осекся — надо было ответить не так.

Больной удовлетворенно кивнул головой и еще с полминуты пролежал неподвижно, потом позвал:

— Подойдите, Саймонс, садитесь. — И, когда Гроу подошел, спросил: — Вам еще долго учиться?

Гроу сказал, что два года.

— Так что вы скоро будете такой же врач, как и доктор Холл?

"Да, если не засыплют на диспутах", — хотел сказать Гроу, но только кивнул головой.

— Отлично. Так как же вы понимаете мою болезнь?

По дороге доктор очень пространно, с примерами и ссылками на классиков — Гиппократа и Галена, объяснял Гроу, что положение больного очень серьезно: нарушено нормальное смешение соков и резко возросла выработка холерической желтой желчи. Это ведет, во-первых, к постоянному лихорадочному состоянию и жару, а во-вторых, к сдавливанию легкими левого сердца. А так как жизненное начало — пневма — поступает из воздуха именно через это левое сердце, то приток сил в больном ослаблен и

жизнь еле-еле теплится. Болезнь эта обычна для актеров, ибо она происходит от чрезмерного напряжения голоса, и кончается большей частью летально. "Конечно, все это я говорю для вашего сведения, а не для него, — предупредил доктор, — он и так вычитал больше, чем следует. Но во всяком случае вы теперь знаете, чего вам не следует касаться. Так?" — "Так", — ответил он тогда, но сейчас все полетело; когда он начал что-то туманное о пневме и соках, больной вдруг сказал:

— Великолепно, юноша, но по Гиппократу это звучит вот как: сначала человека рвет желтой желчью, потом черной, а под конец кровью. Тогда больной умирает. Меня вчера рвало кровью. Теперь вы понимаете, что мне нечего бояться?

Он приподнялся на локте. Голос его был тверд и деловит, глаза блестели сухо и трезво.

— Доктор Холл... — начал Гроу почти бессмысленно.

— Он ушел к жене, юноша, и теперь придет только ночью. Так вот, позовите мистера Ричарда.

— Нет, нет, — быстро сказал Гроу, бессознательно подражая интонации Холла, — вам нужно лежать.

— Вот что, юноша, — больной даже приподнял голову, — я знаю сам, что мне нужно. А сейчас я скажу, что следует делать вам: когда доктор здесь, вам нужно выполнять его приказания, когда его нет, вам нужно слушать меня. Уверяю, что тогда все будет хорошо. Идите и позовите Ричарда.

Сейчас он даже не сказал "мистера". Голос его был совершенно тверд, и такая непреложная ясность звучала в нем, что Гроу сразу же послушно поднялся со стула и пошел к двери. "Поднимусь к хозяйке, — подумал он, — скажу, что больной беспокоится и хочет видеть кого-нибудь из домашних. Там, верно, будет и этот Бербедж".

Он вышел в коридор, пошел к лестнице и наткнулся на Бербеджа. Тот стоял у углового окна и по-прежнему барабанил пальцами по стеклу.

— Ну, что? — спросил он.

— Он зовет вас, — ответил Гроу. — Там никого нет, идите...

И занял его место у окна.

Не прошло и пяти минут, как Бербедж вернулся за ним.

— Вас зовет хозяин, — сказал он.

Когда он зашел, больной уже не лежал, а полусидел, опираясь на подушки. Гроу он показался здоровым.

— Не надо вам сейчас ходить по дому, — объяснил больной. — Вот садитесь за стол и читайте. Если Гиппократ надоел, то вот есть там кое-что другое.

Бербедж подошел к столу, снял щипцами нагар и возвратился к постели.

— Книги и бумаги ты просто возьмешь при мне, — сказал больной, продолжая разговор. — Я скажу доктору, он все это сделает. Тут они никому не нужны, так что это легко.

— Ладно, — ответил Берберлж. — Но прости меня, хотя мы и сговорились не трогать уже больше этого, — зачем тебе так торопиться? Почему бы, верно, тебе серьезно не поговорить с доктором? Ведь какой смысл ему что-нибудь скрывать? Он так же, как и все твои... (Больной кивнул головой). Хочешь, я поговорю, а потом скажу тебе? Ты что, не поверишь мне?

Больной усмехнулся.

— Нет, и тебе не поверю. Но прежде всего не поверит он и скажет что-то совсем не то. А вот что пользы ему скрывать, — я, верно, этого не знаю. Но, конечно, какая-то польза есть. Может, они хотят подсунуть мне бумагу в самый последний момент, когда уж не останется времени? А может, они сестры боятся? Юдифь ведь тоже...

— Зря ты составил тогда эту бумагу, очень зря! — болезненно поморщился Бербедж.

— Что теперь об этом говорить, — слегка развел руками больной. — Пока она у Грина, я спокоен! Ну а тогда мне пришлось уж так плохо...

— Да, — сказал Бербедж, думая о чем-то своем. — Да, Билл! Оказывается, за все приходится давать ответ: за нажитое и прожитое.

Больной улыбнулся.

— Ой, нет! Прожитое-то мое! Его у меня уж никто не отнимет. Тут все просто. А вот нажитое — оно, верно, висит, тянет, мучит, не пускает. Ты знаешь, мне один немец рассказывал: у них там ведьмы не переводятся. И знаешь, почему? Ни одна ведьма не может умереть, пока не передаст своего колдовства. Будет болеть, мучиться, гореть, как на огне, а умереть все ра́вно не умрет. Держит ее земля: "Отдай! Отдай, не твое это, — отдай!" Вот так и за меня ухватилось сейчас мое и не пускает — отдай! Отдай! Оказывается, это такая власть, что перед ней и смерть — ничто! — Он вдруг повернулся к Гроу: — Что, коллега, вы что-то сказали?

— Нет, я молчал, — ответил он. — Я вас слушал.

Ночью его сменила Мария — она в комнату больного не входила, но всю ночь сидела где-то рядом. Больному, по мнению доктора, не надо было знать этого. Спать Гроу уложили в маленькой угловой комнате — чулане или кладовке для старой мебели. Было очень жарко (туда проходила труба) и темновато (ему дали всего одну оплывающую, кривую свечку). Он, не раздеваясь, брякнулся на мягкое разноцветное тряпье и сразу же забылся. И сон пришел тревожный и утомительно-мелочный, в нем смешались строки мелкого, мышиного шрифта и рецепты, выписанные букашечным почерком; их показывал ему доктор и что-то говорил.

Когда он внезапно проснулся, опять было темно и тихо. Свеча погасла. Слабо серело почти на потолке маленькое квадратное окошко, а в нем — грубый край трубы и сбоку — большая зеленая чистая звез-

да. Где-то за стеной падала и падала в воду полная, звучная капля. "Скоро рассвет, — подумал он. — Надо бы раздеться и лечь под одеяло". Но двигаться не хотелось, и он лежал, разбитый блаженной усталостью, и думал. Ведь вот что интересно: имя этого сочинителя трагедий и масок он слышал не раз. Пришлось даже как-то держать в руках какую-то его драму. Он ее не дочитал и до половины — сбился, соскучился и бросил. А вообще-то он любил только комедии — и не читать, а смотреть, особенно если там были клоуны и драки. Понять и прочувствовать пьесу с листа он не мог: сразу путался и переставал понимать кто — кто и что к чему.

Так вот, имя этого сочинителя и актера он слышал до этого, но все это было так случайно и настолько неинтересно, что, когда по дороге сюда ему впервые сказали, к кому он едет, это почти ничего ему не дало, и вошел он в комнату больного, как к человеку, совершенно ему неизвестному. Вошел, сел и сразу же почувствовал запах смерти, оглянулся и увидел: это рядом с его локтем лежит стопка новых простынь из сурового полотна. Он взглянул на кровать, — и там лежала смерть. Только не его смерть (он вспомнил слова доктора), совсем не его и даже никого к нему относящихся, а смерть доктора, актера Бербеджа, тоже толстого и одышливого, и всего этого дома. Но умирающий вдруг заговорил, и сразу все переменилось. Не осталось ни умирающего, ни просто больного, в комнате лежал человек, которому невесть почему, по какой глупости, неурядице, несправедливости, — может быть даже потому, что весь дом ждал его смерти, — приходилось умирать. Поэтому все в этом доме было не то и не так. Никто не плакал, нигде не шептались. И больной тоже умирал не так, как полагается. Он как будто даже не умирал, а готовился к какой-то схватке. К участию в судилище, диспуте, к защите своих исконных прав перед каким-то высоким трибуналом. Гроу думал также, что обреченный человек этот понимал, что за-

щита будет трудная, ибо все свидетели лгут, а судьи подкуплены. В общем, все в этом доме было непонятно, и только одна строчка из одной очень старой и никогда особенно не почитаемой им книги подходила к тому, что здесь происходило. Ее вдруг вспомнил Бербедж.

Был такой разговор.

— Видишь ли, — сказал Шекспир, — вот ты действительно мой душеприказчик, потому что все остальное уже не мое. Был дом Шекспира — будет дом доктора Холла, деньги спрячет Сюзанна, серебро возьмет Юдифь — вот уж даже следа от меня не осталось в мире! Только имя на плите. А книги-то все равно мои! Хорошие или плохие, — а мои! "Гамлет" — Шекспира! "Лукреция" — Шекспира! Сонеты — Шекспира... Что бы там ни было, никто на них иного имени не поставит, понимаешь? Мо-е!

— Понимаю, — ответил Бербедж. — Нет, правильно сказал Христос: "Главные враги человека — это его домашние".

— Да-да. Христос сказал именно так! – Шекспир с улыбкой посмотрел на Гроу и покачал головой. — Но, Ричард, наш молодой коллега, может быть, еще и не женат, так не надо бы, пожалуй, учить его такому Святому Писанию, как ты думаешь?

...Когда утром Гроу сидел в трактире, к нему подошел рыжий, толстогубый парень в вязаном шерстяном колпаке и поздоровался, как со старым знакомым.

— Вы что, — спросил рыжий дружелюбно, — из Нью-Плеса?

Нью-Плес — новое место, так официально назывался дом Шекспиров.

Гроу кивнул головой и подвинулся, хотя места было много. В руках толстогубого была большая глиняная кружка. Он поставил ее рядом с локтем Гроу и уселся.

— Вот я сразу вижу — вы откуда-то издалека, — сказал он. – Что, студент?.. Ну, я сразу же вижу —

студент! Не из Оксфорда? А то я два года там жил у кузнеца! На все там нагляделся. Что, к родственникам приехали?

— Нет, — ответил Гроу.

— О? Нет? — удивился рыжий. — Неужели там, в Нью-Плесе, у вас никого-никого? Ну, тогда плохое ваше дело — там ведь не разживешься! Скупые больно бабы там!

— Да ну? — как будто удивился Гроу. Ему было интересно, что говорят здесь о Шекспире и его семье.

— Верное слово, мистер студент, верное слово, скупее их у нас нет, —что старая, что младшая, что мужья их.

— А доктор? — спросил Гроу.

— А что доктор? — ухмыльнулся парень. — К доктору тоже без денег не суйся. Он задаром тебе и пук сухой травы не даст. Ну конечно, если ты ему что сделаешь, — ну, коня подкуешь или там стальные усы к шкатулке, — он заплатит. Сколько спросишь, столько и даст. Мелочности этой бабьей у него нет. Ну конечно, все-таки как-никак, а мужчина! Но ведь жена, жена... Ух! — И рыжий покачал головой.

— А что жена? — спросил Гроу.

Рыжий поглядел на него.

— Нет, вы правду говорите, что не родственник?

Гроу пожал плечами.

— А хотя бы и родственник был, я ведь правду говорю! — решил рыжий. — Вся в матушку пошла. Какой матушка была необузданной, такой и дочку вырастила! Как что — кричит, шваркает! Не подходи! — И он значительно поглядел на Гроу.

— А откуда вы знаете? — спросил Гроу.

— Вот! — усмехнулся он. — Откуда я знаю! Да весь город знает! У них знаете какие войны бывают? Доктор, например, ехать собирается, лошадь седлает, а она из окна ему кулаком грозит, слюной брызжет: "А я знаю, куда ты едешь! Знаю!" А что она знает? Знай не знай — он свое дело делает.

— А отец? — спросил Гроу.

— Хозяин-то? Он в эти дела никогда не мешается! Как будто и не знает ничего! Да они при нем и не шумят. Доктор-то его уважает. Ну как же, такого человека-то! А в особенности, конечно, теперь! Сейчас они и день и ночь от него и не вылезают — ждут!

— Чего?

— Как чего? — удивился рыжий. — Стать хозяевами ждут. Ведь старый-то хозяин не сегодня-завтра... того... перед престолом Господа Бога... — И вдруг спохватился. — Нет, вы правда оттуда? Как же вы... тогда ничего не знаете?

— Да я только вчера сюда приехал, — объяснил Гроу.

— Ну, если вчера приехали, то конечно, — смягчился рыжий. — А хозяина уже видели? Что? Сильно плох? Или к нему не пускают?

— Да нет, видел. Нет, не так чтоб уж очень плох, — сказал Гроу. — Я заходил к нему, он лежит, смеется, разговаривает.

— Да это он всегда смеется, — объяснил парень и поднял свою кружку. — Ну, за здоровье! Это он, студент, всегда смеется! Я его ведь вот с этих пор помню. Мальчишкой был, так помню, как он на коне приезжал.

— Так вы, значит...

— Ну еще бы! С детских лет! Так он всегда смеется!.. Вот прошлым летом ходил он, гулял и зашел к дяде моему, в кузницу. А дядя мой его только на два года моложе. Насчет каких-то замков они потолковали. Он говорит: зайдешь, мол, завтра, посмотришь, сговоримся. Дядя его оставлять стал. "Нет, говорит, тороплюсь". Простился, подошел к двери, хотел ее толкнуть, да как грохнется! Почернел, напрягся и все воздух, воздух ртом, как рыба, хватает, а грудь-то так и вздымает, так и ходит волной, волной. Ну, дядя человек знающий, сразу по такому случаю берет его под мышки, я — за ноги, и вот кладем мы его на лежанку. Он лежит, а грудь все ходит, все ходит. И весь побагровел, и из глаз слезы, слезы, сле-

зы. Дядя ему два раза лицо платками обтирал. Так он с час пролежал. Потом: ”Дай, говорит, руку, хочу сесть”. И сел. Дядя меня в погреб послал за медом, я сбегал, целый жбан принес. ”Пей, Билл, — говорит дядя, — он у меня на мяте, целебный, сразу лучше станет”. Он взял жбан в обе руки, а пальцы дрожат, и как впился в него, пил, пил, пил — половину не отрываясь выпил. Встал, отряхнулся. ”Спасибо, говорит, вылечил меня, ну, я пойду”. Потом постоял, подумал и говорит: ”А я о тебе вспоминал. У нас в театре хорошую балладу сложили о кузнецах — я найду, спишу тебе ее и покажу, на какой голос петь”. А дядя-то мой когда-то первый запевала здесь у них был. Вместе к реке они все на троицу ходили. Дядя всех там одним голосом перебивал. Ну а сейчас, конечно, где ему петь. Он полуглухой стал в этой кузнице! ”Что ты, — говорит дядя, — я уж и тех лет не помню, когда я пел! Ты что, забыл, сколько прошло!” Тот смеется: ”А ведь и верно, забыл”. Дядя говорит: ”Вот и я вижу, что забыл. Ты думаешь, что нам всем по двадцать лет”. — ”Нет, говорит, про себя я так не думаю. А вот на тебя посмотрел — позавидовал, все у тебя в руках кипит, все горит огнем. Как ты был молодым, так и остался. А я вот от своей работы на покой запросился. Буду теперь нажитое проживать, прожитое вспоминать, у камелька кости греть да внучат на ноге качать. Вот такое теперь мое дело”. И все улыбается, улыбается, так и ушел улыбаясь! Я вот говорю, что с малых лет его помню и никогда сердитым или хмурым не видел! А теперь вот умирает! Да! Теперь уже не пойдешь к их колодцу за водой! И запрут, и собаку спустят! В Нью-Плесе вода знаменитая, там колодец глубокий, до самого белого песка. Еще старый хозяин рыл. Да! Смерть — это тебе... — Он вдруг оглянулся, понизил голос и спросил: — А королевский указ...

— Что — королевский указ? — удивился Гроу.

— А! Значит, не открыли вам всего, — кивнул головой рыжий. — Есть у него королевская хартия на

его имя. Что в ней — никто точно не знает, но только дает она большие привилегии на все, ему и его потомкам — кого он из них выберет. Вот из-за этого у них и спор, — парень опять оглянулся, — наследника-то мужчины нет, одни дочки, у них и фамилия другая, вот они, значит, и сомневаются: подойдут под эту бумагу или нет? А если нет, то прошение надо писать королю, просить, чтобы признали. А вот будет он писать или нет — этого никто не знает. Рассердится да и не напишет. Вот и все. Вы про это ничего не слыхали?

— Нет, — сказал Гроу и поднялся. — Ну, спасибо за разговор. Пойду, а то хватятся. До свиданья.

— До свиданья, — кивнул головой рыжий. — Да не торопитесь, сейчас они вас не хватятся. Сейчас они все в одном месте собрались, обсели его, как мухи пирог, затаились, прихитрились и ждут, ждут...

"Да, — подумал Гроу, выходя на улицу. — Нет, недаром сказано: "Враги человека — его домашние". Христос и в этом кое-что понимал".

Днем наверху, в комнате хозяйки, произошел какой-то, видимо, резкий, хотя и быстрый и очень негромкий, разговор. Потом миссис Юдифь вышла и прошла мимо него (он сидел на лавке около колодца). Лицо ее было в красных пятнах, а губы сжаты. Тонкие, недобрые губы Шекспиров. Около полуоткрытой калитки ее ждал человек, может быть, муж или родственник. Он спросил ее что-то, а она досадливо махнула рукой и прошла. "Стерва баба", — подумал Гроу.

Затем вышел доктор Холл под руку со священником. Он, конечно, сразу же вскочил и поклонился. Доктор Холл как будто его и не заметил вовсе, но священник и еще раз оглянулся. Они сделали круг и сели на другом конце сада, и Холл начал что-то энергично говорить, разводя руками и доказывая. Священник слушал, — склонив голову и чертя что-то концом туфли. Потом вдруг вскинул глаза и что-то

сказал, — оба они взглянули в его сторону. Затем немного поговорили еще, поднялись и прошли мимо, в дом. На этот раз Холл заметил его и кивнул очень ласково.

Затем во двор вышел Бербедж и подошел прямо к нему.

— Вас зовет мистер Виллиам, — сказал он.

...Шекспир, одетый, сидел в кресле и писал. Чернильница стояла рядом на стуле. Шекспир казался совсем здоровым — плотный, упитанный джентльмен средних лет, с большой лысиной и полными щеками. Вот только бледен он был очень. Когда они вошли, Шекспир взглянул на них, приписал еще что-то и протянул бумагу Бербеджу.

— Присыпь песком, — сказал он, — это, кажется, все, что надо.

Бербедж быстро оглядел записку и сказал:

— Этого, конечно, хватит, Билл. Теперь другое: что из этого у тебя сейчас есть и чего нет?

— Сейчас придет Харт, — сказал Шекспир и посмотрел на Гроу. — Коллега, вам придется вместе с племянником снести с чердака один сундук. Постарайтесь сделать это как можно незаметнее.

Виллиам Харт пришел через пять минут, и они пошли за сундуком. Оказывается, сундук находился как раз в той каморке, где Гроу ночевал. Небольшой темный и очень тяжелый дубовый ящик, окованный сизыми стальными полосами. Они вытащили его из-под кровати и стащили с чердака по узкой лестнице. Шекспир ждал их с ключом в руках. Они поставили ящик на стол, Бербедж взял у Шекспира ключ. Замок был тугой. Крышка отскочила со звоном. На внутренней стороне ее оказалась большая, в полный лист, гравюра — отречение Петра. Скорбящий Петр и над ним гигантский петух. ”Наверное, Волк тоже видел это, — подумал Гроу, — потому и заговорил о петухе. А ведь Петр, пожалуй, и не скорбит. Он просто стиснул руки на груди и думает: ”Ну какой же во всем этом смысл, Господи, если даже я — я те-

бя предал?" А над ним вот — поднялся огромный, торжествующий петух".

Сундук был набит почти до краев. Бербедж приподнял кусок тафты, и Гроу увидел груду книг, тетради, синие папки, фолианты в кожаных переплетах.

— Вот тут все, — сказал Шекспир, — все, что у меня есть.

— И то, что не напечатано, сэр? — спросил Бербедж. — "Макбет", "Цезарь", "Клеопатра"?

— Все, все...

Бербедж взял первую папку и открыл ее. В ней лежала тетрадь, исписанная в столбик красивым, так называемым секретарским почерком. Буквы казались почти печатными, так любовно была выписана каждая из них.

— Как королевский патент, — сказал Бербедж.

— Теперь так уже переписчики не пишут. Хороший старик был, мы его недавно вспоминали.

— Дай-ка, — сказал Шекспир. Он взял рукопись и долго перелистывал ее, читал, улыбался, задерживаясь на отдельных строках, и качал головой. — Ты в этой роли был поистине великим, Ричард, — сказал он Бербеджу, и тот согласился:

— Да.

Шекспир полистал тетрадь еще немного, потом отложил ее и вынул кожаную папку. В ней лежали большие листы, сшитые в тетрадь. Он быстро перелистал их. Почерк был другой — быстрый и резкий.

— Что значит молодость, — сказал Шекспир. — Да, мне было тогда... Гроу, вам сколько сейчас?

— Двадцать четыре, — ответил он.

Шекспир ничего не ответил, только взглянул на него с долгой улыбкой и кивнул головой. Затем вынули еще несколько папок, просмотрели их и все сложили обратно.

— Вот все, — повторил он.

— Хорошо, — решил Бербедж, — закрывай и давай мне. И больше у тебя ничего нет?

— Нет!

Бербедж деловито сложил все опять в сундук, потом помолчал, подумал и сказал:

— Вот что, Виль, — он назвал его не "Билл", как всегда, а ласково и мягко — "Виль", — очевидно, по очень, очень их личному и старому счету. — Ты сам... — Он все-таки осекся.

— Ну-ну? — подстегнул его Шекспир.

— Я хотел сказать, — путаясь, хмурясь и краснея, сказал Бербедж, — нет ли у тебя тут и писем, которые ты бы не хотел сохранять?

— Ага, — серьезно кивнул головой Шекспир, — ты хочешь сказать, что в таком случае уже пора!

Наступило неловкое молчание. Харт вдруг выдвинулся и встал около дяди, словно защищая его. Шекспир мельком взглянул на него и отвел глаза.

— Я... — начал Бербедж.

— Конечно, — очень серьезно согласился Шекспир, — конечно, конечно, Ричард, но, кроме заемных писем, у меня ничего уже не осталось.

— А то письмо тут? — спросил Ричард.

— Здесь. В самом низу. Достаньте его, Гроу. Оно в кожаной папке.

Гроу достал папку. Шекспир открыл ее, посмотрел, захлопнул и положил рядом с собой.

— Что же будем с ним делать? — спросил он.

Бербедж пожал плечами.

— Нет, в самом деле — что?

— Мне его во всяком случае не надо, — ответил Бербедж. — Хотя оно и королевское и всемилостивое, но в книге его не поместишь.

— Да, всемилостивое, всемилостивое, — покачал головой Шекспир. — Что оно всемилостивое — с этим уж никак не поспоришь. Но что же с ним все-таки делать?

— Отдай доктору, — сказал Бербедж.

— Да? И ты думаешь, оно его обрадует? — спросил Шекспир и усмехнулся. — Виллиам, — обратился он к племяннику, — ты слышал о том, что твой дядя беседовал с королем? Ну и что тебе говорили об этом? О чем шла у них беседа?

Виллиам Харт, плотный, румяный парень лет шестнадцати, еще сохранивший мальчишескую припухлость губ и багровый румянец, стоял возле ящика и не отрываясь смотрел на дядю. Когда Шекспир окликнул его, он замешкался, хотел, кажется, что-то сказать, но взглянул на Гроу и осекся.

— Ну, это же все знают, Виль, — мягко остерег от чего-то больного Бербедж, — не надо, а?

Но Шекспир как будто и не слышал.

— Ты, конечно, не раз слыхал, что Шекспиры пользуются особым покровительством короны, что его величество оказал всему семейству величайшую честь, милостиво беседуя на глазах всего двора с его старейшим членом в течение часа. Так?

— Но правда, Виллиам... — снова начал Бербедж, подходя.

Больной посмотрел на него и продолжал:

— Так об этом написали бы в придворной хронике. Кроме того, Виллиам, тебе, верно, говорили, что у твоего дяди хранится в бумагах всемилостивейший королевский рескрипт, а в нем... ну, впрочем, что в нем, этого никто не знает. Говорят всякое, а дядя скуп и скрытен, как старый жид, умирает, а делиться тайной все равно не хочет. Думает все с собой забрать. Так вот, дорогой, это письмо! Оно лежит тут, — Шекспир похлопал по папке, — и на тот свет я его, верно, не захвачу, здесь оставлю. Только, дорогой мой, это не королевское письмо, а всего-навсего записка графа Пембрука с предписанием явиться в назначенный день и час. Это было через неделю после того, как мы сыграли перед их величествами "Мак-

бета". В точно назначенное время я явился. Король принял меня... ты слушай, слушай, Ричард, ты ведь этого ничего не знаешь.

Больной все больше и больше приподнимался с подушек, которыми он был обложен. Глаза его горели сухо и недобро. Он, кажется, начал задыхаться, потому что провел ладонью по груди, и Гроу заметил, что пальцы дрожат. Заметил это и Бербедж. Он подошел к креслу и решительно сказал:

— Довольно, Виллиам, иди ложись! Вон на тебе уже лица нет. В рукописях я теперь сам разберусь.

— Так вот, его величеству понравилась пьеса, — продолжал больной, и что-то странное дрожало в его голосе. — Он только что вернулся с прогулки и был в отличном настроении. "Это политическая пьеса, — сказал король, — англичане не привыкли к таким. Она очень своевременна. Английский народ мало думает о природе и происхождении королевской власти. Он все надеется на парламент. Но что такое парламент без короля?! Вот в Голландии, Швейцарии и Граубунде нет монарха и поэтому там не парламент, а совет и собрание. Эти неразумные должны цепляться за королевскую власть, как за свое спасение!" Это король уж, разумеется, не мне сказал, а графу Пембруку. Тот стоял рядом и слушал. И, как человек находчивый, сразу же подхватил: "Я бы хотел, чтобы эти неразумные слышали ваши слова, государь. Они совершенно не понимают этого". Тогда король сказал: "Так я их просто повешу, вот и все!" Потом повернулся к графу. "Я монарх, милорд, — сказал он, — монарх, а "монос" — это значит один и един. А единое — совершенство всех вещей. Един только Бог на небе да король на земле. А парламент — это множественность, то есть чернь. Вот ведь как все просто, а на этом стоит все". Потом опять повернулся ко мне. "Я не хотел бы, сэр, — сказал он, — чтобы вы когда бы то ни было касались того, что

связано с таинственной областью авторитета Единого. Это недопустимо для подданного и смертный грех для христианина. В "Макбете" вы, правда, подошли к этой черте, но не перешли ее. Я ценю это. Вы исправно ходите в церковь, сэр?" Я ответил, что каждую субботу. "Я так и думал, — ответил король, — потому что атеист не может быть хорошим писателем". Я сказал: "Спасибо, ваше величество". — "Да, да, — сказал король, — я это сразу понял, как только увидел ваших ведьм. В ведьм истинному христианину необходимо верить так же твердо, как церковь верит в князя тьмы — дьявола. Однако вы допускаете ряд ошибок". Тут король замолк, а я нижайше осмелился спросить: "Каких же именно, ваше величество?" — "У шотландских ведьм, — ответил король, — нет бород, это вы их спутали с немецкими. И поют они у вас не то. Как достоверно выяснено на больших процессах, ведьмы в этих случаях читают "Отче наш" навыворот; ну и еще вы допустили ряд подобных же ляпсусов, — их надо выправить, чтоб не вызвать осуждение сведущих людей. Мой библиотекарь подыщет вам соответствующую литературу. Я тоже много лет занимаюсь этими вопросами и если увижу в ваших дальнейших произведениях какое-нибудь отклонение от истины, то всегда приму меры, чтоб поправить их". Я, конечно, поблагодарил его величество за указания, а умный граф Пембрук воздел руки и сказал: "О, счастливая Британия, со времен Марка Аврелиуса свет еще не видел такого короля-мыслителя!" На это его величество рассмеялся и сказал: "По существу, вы, вероятно, правы, сэр, но, например, лечить наложением рук золотуху Аврелиус был не в состоянии. Ибо был язычником и гонителем. Христианнейшие короли могут все. Сэр Виллиам очень удачно отметил это в своей хронике, и я благодарен ему за это". Тут он дал мне поцеловать руку и милостиво отпустил. Теперь ты понял, Виллиам, какую великую милость оказал король твоему дяде?! — Он посмотрел на Харта и под-

мигнул ему. — Ладно, позови доктора Холла, я отдам ему это письмо.

— Подожди, Виллиам, — сказал Бербедж, — дай мне сначала уехать с этими бумагами.

Рукописи Бербедж благополучно увез с собой. Перед этим он поднялся к хозяйке и пробыл наверху так долго, что Гроу, оставшийся с рукописями в гостиной, успел задремать. Проснулся он от голосов и яркого света. Перед столом собрались Бербедж, доктор Холл, достопочтенный Кросс и две женщины — одна старуха, другая помоложе, неопределенных лет. Гроу вскочил.

— Сидите, сидите! — милостиво остановил его Холл и повернулся к старухе: — Миссис Анна, вот это тот самый мой помощник, о котором я вам говорил.

Старуха слегка повела головой и что-то произнесла. Была она высокая, плечистая, с энергичным, почти мужским лицом и желтым румянцем — так желты и румяны бывают лежалые зимние яблоки.

— Миссис Анна говорит, — перевел доктор ее бормотание: — я очень рада, что в моем доме будет жить такой достойный юноша. — Он поставил канделябр на стол и спросил Бербеджа: — Так вот это все?

— Все, — ответил Бербедж. — Заемные письма и фамильные бумаги мистер Виллиам отдаст вам лично.

— Ну хорошо, — вздохнул Холл. — Миссис Анна не желает взглянуть?

— Да я все это уже видела, — ответила хозяйка равнодушно.

Холл открыл первую книгу, перевернул несколько страниц, почитал, взял другую, открыл, и тут вдруг огонь настоящего, неподдельного восхищения блеснул в его глазах.

— Потрясающий почерк! — сказал он. — Королевские бы указы писать таким. Вот что я обожаю! — почерк! Это в театре у вас такие переписчики?

Бербедж улыбнулся. Доктор был настолько потрясен, что даже страшное слово "театр" произнес почтительно.

— Это написано лет пятнадцать тому назад, — объяснил он. — У мистера Виллиама тогда был какой-то свой переписчик.

— Обожаю такие почерка! — повторил Холл, любовно поглаживая страницу. — Это для меня лучше всяких виньеток и картин — четко, просто, величественно, державно! Нет, очень, очень хорошо. Прекрасно, — повторил он еще раз и положил рукопись обратно.

Достопочтенный Кросс тоже взял со стола какую-то папку, раскрыл ее, полистал, почитал и отложил.

— Миссис Анна, вы все-таки, может быть, посмотрели бы, — снова сказал Холл. — Ведь это все уходит из дома!

— Что я в этом понимаю? — поморщилась старуха. — Вы грамотные — вы и смотрите!

Спросили о том же и жену доктора, такую же высокую и плотную, как мать, но она только махнула рукой и отвернулась. Перелистали еще несколько рукописей, пересмотрели еще с десяток папок, и скоро всем это надоело и стало скучно, но тут Холл вытащил из-под груды альбом в белом кожаном переплете. Как паутиной, он был обвит тончайшим золотым тиснением и заперт на серебряную застежку.

— Итальянская работа, — сказал Холл почтительно и передал альбом Кроссу.

Тот долго листал его, читал и потом положил.

— У мистера Виллиама очень звучный слог, — сказал он уныло.

— Ну что ж! — Холл решительно поднялся с кресла. — Ну что ж, — повторил он. — Если мистер Виллиам желает, чтоб эти бумаги перешли к его друзьям, я думаю, мы возражать не будем? — И вопросительно поглядел на женщин.

Но Сюзанна только повела плечом, а миссис Анна сказала:

— Это все его, и как он хочет, так пусть и будет!

— Так! — сказал доктор и повернулся к Бербеджу: — Берите все это, мистер Ричард, и...

— Одну минуточку, — вдруг ласково сказал достопочтенный Кросс. — Мистер Ричард, вы говорите, что хотите все это издать?

Бербедж кивнул головой.

— Так вот, мне бы, как близкому другу мистера Виллиама, хотелось знать, не бросят ли эти сочинения какую-нибудь тень на репутацию нашего возлюбленного друга, мужа, отца и зятя? Стойте, я поясню свою мысль! Вот вы сказали, что некоторые из этих рукописей написаны пятнадцать и двадцать лет тому назад. Так вот, как по-вашему, справедливо ли будет, чтобы почтенный джентльмен, отец семейства и землевладелец, предстал перед миром в облике двадцатилетнего повесы?

— Да, и об этом надо подумать, — сказал Холл и оглянулся на жену. — Вам, мистер Ричард, известно все, что находится тут?

— Господи! — Бербедж растерянно поглядел на обоих мужчин. — Я знаю мистера Виллиама без малого четверть века и могу поклясться, что он никогда не написал ни одной строчки, к которой могла бы придраться самая строгая королевская цензура.

— Ну да, ну да, — закивал головой достопочтенный Кросс, — все знают, что мистер Виллиам добрый христианин и достойный подданный, и не об этом идет речь. Но нет ли в этих его бумагах, понимаете, чего-нибудь личного? Такого, что могло бы при желании быть истолковано как намек на его семейные дела? И не поступит ли человек, отдавший эти рукописи в печать, как Хам, обнаживший наготу своего отца перед людьми? Этого мы, друзья, никак не можем допустить.

— Берите бумаги, — вдруг сказала Сюзанна, и Гроу в первый раз услышал ее голос, звучный и

жесткий, — и пусть со всем этим будет покончено! Сегодня же! О чем тут еще говорить? Пусть берет все и... Мама?!

— Пусть берет, — подтвердила старуха. — Пусть берет, раз он приказал! Это все его, не наше! Нам ничего этого не нужно!

Наступила тревожная тишина. Старуха вдруг громко всхлипнула и вышла из комнаты.

— Берите, — коротко и тихо приказал Холл Бербеджу, — берите и уезжайте. Ведь тут сегодня одно, а завтра — другое. Скорее уезжайте отсюда. — И он покосился на жену, но та стояла у окна и ничего не слушала. Всего этого ей действительно было не нужно.

...Когда на рассвете Гроу шел в свою комнату (его сменила Мария), около лестницы, у слабо синеющего окна, он увидел сухую четкую фигуру. Кто-то сидел на подоконнике. Он остановился.

— Что, заснул? — спросила фигура, и Гроу узнал хозяйку.

— Спит, — сказал Гроу, подходя. — Крепко спит, миссис Анна.

— Слава тебе Господи, — перекрестилась старуха, — а то с ночи все бредил и просыпался два раза. Такой беспокойный был сегодня. Все о своих бумагах...

— А откуда вы... — удивился Гроу. Ему показалось, что старуха усмехнулась.

— Да что ж, я задаром здесь живу? У меня за три года такой слух появился, что этих стен как будто и вовсе нет. Чуть он шевельнется, я уж слышу. Подхожу к двери, стою — вдруг что ему потребуется... — Она хотела что-то прибавить, но вдруг смутилась и сердито окончила: — Идите спать, молодой человек. Скоро и доктор придет.

— А вы? — спросил Гроу.

— Да и я тоже скоро уйду. Вы на меня не смотрите. Я привычная. Ведь три года он болеет — три года!

— А что ж Мария... — заикнулся Гроу.

— Ну! — опять усмехнулась старуха. — Разве я на Марию могу положиться? Да она всего-то навсего и моложе меня на два года. Раз он сильно застонал, а в комнате темно — свечка свалилась и потухла, — он мечется по кровати, разбросал все подушки и бредит: будто его в печь заталкивают. А Мария привалилась к стене и храпит.

— Что ж вы ее не разбудили? — спросил Гроу.

— А что мне ее будить? — огрызнулась старуха. — Я ему жена, она посторонняя. Я госпожа, она служанка. Мне ее будить незачем. — И вдруг опять рассердилась: — Идите, молодой человек. Спокойного вам сна.

И он ушел.

С той ночи прошло больше пятидесяти лет, но сэр Саймонс Гроу, старый, заслуженный врач, участник двух войн и более двадцати сражений, помнил ее так, будто этот разговор у лестницы произошел только вчера. Так его потрясла эта старая женщина, ее безмолвный подвиг и колючая, сварливая любовь.

Сейчас он сидел на лавочке и думал, думал. Дважды его жена посылала внучку, затем сама пришла и сердито набросила ему плед на спину, — что он, забыл, что ли, про свой ревматизм? А он все сидел и вспоминал. Потом встал и пошел к себе.

В доме уже спали. Он осторожно подошел к столу, выдвинул ящик, вытащил тетрадь в кожаном переплете и открыл ее. Она была вся исписана красивым, ровным почерком — таким ровным и таким красивым, что буквы казались печатными. Это был ученый труд доктора Холла, переписанный им собственноручно. Сэр Гроу задумчиво листал его и думал. Когда доктор Холл умер, его жена свалила рукописи покойного в корзину и снесла их под лестницу. Там они и пролежали лет десять и были проданы за бесценок, как бумага. Их приобрел полковой врач, приятель сэра Гроу. Так эта тетрадь и попала к нему.

— Да, — сказал или подумал сэр Гроу, — да, вот так, дорогой учитель греческого и латинского. Вот так! Вот вам и семейные бумаги! Вот вам и королевский рескрипт! Вот вам все.

Потом спрятал тетрадь, сел за стол и написал вот это:

"Что касается бумаг и рукописей, то о них я ничего достоверного сообщить не могу. Кажется, актеры, друзья покойного, что-то подобное нашли и увезли с собой. Помнится, какой-то разговор при мне был, но ничего более точного я сказать не могу. Что же касается королевского письма..."

"..Жене своей он завещал вторую по качеству кровать".

ЭПИЛОГ

"И еще я хочу и завещаю, чтоб моей жене Анне Шекспир досталась вторая по качеству кровать со всеми ее принадлежностями, как-то: подушками, матрацами, простынями и т. д."

Завещание

"Как Шекспир относился к жене, видно уже из того, что он, распределив по завещанию до мелочи все свое имущество, оставил ей только вторую по качеству кровать".

Брандес

Удивляются, что Шекспир оставил Анне только вторую по качеству кровать, и забывают, что по английским законам жене и так полагается половина всего имущества умершего мужа, — вторая же по качеству кровать (на первой спали гости) была, видимо, дорогим сувениром, интимной памятью, которую умирающий муж оставил своей верной подруге".

Гервинус

"Правда, биографы утешают нас тем, что Анна Шекспир была все равно обеспечена законом, но по купчей крепости на покупку лондонского дома в районе Блекфрайса Шекспир отдельной оговоркой в купчей лишил жену права пользоваться доходами от этого дома".

Морозов

"В мезонине показывают большую кровать с покрывалом, принадлежащую, согласно преданию, Анне Шекспир. Мне вспомнились слова завещания:

"Жене моей я оставляю вторую по качеству кровать со всеми ее принадлежностями", и я спросил провожатую — не та ли это?

Женщина в черном не знала и даже конфузливо поправила очки..."

Ю. Беляев

"Я посетил в октябре дом Анны Хатвей — последней представительницы фамилии. Она сидела на стуле у очага, против той скамейки, где, по преданию, обыкновенно сидели ее влюбленные друг в друга предки. Пред ней лежала фамильная Библия. Вся комната была заполнена разнообразными портретами — Шекспира, Анны, знаменитых актеров, фотографиями предметов, якобы принадлежавших Шекспиру. Она жила в их мире. Они доставляли ей пропитание. Она объясняла назначение каждого из них. Однако на осторожный вопрос — читала ли она что-нибудь о Шекспире, воспоминаниями о котором она жила постоянно, она немного удивленно ответила: "Читать о нем? О нет! Я только Библию читаю!"

Брандес, "Шекспир", 1896

Но лежат они все равно рядом, и тут уж шекспироведы ничего поделать не могут.

"Старожилы рассказывают, что Анна Шекспир настойчиво просила похоронить ее в могиле мужа".

Дж. Роу, 1709

Вот так! Чтоб они там ни говорили!

НЕИЗДАННЫЕ ГЛАВЫ КНИГИ

КОРОЛЕВА

Мэри Фиттон — смуглая леди, как ее звали при дворце, домой вернулась ночью, а в 5 часов утра за нею приехал посланный королевы. У Мэри Фиттон шумело в голове, ее немного подташнивало, но она сейчас же оделась и вышла к посланцу.

Он, молодой, красивый, рослый, в великолепном кафтане, расшитом золотом, ждал ее в гостиной. Когда Фиттон быстро зашла в комнату, он занес правую руку и отвесил ей торжественный, но все-таки слегка иронический поклон по модному французскому образцу, то есть ткнул рукой в воздух и трижды притопнул, и Мэри Фиттон сразу же успокоилась — ничего серьезного.

— Что случилось, мистер Оливер? — спросила она, поворачивая к нему свою твердо выточенную, мальчишескую голову, всю в черных жестких кудрях. — Ее величество...

Со скорбной улыбкой посланец веско ответил:

— Ее величество опасно больна. Она лежит в постели.

— Когда ж это случилось? — спросила Фиттон. — Я видела ее величество только вчера. Она так хорошо себя чувствовала, что даже пела под цитру.

Они уже шли по лестнице.

Посланец молчал.

— Ничего не понимаю, — сказала Фиттон, глядя на него.

— Ее величество, — доверительно ответил Оливер, помолчав, — сказала сегодня лорду Бэкону, что нет

порока опаснее для монарха, чем неблагодарность подданного.

— Ах так, — Фиттон наклонила голову в знак того, что она поняла все. — Это опять Эссекс!

Молча они вышли на улицу, сели в карету.

Были первые часы морозного утра. Серебристый тонкий воздух лежал в каменных провалах улиц. Лондон спал, только кое-где еще курился нежный белый дымок.

— Ничего, — сказала Фиттон, — если дело только в этом, завтра ее величество будет опять здорова.

Она говорила так, а сама была серьезно удивлена. Королева не любила болеть и, несмотря на свои семьдесят лет, все еще считала себя молодой и прекрасной. Вот недавно было такое: приехал к ней посол шотландского короля Иакова V, вероятного наследника на британский престол. Его провели в зал и оставили одного. Тут посол услышал: в соседней комнате играют на цитре. Он подошел, открыл портьеру и увидел — королева танцует одна какой-то несложный танец. Он замер — это же был акт государственной важности — да так и простоял с полчаса, поддерживая портьеру и подглядывая. Королева все танцевала.

И Фиттон тоже как-то видела танцующую королеву, и теперь ее коробило от одного этого воспоминания. Королева была страшна своей семидесятилетней сухостью, вытянутым лошадиным лицом, сухими гневными губами, нескладной прической из толстых волосяных спиралей, ужасным платьем, фасон которого выдумала сама. Это платье вздувалось на плечах, на груди, безобразно путалось в ногах и походило на панцирь или кожу какого-то пресмыкающегося. Королева звучно дышала, и видно было, как под платьем ходили ее ребра. Пот струился по ее желтой засушенной коже. Но посол шотландского короля тогда смотрел внимательно и серьезно и только обтирался платком. Он-то понимал — это инструкция британского двора двору шотландскому. Английское

правительство передавало: король Иаков нескоро станет английским королем, вон как еще молода и прекрасна наша королева Елизавета.

Прекрасна! С тех пор, как королеве перевалило за пятьдесят, она стала особенно настаивать на этом — она прекрасна! Ее любовники стали особенно наглы, ее двор стал особенно бесстыден. И слегла-то она сейчас потому, что самый последний из любовников граф Эссекс усомнился в ее женских чарах. Тут Фиттон быстро припомнила все. Вот сейчас Эссекс самовольно вернулся из Ирландии, где он командовал карательной армией, заключил какое-то незаконное перемирие с главой повстанцев, бросил все, вернулся в Лондон, силой пробился во дворец, ворвался в покои королевы — ведь так и пришел, как был: в дорожном платье, с походной тростью — поднял королеву с кровати и целые два часа разговаривал с ней: она лежала, он сидел рядом и гладил ее руки. И так было сильно его обаяние, власть над этой старухой, что она забыла все, и они отлично провели два часа. А потом королева все-таки одумалась и отдала графа под суд.

А графу-то на все плевать! Вот его отрешили от должности, а он отсиживается в замке своего родственника. Собрал всех своих прихлебателей, друзей и подчиненных; они пьют и что-то готовят. Может быть, даже он хочет повторить этот фортель — проникнуть во дворец королевы и заставить ее слушать себя.

Рассеянно смотря в окно кареты, Мэри Фиттон припомнила и другое: королева тоже умна, она не возобновила графу откуп на сладкие вина, а откуп ведь главная статья его дохода. Если ему не возвратят его — граф разорен вконец. Ух, как тогда полетят его замки, его коллекции картин и драгоценных вещей! Ух, как они полетят.

Тут она заметила, что спутник внимательно смотрит на нее, и постаралась печально и скорбно улыбнуться.

— Но мне так жалко ее величество, — сказала она, кивая кудрявой черной мальчишеской головой. — Каким же надо быть негодяем...

— Не надо так говорить, — попросил он. — Королева еще сильна и прекрасна. У нее есть поклонники. Вот, передайте ей в удобную минуту. — Тут она увидела, что ей суют записку.

— Что это? — спросила она.

Записка была запечатана, но при первом взгляде на адрес у Фиттон дрогнули губы. Ах, так вот что! Это пишет ее последний любовник — граф Пембрук. Это он теперь хочет вместо Эссекса залезть в королевскую спальню. И молодец, выбрал же подходящее время! Ну что ж, этот мальчик далеко пойдет. Она-то знает его!

— Хорошо, — сказала она. — Я передам. — А сама, презрительно поджимая губы, подумала, что так ему и надо, этому наглецу. Он был моложе ее на шесть лет и стыдился этого. Так вот его будущая любовница будет старше его на сорок семь лет. Ух, как это противно! Она даже губу закусила. Но тут карета вдруг сильно дернулась и остановилась. Это они подъехали к дворцу.

* * *

Шторы были опущены, и в комнате стояли скользкие подводные сумерки. Сильно пахло духами и еще чем-то тонким и едким — уксусом, должно быть. Королева лежала в постели. Рыжие волосы и желтое, уже явно старческое, сухое, недоброе лицо, с резким чеканным, почти монетным профилем, ярко выделялось на белой подушке. Королева лежала одетой. На ней было платье с широкими рукавами, безобразно утолщенное в плечах и талии, и напоминала она упавшую летучую мышь.

Тонко и пронзительно где-то по сухому дереву стучал жучок. Ох, недобрая же это была примета!

Фиттон вошла, прижимая к груди руки.

— Ваше величество, — сказала она растерянно и преданно и в то же время зорко поглядела на королеву.

На постели, у сложенных рук королевы, лежал требник, но открыт он был не на молитве, а на многокрасочной иллюстрации. Вот — изображала она — королева, царственно гордая, прямая, стоит на коленях и простирает руки к небу, под коленями у нее подушка. На другой подушке скипетр и корона. Никто лучше королевы не умеет так царственно гордо стоять на коленях перед Богом. Когда королева молится, тогда и Бог почему-то кажется не вполне Богом и королева не кажется уж больно коленопреклоненной.

— Ваше величество, — повторила Фиттон.

— Я ждала вас, мой мальчик, — проскрипела старуха с кровати. — Вы чрезвычайно доверчивы, и мы из-за этого с вами не раз ссорились. Так вот я хочу, чтоб вы сейчас услышали про благодарность того ничтожного и вздорного человека, которого я... Да, прошу вас, милорд.

Полог около изголовья дрогнул, раздвинулся, и обозначилась фигура человека. Он, очевидно, нырнул в тяжелые матерчатые складки его, как только услышал звон колокольчика и шаги. Человек этот, приветствуя Мэри, слегка наклонил голову, и в ту же секунду Фиттон узнала его: лорд-канцлер сэр Бэкон. Пришел в ранний час — значит, с экстренным докладом и поэтому хочет все говорить при свидетелях.

Человека этого Мэри, как, впрочем, и весь двор, терпеть не могла, но опасалась смертельно. А ведь он был добродушен, отменно вежлив и тих. Никуда не лез и как будто ничем не интересовался. Но знал все и поспевал повсюду. Был действительно беззлобен и если кого-нибудь топил, то делал это по необходимости. Но в свое время его самого втащил во дворец граф Эссекс — для него тогда не было ничего невозможного — и сейчас лорд Френсис Бэкон будет именно за это топить графа. Надо же показать королеве

свою беспристрастность и верность короне. И Фиттон подумала: это будет очень ласковое, обходительное и вполне мотивированное убийство. Лорд — великий любитель чистоты и никогда не делает ничего грубо, грязно и небрежно. Он философ, и в его объемистых фолиантах никогда не было еще замечено ни одной опечатки. Все в них чисто и гладко, все радует глаз. И так же гладко и мягко, как бы само собой, катилась легкая колесница его придворной карьеры — направляемая не то десницей всевышнего, не то тонкой и сильной рукой лорда.

— Да, я слушаю, милорд? — повысила голос королева, так как лорд что-то замешкался.

— Таким образом, ваше величество, из всего, что мы знаем, — методически ровно и бесстрастно заговорил господин, — картина предполагаемых событий выясняется с достаточной ясностью. Граф Эссекс выступает открыто. Мятежники стягивают силы, чтобы двинуться ко двору. Если в настоящее время ими еще ничего и не предпринято, то причины на это, как я обратил уже внимание вашего величества, особые: они ожидают прибытия шотландских послов. Тогда от имени вашего наследника, короля Иакова, они обратятся к народу, сколотят воинскую силу, захватят дворец и принудят ваше величество к принятию их условий. Трудно сказать, насколь сильны их зарубежные связи, но возможно, что и ваш наследник передал своим посланцам соответствующие инструкции. По моим сведениям, — добавил он, помолчав, — дело обстоит настолько серьезно, что разговор может идти об отречении вашего королевского величества в пользу шотландского короля.

— Чудовищно! — спокойно воскликнула королева. — Поистине чудовищно. Если бы я не знала Эссекса, я бы подумала, что вы бредите.

— Да, но ваше величество знает, что я, к сожалению, совершенно здоров, — слегка улыбнулся Бэкон. — Какие юридические основания будут приводить мятежники, я не знаю. Возможно, они будут

9–2280

ссылаться на то, что ваше величество нарушает кое-какие пунктики протокола Иоанна Безземельного. — Тут и королева улыбнулась: ах, лиса, лиса! Ведь это он так обозвал Конституцию. — Возможно же, что они просто потребуют удаления от вашего величества всех верных слуг.

Королева потянулась и подняла черный серебряный кубок с каким-то отваром. Ее крепкая, старческая рука в синих жилах и подтеках дрожала, и Мэри чуть не бросилась ей помогать.

Королева долго пила, отдуваясь и тяжело дыша. Потом поставила кубок, тяжело откинулась на подушки и словно заснула.

— Я думаю, мистер Френсис, — сказала она, медленно открывая неподвижные глаза, — что, может быть, все-таки это одни разговоры. Граф любит кричать, а на деле...

Она открыла рот и положила за длинный малиновый язык прохладительную лепешечку.

Сэр Френсис поклонился. Невероятно гибок и точен в движениях был этот сэр при своей толщине и одышливой солидности.

— Мне очень неприятно противоречить вашему величеству, — сказал он твердо, — но дело все-таки много серьезнее простой болтовни.

Он бросил быстрый взгляд на Фиттон и осекся, совершенно явно показывая, что он мог бы и продолжить, — но вот фрейлина здесь, а она ни к чему.

"Ах, скот, — быстро подумала Фиттон, — и как, однако, хочется ему утопить Эссекса. А ведь если бы не граф, кем бы ты сейчас был?"

Она взглянула на королеву. Та неотрывно смотрела в лицо сэра Френсиса.

— Вы можете говорить все, Френсис, — сказала она. — Моя фрейлина нам не помешает.

— Тогда разрешите вашему величеству повторить то, о чем я час тому назад имел честь докладывать графу Сесилю.

"Скот, скот, — опять подумала Фиттон. — И ведь знает, на кого сослаться. — На Сесиля. Ну, конечно, один любовник сожрет другого. Сесиль только и ждет удобной минуты."

— Да-да? — сказала королева. — Слушаю.

Бэкон сделал шаг к кровати.

— Дело зашло так далеко, — сказал он, понижая голос, — что в театре "Глобус", принадлежащем известным вам актерам Ричарду Бербеджу и Виллиаму Шекспиру, заказана возмутительная пьеса "Ричард II". Она должна идти в то время, когда мятежники выйдут на улицу к черни.

Мэри Фиттон увидела, как у королевы дрогнули губы. Он еще не кончил, а она уже села на кровати, сухая, вытянутая, жесткая, совсем не такая, как на портретах. Тонкие губы ее были сжаты, и она смотрела на Френсиса. Имя Ричарда II, недостойного, но законного короля, свергнутого с престола и потом заморенного голодом в тюрьме, было не в ходу при дворе. Как-то так получилось само собой: говорят Ричард II, а понимается Елизавета. Фиттон видела, как серьезно обстоит дело: вот, даже народ вовлекается в эту авантюру. Ведь именно этого они и хотят достигнуть представлением этой старой трагедии.

— Так что же это все значит, сэр Френсис? — спросила королева, понимая уже все.

Он слегка пожал плечами.

— Это ясно. Они хотят поднять чернь. Для этого им и нужна эта старая пьеса о свержении монарха. Мне передавали такой разговор. Лей сказал Эссексу: "Что вы теряете время, вот во Франции герцог Гиз в одном белье, крича, пробежал по улицам Парижа. Но он обратился к черни, и через день король должен был бежать, в одежде монаха. Но у Гиза было восемь человек, а у вас триста. Народ вас любит. Я отвечаю за все. Будьте только смелее."

— А кто этот Лей? — спросила королева.

— Капитан ирландской гвардии графа, который и сейчас находится при нем. Его верный пес, — значительно ответил сэр Френсис.

— Черт! — Королева сильным жестким кулаком стукнула по подушке. — Значит, у него есть уже и войска. Что же вы молчите?

— Ваше величество, — серьезно и даже строго сказал Френсис, не отвечая на вопрос. — Я клялся перед всевышним на верность моей королеве, и вот я теперь говорю — медлить нельзя! Медлить нельзя!

Помолчали.

— А этот актер, Шекспир, он знает, зачем ему заказана постановка?

Сэр Френсис добросовестно подумал или, вернее, сделал такой вид.

— Ну а об этом мы можем гадать, ваше величество, — сказал он очень резонно. — Но скажем так: этот актер — дворянин. Дворянин. Дворянством своим обязан только графу, пишет какие-то довольно ходовые любовные пьесы по итальянскому образцу — все любовь, дуэль — профанам это нравится больше, чем Сенека, и вот он состоит под особым покровительством Эссекса; падение графа ему очень неприятно. Ну кто же знает, может, они и посвящены в самое главное?

Королева обернулась к Фиттон.

— Вот, это все ваша высокая протекция, — сказала она недовольно.

Тут уж Фиттон по-настоящему удивилась.

Никакого отношения она к устройству придворных праздников не имела. Откуда королева знает о ее былой близости с Шекспиром? Только видела разве, как они разговаривали, но если об этом идет разговор, то с их последней встречи прошло уже сто лет. Она наклонила голову.

— Простите, ваше величество.

Но королева на нее уже и не смотрела. Она только слегка кивнула ей головой. Сказала резко:

— Представление прекратить! Актеров в тюрьму.

— И графа туда же? — быстро спросил сэр Френсис.

Королева только секунду помедлила с ответом. Но в эту секунду, поглядев на ее жестко сомкнутые, неподвижные, почти геральдические черты, Фиттон решила: нет, не помирится. Уже кончено все.

— А Эссекса я трогать не буду. Я вас пошлю к нему, сэр, — неожиданно сказала королева. — Да, да. Вас, вас! Его друга и постоянного заступника.

— Тут я осмелюсь противоречить вашему величеству, — со скромным достоинством возразил Френсис, — я никогда не покровительствовал бунтовщикам.

— Вас, вас и пошлю! — не слушая, раздраженно повысила голос королева. — Раньше он мне не давал покоя из-за вас, теперь вы, сэр, не даете мне покоя из-за него. Вы пойдете к нему и скажете... — Она все выше и выше поднималась на кровати, голос ее крепчал, — что я требую! — она ударила молитвенником по подушке, — немедленно прекратить все эти сборища и не вербовать всякую сволочь. Недоволен он? Так пусть ждет. Когда поостынет мой гнев, я сама поговорю с ним! Хочу я посмотреть, что он мне тогда ответит?

Она раздраженно отбросила молитвенник и даже не заметила этого.

— Мне можно идти, ваше величество? — спросил сэр Френсис, отступая к дверям.

Королева молчала. Потом сказала:

— Идите, — и махнула рукой.

Он был уже на пороге, когда она окликнула его.

— Стойте! Никуда не идти. Я скажу, когда и что надо будет сделать.

— Слушаюсь, ваше величество, — поклонился сэр Френсис.

И, помолчав, осторожно спросил:

— А что же актеры?

— И актеров не трогать. Я хочу посмотреть, чем все это кончится. Только за этими двумя, Шекспи-

ром и Бербеджем, установить надзор. Проследить, не будут ли они встречаться с графом.

Она помолчала и сказала глухо, будто выпалила:

— Идите, сэр!

* * *

Сэр Френсис ушел. Королева поглядела на Фиттон.

— Мэри! — сказала она вдруг надрывно и нежно.

Фиттон подошла к ней быстрыми маленькими шагами, опустилась на колени и, целуя руки, уткнулась лицом в блестящее шелковое одеяло. Она услышала запах уксуса, потом каких-то тяжелых, томительных духов, и было такое кратчайшее, но ужасное мгновение, когда ей показалось, что она целует руки покойницы. Везде стоял тонкий, острый, похожий на аромат гиацинтов, запах гнили.

Королева положила на голову Фиттон сухую, твердую руку и провела по волосам.

— Старая, бесплодная ветвь, — горько сказала она о себе. — Так я и засохну вместе со своей династией. Все возьмет сын этой распутницы.

Это она говорила о Марии Стюарт и о сыне ее Иакове V, которому она хотела завещать свой престол. И Фиттон стало ясно: королеве действительно очень плохо, если она вспоминает о них.

— Ваше величество, — сказала Фиттон растерянно и, плача, стала порывисто целовать ее руки, — разрешите тогда и мне покинуть эту несчастную землю вместе с моей повелительницей?

Жесткие сильные руки, с длинными, почти птичьими ногтями поползли по ее голове и остановились на висках. Королева подняла голову фрейлины и глубоко заглянула в ее черные, чуть матовые глаза.

— Нет, мой кудрявый мальчик, вы будете жить. Вы узнаете еще много горя и счастья, и когда ваша старая монархиня отойдет к Господу... — Мимоходом она все-таки взглянула на себя в зеркало — эта фигура старой, умирающей королевы, которая гла-

дит по волосам коленопреклоненную красавицу, была чрезвычайно эффектна, и Мэри сразу же заметила этот взгляд, оценила положение и приникла к ее коленям.

— Не верьте людям, — сказала королева торжественно и твердо. — Вот, посмотрите на этого джентльмена. Граф за уши вытащил его из ничтожества, он дарил этому псу земли и дворцы, это на его деньги он сейчас живет, он ни днем, ни ночью не давал мне покоя, все время твердя об этом борове (королева, несмотря на свою редкую ученость, любила крепкие словечки), — а теперь этот ученый муж — самая лучшая голова Англии, так называл его граф, — сам же его и топит.

Мэри молчала. Она вдруг подумала: нет, Эссекс еще всплывет. И кто знает, как повернется тогда дело?

На всякий случай она сказала:

— Ваше величество так добры, что и сейчас заступаетесь за виновного.

— Да, да, — сказала королева. — Да, да, вот вам слабое женское сердце. А находятся же люди, которые говорят, что их королева никогда не знала любви. Как это написал твой Шекспир?

Леди Фиттон подняла голову, лицо ее пылало, а по щекам текли слезы. Грудным, гибким голосом, который казался таким же матовым и смуглым, как ее кожа, она прочла:

Клятвою своею
Сокровище лишает целый свет.
Измученная пыткою голодной,
Для мира сгинет красота бесплодной
И красоты лишит грядущие века!
Да! Хороша она и высока,
Высоко-хороша! Святыни, поклоненья
Достойная! Увы! На горе и мученье
Она дала обет ни разу не любить.

— Нет, к сожалению, не так, — сказала королева, — не так, не так, не так. Я женщина, и я люблю. А он торгует моей любовью и моим престо-

лом. Он сносится с сыном распутной мужеубийцы и хочет при моей жизни отдать ему престол, а меня придушить, как крысу в подполье. Как этого Ричарда, пьесу про которого ставит твой негодяй комедиант.

Она действительно походила на летучую мышь, в своих длинных черных одеждах. Глаза ее были печальны. "Сейчас самый раз", — подумала Фиттон и вынула письмо.

— Ваше величество, есть люди, которые ставят вашу красоту превыше всего. Разрешите мне прочесть.

— Дитя, дитя, — сказала королева, снисходительно улыбаясь. — Что вы в этом понимаете? Я так его любила, а теперь он... Ах, как же он будет каяться и плакать, каяться и плакать, — добавила она медленно и плотоядно, — но тогда ему уже ничего не поможет. — Она покачала головой. — Читайте письмо.

Фиттон стала читать.

Королева сидела неподвижно, положив на колени широкие кисти рук, которые приобрели уже жесткость и отточенность когтей хищной птицы.

Фиттон она будто не слушала. И только раз подняла голову.

— Постойте! Как хорошо он пишет, — сказала она медленно.

"Прекрасная красота ее величества является единственным солнцем, освещающим мой маленький мирок". Ах, как хорошо это сказано! Это Пембрук, конечно?

Фиттон кивнула головой.

— Когда это все кончится, ты приведешь его сюда. Слышишь?

— Слышу, ваше величество, — сказала Фиттон и положила письмо на кровать.

Ей надо было торопиться. Сегодня будет представление, надо же предупредить Шекспира. Пусть сейчас же уезжает из Лондона.

"Меланхолия и веселость владеют мной попеременно; иногда я чувствую себя счастливым, но чаще я угрюм; время, в которое мы живем, непостояннее женщины, плачевнее старости; оно производит и людей, подобных себе: деспотичных, изменчивых, несчастных; о себе скажу, что я без гордости встретил бы всякое счастье, так как оно было бы простой игрой случая, и нисколько бы не упал духом ни при каком несчастье, которое постигло бы меня, ибо я убежден, что всякая участь хороша или дурна, смотря по тому, как мы сами ее принимаем."

(Из письма Эссекса к леди Рич.)

В замке было много комнат — и огромных, и малых, и даже несколько зал. Одна, что поменьше, — для фехтования, другие, очень большие, для пиршеств и иных надобностей. Эссекс засел в самой маленькой, удаленной от всего каморке, — почти под самой крышей — и с утра никуда из нее не показывался. В фехтовальной зале (там и собрались все заговорщики) передавали, что он все время сидит и пишет, но вот кто-то зашел к нему и увидел: что Эссекс написал, то он и изорвал тут же. Вся комната была усыпана как будто снежными хлопьями, а сам он ходил по ним, хмурился и думал, думал. А так как думать сейчас было уже не о чем, то внизу встревожились и пошли посмотреть; остановились около двери, послушали — шаги за дверью звучали не отчетливо-мелко и звонко, как всегда, а падали — медленные, мягкие, очень утомленные. О чем он думает? Говорят — пишет письмо королеве — требует объяснения. Да полно — письмо ли он пишет? Не завещание ли составляет?

В общем, в фехтовальной зале было очень мрачно и тяжело, и никак не помогало то, что заговорщики зажгли все свечи. Разговоры не вязались, ибо каждый думал о своем. Но свое-то у всех было одно, об-

щее для каждого, и если до этой проклятой мышеловки об этом своем можно было говорить долго, красочно и интересно, то теперь оно уменьшалось до того, что свободно укладывалось в короткое слово "конец".

— Конец, — сказал граф Блонд и тяжело встал с кресла. Все молчали, он пояснил: — Так и не показывается из комнаты, еще утром я надеялся на него, а сейчас...

Он подумал, усмехнулся чему-то и, словно недоумевая слегка, развел полными, почти женскими кистями рук с толстыми белыми пальцами.

В большой зале было сыро, от света больших бронзовых подсвечников на полу наплывали прозрачные пятна и целые озера света, но и через них Бог знает откуда струилась та уверенная безнадежность, которую один Блонд принимал так полно, ясно и спокойно, что, казалось, иного ему и не требовалось.

Он прошелся по зале, поправил перевязь шпаги (все были подтянуто и подчеркнуто одеты, как на парад) и вдруг, словно вспомнив что-то, спросил:

— А актеры не приходили?

Ему сказали, что один пришел и его провели наверх, к графу. То, что актер все-таки пришел, было таким пустяком, о котором и говорить-то серьезно не следовало, но Блонд вдруг оживился.

— Вот как, — сказал он бодро, — и не испугался! Ай да актер! Как же его зовут?

Ему ответил начальник личной стражи графа — высокий, костлявый ирландец с красиво подстриженной бородой и быстрыми, стального цвета, пронзительными глазами.

— Кто он — не знаю, фамилию он сказал, да я забыл. Кажется, что-то вроде Шекспира. Но молодец! Так стучал и требовал, чтобы его провели к самому графу, что я подумал — не иначе как из дворца.

— Если это Шекспир, то он, верно, может кое-что знать, — сообразил Ретленд, едва ли не самый молодой из заговорщиков. — Он все время трется около

Пембрука, а этот гаденыш уже ползет на брюхе в королевскую спальню.

— Вот как, — удивился Блонд, хотя он знал, конечно, много больше Ретленда. — Интересно!

— Да, этот время не теряет, — ответили ему сразу несколько голосов, — теперь Пембрук обрадовался, нанял всех стихоплетов, и они сидят и строчат любовные сонетки.

— И все равно не пролезет! — вдруг разом зло ощерился Блонд. — Ее величество помнит историю с этой цыганкой! Граф! Хорош граф! При покойном короле Генрихе VIII (да будет благословенна его память!) их бы обоих выгнали воловьими бичами из города.

— А теперь они при дворе! — времена переменились.

— Что говорить — был бы этот великий государь жив, и мы не собирались бы тут, — вздохнул Ретленд; он был высоким, длинным, светловолосым молодым человеком. До сих пор он тихо сидел в кресле и о чем-то думал, а теперь вдруг встал.

— Пойду к графу, — сказал он на ходу, — посмотрю на этого актера.

Он вышел.

Граф Блонд прошелся по зале.

— Нет, любопытно, любопытно, — сказал он задумчиво и заинтересованно, — весьма, знаете ли, любопытно. А значит, он все-таки пришел! Не побоялся! Молодец! Если в толпе найдется хотя бы сотня таких...

Он остановился среди залы, посмотрел на свои руки и докончил:

— ...сотня хороших горланов из черни, дело может пойти совсем-совсем иначе. Это великая сила — чернь! Скажите, пожалуйста, все-таки пришел. Нет, как хотите, но это очень-очень хорошо!..

Шекспир вошел и осмотрелся.

Говорили, граф ходит, а он не ходил, он сидел и писал. Только когда они вошли — он и начальник

охраны, — граф поднял на минуту голову и кивнул Лею, отпуская его.

Лей вышел.

Шекспир к столу не подошел, а остался стоять около двери. Эссекс все писал и писал, низко наклонив голову. Его рука безостановочно, хотя и не быстро, шла по бумаге. Только раз, когда Шекспир отодвинул мешающий ему стул, он поднял глаза, посмотрел и улыбнулся так, что только слегка наморщилась одна щека. Это значило — пусть Шекспир обождет: он рад ему.

— Так как с Ричардом II? — спросил Эссекс через полминуты, не отрываясь от бумаги.

— Как вы приказали, — ответил покорно Шекспир, — я уже снял "Ромео".

Он стоял около стены, заложив руки за спину.

— Деньги вам заплатят сегодня же, — сказал вдруг Эссекс. — Десять фунтов. Я уже дал распоряжение моему казначею.

— Благодарю вас, ваша светлость, — серьезно ответил Шекспир.

Продолжая писать, Эссекс коротко кивнул ему головой. Потом, кончив страницу, оторвался от бумаги, посмотрел на Шекспира и улыбнулся широко и открыто.

— А вы садитесь, мистер Шекспир, сейчас кончу, и тогда... Одну минуту! — Он продолжал писать. Шекспир сел на стул, вынул платок и обтер влажный лоб. Он был высоким, тучным, любил ходить быстро и потому летом изрядно потел.

В эти же дни он сильно волновался, но ему не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил это. Вот сейчас Эссекс сказал: "Мы вам заплатим", — и он спокойно и очень деловито ответил, что очень хорошо, если заплатят: деньги театру нужны — все так, как будто ничего не произошло и он ничего не подозревает. Этого тона и следует держаться. Было темновато. Пучок свечей — в бронзовых, узорных канделябрах с итальянскими хитрыми грифонами освещал только стол, русые во-

лосы графа и желтую кипу бумаг. Граф был одет очень просто — в черный костюм с широким поясом. На столе поверх кипы стояла высокая чаша, сделанная из продолговатого страусового яйца и по ней тоже вились строченой серебряной чернью пальмовые листья, виноградные гроздья и какие-то плоды.

"Как череп среди бумаг", — медленно подумал Шекспир о чаше. Он уже успокоился. Было в этой обстановке, в набросанных бумагах, склоненной голове спокойно пишущего и обреченного человека, в его скромной, черной, совсем простой одежде что-то такое, что наводило на мысль не о восстании и гибели, а о другом — спокойном, глубоком и очень удаленном от всего, что происходит на дворе и в фехтовальной зале.

Так, при взгляде на бумаги ему почему-то вдруг вспомнились и его бумаги, и его незаконченная трагедия, та самая, что вторую неделю валяется на столе и никак к ней не может он подступиться. Первую сцену он написал сразу, а потом заело, и теперь не пишется. То была свирепая история о датском принце и о том, как он зарезал подосланного к нему шпиона; кровь спустил, а тело сварил и выбросил свиньям. Принц притворялся безумным для того, чтобы можно было безнаказанно убивать своих врагов, а может быть, верно был сумасшедшим, ибо он обладал даром пророчества. Разобраться было трудно, и он не знал, что надо было делать с таким героем. Непонятно, как старый, опытный хронограф мог им восхищаться. А пьеса должна была быть доходной, ибо в ней были и духи, и дуэли, и отравления, и убийство преступного отчима, и поджог замка, и даже такая диковинка, как театр в театре. Сейчас он думал, что пылкому и веселому Ричарду Бербеджу очень трудно придется в этой роли отцеубийцы и поджигателя. Но что делать? Именно такие пьесы и любит публика. Надо, надо найти ключ к герою — понять, кто же он есть на самом деле, объяснить его поступки.

Он смотрел на Эссекса.

Эссекс вдруг бросил перо и встал.

— Ну, все, — сказал он с коротким вздохом. — Готово! — Он слегка махнул рукой. — А как ваша новая датская хроника, сэр? — Он особенно выделил слово "сэр", ведь именно ему был обязан Шекспир своим дворянством.

— Пишу, — ответил Шекспир, присматриваясь к бледному лицу графа, с которого глядели на него быстрые, беспомощные глаза. — Все пишу и пишу.

— Ах, значит, не удается? — весело спросил Эссекс. — Ну, ничего, ничего. Вы молодец! Я всегда любил смотреть ваши трагедии. А эта хроника — ведь она о цареубийстве, кажется? А? Года два тому назад шла в вашем театре трагедия об том же Гамлете. Так ведь и вы пишете об этом? Так, что ли?

— Так, — сказал Шекспир.

— "Гамлет, отомсти!" — вдруг вспомнил Эссекс и засмеялся. — Вот все, что я запомнил. — Он подумал. — Два года, говорю? Нет, много раньше. И шла она не у вас, а у Генсло. Там, помню, выходил на сцену здоровенный верзила в белых простынях и эдак жалобно скулил: "Отомсти!" Словно устриц продавал. Дети плакали, а было смешно.

Драпировка у двери заколебалась, и вошел Ретленд.

Эссекс повернулся к нему.

— Вот мистер Виллиам зовет нас к себе в "Глобус", — сказал он весело. — Обещает скоро кончить свою трагедию. Пойдем, а?

Ретленд сухо пожал плечами.

— Нет, пойдем, обязательно пойдем, — засмеялся Эссекс. — Правда? — Он подошел к Ретленду и положил ему руку на плечо. — Ну, так как же наши дела?

— Мы ждем, когда вы кончите писать, — сдержанно ответил Ретленд.

— Ничего, ничего, — ответил Эссекс, не желая понимать его тон. — Только вы не вешайте голову. Мы еще поживем, еще посмотрим хронику нашего друга! Мы еще многое посмотрим! "Гамлет, отомсти!" —

вдруг прокричал он голосом тонким и протяжным, и губы у него жалко дрогнули, а глаза по-прежнему смеялись. — "Отомсти за меня, мой Гамлет!" Как жалко, — обратился он к Шекспиру, — что завтра в вашем "Ричарде II" не будет таких слов.

— А они были бы нужны? — вдруг очень прямо спросил Шекспир.

— Очень нужны. Ах, как они были бы нужны мне завтра!

Ретленд нахмурился — его друг болтал, как пьяный. Он никогда не мог понять близость Эссекса к актерам, зачем граф так любит проводить с ними столько времени? Что ему от них нужно? Разве компания ему эта голоштанная команда? Конечно, что говорить, театр — вещь отличная. Он сам мог неделями не вылезать из него. Только менялись бы почаще постановки. Но одно дело актер на сцене, когда он наденет королевские одежды и копирует великого монарха, а другое дело, когда он пришел к тебе, как к равному, да и развалился нахал нахалом в кресле. Что ему нужно? За подачкой пришел? Так дай ему, и пусть он уходит. Да еще добро, актер бы был порядочный, а то актер-то такой, что хорошего слова не стоит. Вот верно говорит Эссекс: "Гамлет, отомсти!" Дальше-то этого ему и не пойти. Играет тень старого Гамлета в чужой трагедии, а своего "Гамлета" напишет и все равно дальше тени не пойдет. Вот какой он актер! А к тому же выжига и плут первой степени. Деньги дает в рост под проценты, скупает и продает солод, земельными участками торгует, дома закладывает. На все руки мастер, этот актер, только вот жаль — играть порядочно не умеет. Слуги да призраки — и все его роли. Дворянство ему достали, так теперь он и рад стараться, лезет в дом и руку сует: "сэр Шекспир". Он угрюмо посмотрел на Эссекса. Тот сразу же понял его взгляд.

— Я сейчас сойду вниз! — сказал он мирно. — Только поговорю с сэром Виллиамом о завтрашнем представлении.

Ретленд повернулся, пожал плечами и вышел из комнаты. Эссекс подождал, пока занавес на двери перестал колыхаться, и подошел к Шекспиру.

— Вот, мистер Виллиам, какое дело-то, — сказал он. — Приходится обращаться к вам... Опасное это дело для вас, но... что же возьмешь с актера! Пьеса ведь разрешена. — Он вдруг горько усмехнулся. — Да, дорогой, завоеватель Кадикса, усмиритель Ирландии — и обращается к черни! Ну и что же — ладно! Я довольно жил и всего навидался. Да! И хорошее, и плохое! Все, все видел, — он говорил теперь медленно, вдумываясь в каждое слово. — Я солдат, милый Виллиам, а английские солдаты что-то сейчас не любят умирать в постели. Даже и в королевской!

Он поднял голову, посмотрел на Шекспира и вдруг по одному тому, как граф медленно и сонно опускает и поднимает веки, Шекспир понял, как страшно устал этот человек, как ему все надоело, все раздражает и хочется только одного, чтобы, наконец, все кончилось и он спокойно мог лечь и выспаться.

— Пусть, пусть, — сказал вдруг Эссекс громко и запальчиво, но так, словно говорил сам с собой. — Я прожил довольно, чтобы узнать, что на свете нет ни плохого, ни хорошего. Все тень от тени, игра случая. Меняется только мое отношение! Люблю я женщину — она хороша, надоела мне — она уродка. Вот и шестидесятилетняя ведьма тоже мне казалась красавицей, и даже вы ведь для нее мне стихотворение писали.

Он заглянул в глаза Шекспира.

— "Да, нет ни зла, ни блага, все хорошо, когда оно приходит вовремя" — это ваши слова, сэр Виллиам, — он подумал, — все благо! — и повторил медленно: — Ну ладно, а смерть — путешествие туда, откуда никто не возвращается. Что же оно, всегда зло, как вы думаете?

— Зло, — ответил Шекспир уверенно, — всегда зло.

— Вы так любите жизнь?

— Я люблю жизнь.

— Как будто бы?! — прищурился Эссекс. — А вот я знаю, вы хотели покончить с собой, когда от вас ушла

ваша цыганка, даже сонет написали, прощальный, чтоб оставить потом его на столе. Последнее время я все твержу его. Нет, нет, не оправдывайтесь, я знаю это. И все-таки вы говорите, что жизнь всегда благо? — Шекспир молчал. — Ну, хорошо, — пусть будет так, а вот мне надоело, и не спрашивайте что, ибо все, все мне надоело. Дворец, сплетни, интриги, злая, лживая, рыжая ведьма, что вертит государством, этот мой подлый друг, лорд Бэкон в золотых штанах, которого я, если бы остался в живых, вздернул на флюгере моего замка так, чтобы его сразу увидел весь Лондон, — эта ваша чертова возлюбленная, которая, как мне доподлинно известно, подсовывает в мою постель своего недоразвитого еще любовника, этот парламент, который стоит не больше, чем та сволота, которую я хочу завтра натравить на дворец, э! — да все мне надоело, все, все, — вот она — дряхлость мира. Я радуюсь, что, наконец, все это кончится. Уж два года, как Бог отвернул от меня свое лицо. А помните, как вы когда-то приветствовали меня в прологе к "Генриху V"?

— Я и сейчас скажу — вы любимец Господа, ваша светлость, — робко возразил Шекспир.

— А я вам говорю, — вдруг запальчиво крикнул Эссекс и злобно стукнул кулаком об стол, — я вам говорю, Господь забыл меня! Да, впрочем, нет, он никогда не помнил обо мне. Молчите, молчите, — приказал он быстро и суеверно, — ибо что вы обо мне знаете? Когда я еще был мальчишкой, моя матушка отравила моего отца по научению своего любовника, а он уже в то время был еще и любовником королевы, — он подумал и гадливо поморщился. — Той самой королевы, которая через двадцать лет стала и моей любовницей. Тьфу, гадость! — его лицо снова передернулось. — А правду о смерти отца я узнал, когда об этом шептался весь дворец, но не нашлось никого, кто бы мне крикнул тогда: "Гамлет, отомсти!" Только раз королева в тихую минуту вдруг вкрадчиво спросила, любил ли я свою мать.

— А вы не любили ее? — тихо спросил Шекспир.

— Мою мать? Любил ли? — Эссекс неподвижно прямо смотрел на него. — Это была страшная женщина, Виллиам, — сказал он совершенно спокойно. — Нет, нет, не так я говорю! Не страшная, а наоборот, постоянно ласковая и благосклонная, с вечной улыбкой, такой доброй, сочувственной и всепонимающей. И вы знаете, она не лгала, она действительно была такой и в то же время, ей-Богу, я не знаю, пожалела ли она кого-нибудь хоть раз в своей жизни, а уж правду-то никогда не говорила, хотя и врала, если разобраться, совсем немного. — Его вдруг опять передернуло. — Я помню первые три ночи после смерти отца. Она приходила ко мне, и лицо ее пылало от слез. "Мой сын, — говорила она мне и клала голову на руку. — Мой взрослый, умный сын", а труп отца лежал в гробу, обряженный и готовый к погребению, а я ничего не знал, но смотрел на нее и думал: вот она отняла у меня все, все мое детство, всю мою жизнь, все мои радости. После этих трех ночей я как-то сразу стал взрослым. Э, да что говорить...

— Ну, — сказал Шекспир, — разве можно так унывать?

Эссекс резко махнул рукой.

— Нет. Все равно, — сказал он, — мне все равно не жить среди этой веселой сволочи... Если уж Пембрук залез во дворец, мне пора уходить... Вот я все время твержу один ваш сонет, хоть он и написан не для меня, а для него... — И он прочел громко и отчетливо:

Зову я смерть.
Мне видеть невтерпеж
Достоинство просящим подаянье,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И произвольной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца-пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И добродетель в рабстве у порока,
Все мерзостно, что вижу я вокруг...

Дверь быстро отворилась и, взметывая ковры, вошел Ретленд.

— Комиссар от королевы, — сказал он, — вам нужно сейчас спуститься... я сам расплачусь с мистером Шекспиром.

Эссекс кивнул головой и пошел было из комнаты, но потом вдруг вернулся, подошел к Шекспиру и положил ему на плечи обе руки.

— Прощайте, — сказал он очень сердечно, — иду! Слышите, как они орут! Этак они, пожалуй, с перепугу выбросят всех из окон. До того растерялись, что готовы хоть сейчас пойти на штурм. Но вот что я хотел сказать: когда вы напишете, наконец, свою датскую хронику... — Он вдруг приостановился, вспоминая.

— Что? — спросил Шекспир, подступая к нему.

Ретленд стоял между ними и тянул за руку Эссекса.

— Одну минуточку, — сказал Эссекс. — Да... так что же я хотел сказать? — Он опустил голову и добросовестно подумал. — Что я хотел сказать такое? Датская хроника?.. Да нет, при чем она тут?.. Ах, вот что, пожалуй... Когда вы... — Снизу снова раздались крики, громкие, несогласованные, яростные.

— Слышите? — тревожным шепотом крикнул Ретленд.

— Ну, ну, говорите! — сказал Шекспир почти умоляюще. — Что же?

Эссекс посмотрел ему прямо в лицо.

— Нет, забыл! — сказал он кротко и твердо. — Совсем забыл! Хотел что-то и не помню. Ну, идите, идите. Теперь со мной быть опасно. Ретленд расплатится, а Лей проводит вас через двор, так, чтобы никто не видел. Идемте, Ретленд.

И он быстро вышел.

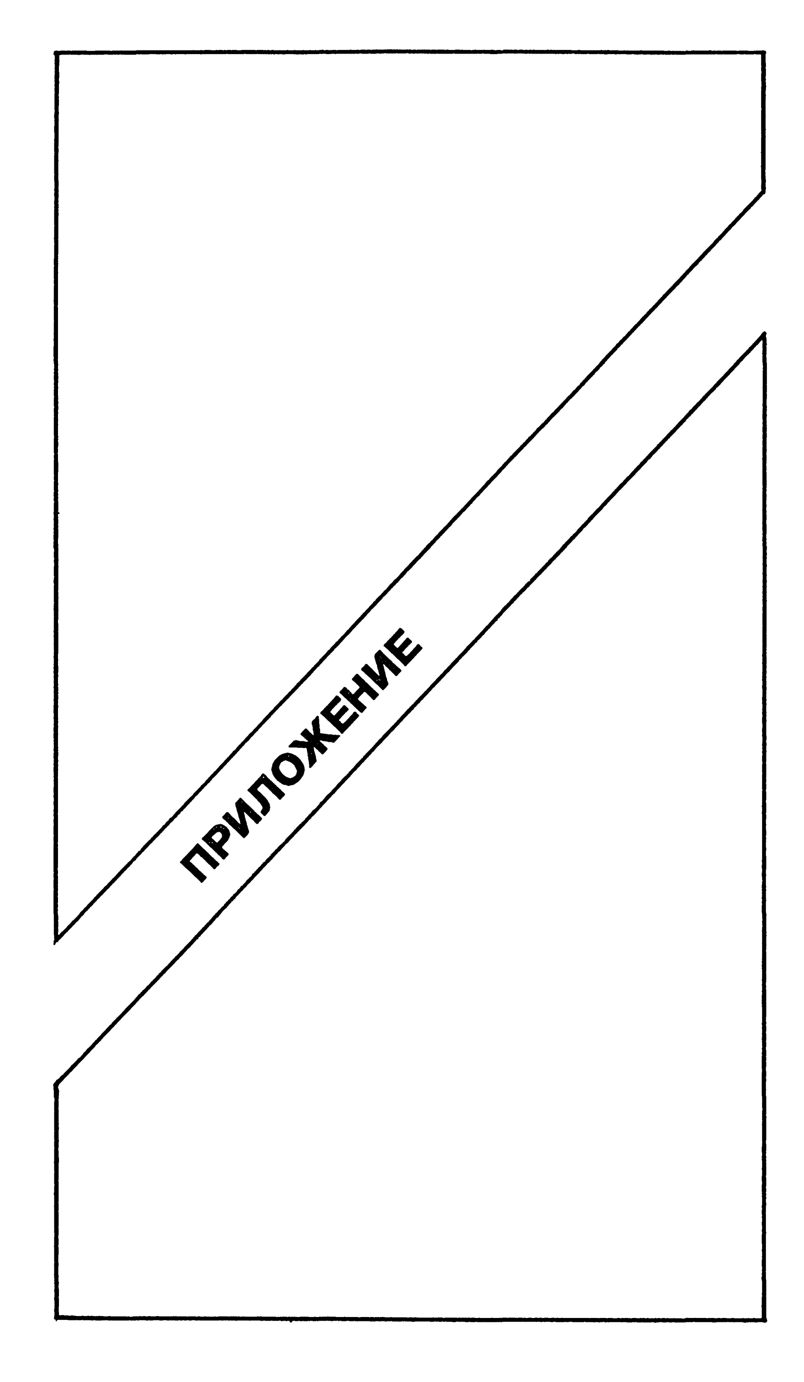
После Шекспир стоял на каменных плитах двора и думал:

"Значит, так: в театре пойдет возобновленный "Ричард II". Он сейчас же пойдет в театр, скажет, что

получил все деньги и ”Ромео” надо снять. Потом он вернется домой и будет ждать, что произойдет. Сядет писать ”Гамлета”. Ну а что же будет, когда он окончит его?”

Он обернулся и посмотрел на окна замка. Хлопнули тяжелые литые ставни, окна растворились совсем настежь и снова со звоном захлопнулись. На мгновение стал виден испуганный королевский посланник и группа людей, которая, крича, теснила его к окну. Потом кто-то крикнул громко и повелительно: ”Стойте!” — и сразу стало так тихо, что Шекспир услышал свое резкое и жесткое дыхание. Прямой и стройный Эссекс стоял в нише окна, как в картинной раме. Посланник королевы склонился перед ним и что-то говорил.

”Пожалуй, я никогда не допишу ”Гамлета”, — обостренно думал Шекспир, смотря на Эссекса, — но ”Ричарда III” я должен поставить. Ну а что же потом?”


ПРИЛОЖЕНИЕ

"РЕТЛЕНДБЭКОНСОУТГЕМПТОНШЕКСПИР"

О мифе, антимифе и биографической гипотезе

Интерес к биографическому жанру в художественной литературе возник в нашей критике сравнительно недавно. Впрочем, и самый-то жанр этот определился не особенно давно. Серия научно-популярных биографий "Жизнь замечательных людей" существует только сорок с лишним лет, а библиотека биографических романов "Пламенные революционеры", хотя и насчитывает около сотни довольно-таки толстых томов, выходит совсем недавно.

И вот что мне пришло на память: когда-то, очень-очень давно, был у нас на Литературных курсах вечер Ю. Тынянова, обсуждали, спорили, спрашивали. На чьи-то дотошные вопросы о ремесле и искусстве исторического романиста он ответил, что всех этих писателей можно, грубо говоря, разделить на две категории: одни штудируют по документам канву жизни такого-то и такого-то исторического лица, другие же выискивают прочерки в его биографии и заполняют их чем хотят.

— Так вот, — сказал Тынянов, — я не принадлежу ни к той, ни к другой категории.

— Но ведь документы существуют, и с ними надо считаться, — сказали ему.

— Документы — дело хитрое, — ответил он, — их тоже надо уметь спрашивать. У каждого документа свой голос.

Разумеется, пересказывая этот разговор через полвека, я могу передать только самую суть высказывания Тынянова. Однако лет десять спустя я набрел в сборнике "Как мы пишем" на такую его мысль:

— Я начинаю там, где кончается документ.

Это было очень важное для меня высказывание; я понял: документ — это то, с чего следует начинать рассказ, но в самое повествование он может и не входить. Подлинное творчество лежит уже за ним. И как актер не в силах играть текст, если ему не ясен подтекст, так и документ ничего не откроет писателю или историку, пока не будет понято, что кроется за его строками и отражением игры каких сил он является. Зато изобразительная сила у правильно прочитанного и истолкованного документа — будь это полицейский рапорт, любовное письмо или портрет — огромная. Его подлинность, синхронность, его форма (ведь это — дошедший до нас осколок времени), четкость, неподкупность и независимость, то есть свобода от всех последующих напластований и истолкований, придают ему ту единственную достоверность, которой настоящий художник пренебречь не вправе. Только надо видеть, что лежит за ним.

И тут мне вспомнилась совсем другая история.

В первые послевоенные годы мне довелось в Алма-Ате познакомиться с замечательным ленинградским художником И. Иткиндом. Жил он тогда бедно, нигде не служил, время было напряженное, трудное, и очень мало кто интересовался странными скульптурами старого художника. Я тогда работал в республиканском Театре драмы, и вот мне и худруку театра Я. С. Штейну пришла благая мысль достать Иткинду государственный заказ: пусть он вылепит бюст Шекспира, а иллюстративные материалы для этого добуду я.

Когда Иткинд пришел ко мне, я разложил их перед ним. Всего набралось столько, что не хватило стола и кровати, и мы переползли на пол. Я показал Иткинду памятники Шекспиру, его бюсты, его предполагаемые портреты, картины из его жизни. Великолепное издание Брокгауза и Эфрона, одно из лучших в мире, дает этот материал в предостаточном ко-

личестве. С какой жадностью накинулся Иткинд на все это! Как бережно он брал в руки гравюру, книгу, эстамп; нахмурившись, долго держал в руках снимок с какого-нибудь памятника, смотрел, думал, соображал и тихо откладывал в сторону. И остановился на самом непритязательном и неэффектном — на известном гравированном портрете из так называемого издания "ин фолио" 1623 года.

Надо сказать, что других совершенно достоверных изображений Шекспира нет вообще[1]. Силой документа обладает только эта непосредственная, даже примитивная гравюра, появившаяся через семь лет после смерти Шекспира. Но не то смертельная болезнь, не то равнодушные руки гравера — что-то смогло вытравить с лица не только гений, но и всякое подобие мысли. Пустые глаза, неживые длинные волосы, плоское восковое лицо манекена с нестираемой печатью ординарности, чахлые, как будто присаженные, кустики бороды и усов — вот что такое это изображение. Недаром же скептики в течение очень долгого времени считали его маской.

И все-таки Иткинд остановился на этом бедном и простом человеке, а не на тех бронзовых и мраморных красавчиках, которых я разложил перед ним. На них он и глядеть долго не стал — так, взял в руки, повертел и положил обратно. А эту плохую гравюру он рассматривал кропотливо, внимательно, с каким-то непонятным мне сочувствием и пониманием. Потом решительно отложил ее: "Вот эту, остальное возьмите".

Тут я сказал, что не стоило бы так, с ходу, отвергать и те: они созданы крупными мастерами и уже стали как бы портретной нормой, — короче, это тот самый Шекспир, к которому мы привыкли, ведь для нас он — благополучный, выхоленный мужчина с ве-

---

[1] Здесь я не рассматриваю специально вопрос о таинственной работе нидерландского мастера Карела ван Мандера "Уильям Шекспир и Бен Джонсон за шахматами". Если она подлинна, то относится примерно к 1603 году.

ликолепной бородкой в пышном стоячем воротнике, — так вот, стоит ли зрителям преподносить другого Шекспира — бледного, одутловатого, с неуверенным взглядом? Этак ведь можно дойти и до толстощекого, румяного, лысеющего бюргера с церковного надгробья. У того бюста тоже высокая степень достоверности, он, очевидно, поставлен сразу же после смерти поэта.

— Я и этот бюст отложил тоже, — сказал Иткинд, — я их оба возьму.

Мне живо представилось, что из всего этого может получиться, но спорить я не стал. В глубине души я как-то сразу согласился с Иткиндом. Меня только поразило, каким образом, каким провидением, глазом и чутьем художника он из кипы этого материала, где были самые разные Шекспиры, молодые и пожилые, задумчивые и веселые, похожие на Гамлета и похожие на Фауста, поэты и философы, графы и мушкетеры, любовники и браконьеры, — как из этой разномастной толпы людей с разными характерами и судьбами он выбрал только одного — настоящего? Какое великое чувство достоверности руководит им сейчас? Да, но этот-то, настоящий, выглядит толстым, пожилым, самодовольным, глубоко равнодушным ко всему человеком. Мог ли Шекспир быть таким? Я спросил об этом Иткинда. Он уже закрыл свою папку и собрался уходить.

— Да нет, это он, он самый, — сказал Иткинд спокойно. — Только болен он очень, у него вот эта самая, — он приложил руку к груди, закашлялся и несколько раз хрипло вдохнул и выдохнул воздух: — х!х!х! Одышка! Дышать ему тяжело! И сердце, сердце... Вот я сделаю, вы увидите, это должно хорошо выйти.

Прошло некоторое время. Однажды мы сидели с художественным руководителем театра и рассматривали эскизы декораций к одной из постановок. Вдруг в дверь постучали — и вошел, вернее, влетел Л. И. Варшавский, тогда один из сценаристов фабри-

ки "Казахфильм". Он был в каком-то совсем необычном состоянии. Мало сказать, что он хохотал, его буквально душил смех, он не мог его продохнуть. Хотел что-то сказать, но только взглядывал на наши ошалелые лица и снова закатывался.

— Слушайте, да в чем же дело, — рассердился наконец Штейн. — Объясните по-человечески.

Варшавский передохнул от хохота и широко распахнул двери.

Около стены в коридоре стоял насупленный Иткинд. Он укоризненно смотрел на меня и не двигался.

— Да что такое? — спросил я. — Почему не заходите?

— Ну скажите же им, бандитам, мошенникам, скажите им одно хорошее слово, — простонал Лев Игнатьевич.

— Вот, — сказал Иткинд от стены, — что же вы такое из меня делаете? Я леплю вам Шекспира, а мне говорят, что его не было, он миф.

Тут уж мы захохотали все втроем.

— Вот оно, наше счастье, — сказал Штейн, — однажды вырвал большой государственный заказ, вылепил человека, а его, оказывается, и вообще-то не было. Над чем же трудился, над пустотой? Этак ведь могут и денег не заплатить!

И тут же засмеялся сам Иткинд.

А через неделю он явился к нам и сказал, что все готово и мы можем посмотреть его работу. Мы пошли.

Бюст стоял в столярной мастерской, на верстаке, завешенный чем-то серым и мокрым, вокруг толпились студийцы. Они уж, конечно, успели все увидеть, обсудить, а теперь ждали нас. И я заметил: они как-то необычно ждали нас, непривычно тихо и серьезно.

— Ну вот, — сказал Иткинд и скинул серую тряпку.

Несколько минут мы молча смотрели. Нужно было время, чтобы освоиться с этой вещью, понять ее: так, сразу, она не раскрывалась.

— Да, это он, — сказал наконец Штейн и обошел бюст. — Таким он, наверное, был, когда покинул театр.

Толпа студийцев двинулась, послышались неясные вскрики, вопросы, робкие хлопки. Но сейчас же все зашикали и замахали руками. От нас ждали еще какого-то слова. Но что мы могли сказать?

Задрапированный снизу какой-то пестрой занавеской, перед нами стоял автор "Бури" — Шекспир последних лет своей жизни. Он был уже немолод, не больно здоров, но ясен, прост и спокоен. Он смотрел на нас из какого-то жизненного далека, и самое главное, что было в нем, — это чувство глубокого равновесия (именно равновесия, а не удовлетворения), полного и честного расчета с жизнью и самим собой. Но было тут и еще что-то. Что же?

И вдруг мне подумалось: вот так порой смотришь с крутой высоты на место, где твой дом и двор. Все тебе тут издавна знакомо, исхожено, изъезжено, примелькалось и приелось, но ты поднялся над всем этим и все сразу стало иным, острым, натянутым и болезненным, как пульсирующий нерв. И то ли высота поглотила весь сор и шелуху, то ли ты почувствовал под ногами край земли — дальше уже не шагнешь, некуда! — но все уже другое, совсем другое, и ты в эту минуту тоже другой.

Одним словом, что-то очень важное пришло мне в голову, только я не знал, как это выразить, и сказал:

— У Бенедиктова есть гениальные строчки:

Так над землей, глядишь,
ни ночь, ни день;
Но холодом вдруг утро
засвежело,
Прорезалась рассветная
ступень, —
И решено сомнительное дело.

И молодежь поняла, заговорила, засмеялась, и Иткинд тоже понял.

— Да, да, — сказал он, — ему уж тогда мало оставалось, я много взял с того надгробного памятника, я их вместе положил, гравюру и памятник, и лепил. И вот что получилось...

У него действительно получилось.

"Этот бюст — одно из самых больших препятствий для понимания Шекспира", — написал Джон Уилсон о надгробном памятнике в соборе св.Троицы. И это, конечно, так. То есть это так для Уилсона, он же был ученым, документалистом, биографом, крупнейшим шекспироведом 30-х годов нашего века (в Англии это кое-что стоит). Он бы жизнь отдал за новый нотариально заверенный документ, за точно датированный прижизненный портрет, за вновь открытую запись в расходной книге, за все безусловное, ясное, точное или хотя бы подлежащее точному анализу и сопоставлению. А с этим гладко отшлифованным и раскрашенным надгробием ему было просто нечего делать. Перед ним он разводил руками, оно его шокировало. Он писал про него так:

"Пропорции очень приятны, а архитектурный замысел с двумя колонками и подушкой, покрытый мантией щит и два херувима — все это даже красиво. Только одно недоступно этому ремесленнику — изображение лица..."

"Жертва ремесленника-портретиста", — писал он еще.

А вот старый художник более чем через триста лет положил рядом с фотографией этого же бюста еще фотографию тоже не Бог весть какой гравюры, посмотрел на них, что-то понял, ухватил свое и стал лепить.

Из глубины отшлифованной глыбины и серого листа бумаги прорезалось вот это утомленное и мудрое человеческое лицо. И не стало уже ни мифа, ни антимифа, а остался мастер Уильям Шекспир.

Он перед концом жизни, наверное, видел мало радостей в своем новом доме, на отчей стороне, и ни во что, кажется, уже не верил. Кроме, пожалуй, одного: ''Весь мир лицедействует''. Так было намалевано на фасаде его ''Глобуса'', вот и он доигрывал, честно доводил до конца свою нелегкую роль драмодела.

И, готовясь к смерти, на своей надгробной плите этот лицедей завещал высечь:

''...Не извлекай праха, погребенного здесь. Да благословен будет тот, что не тронет этих камней, и да будет проклят тот, кто потревожит мои кости''.

Большего от потомков он, видно, и не ждал.

Все это я вспомнил, читая статью Я. Гордина ''Возможен ли роман о писателе?'', напечатанную в сентябрьской книжке ''Вопросов литературы'' за 1975 год. Один из разделов этой интересной и дельной книги был посвящен произведениям о Шекспире, вышедшим в нашей стране за последние годы. Упоминались и мои повести.

''В 1969 году вышла в издательстве ''Советский писатель'' книга Ю. Домбровского ''Смуглая леди'', — писал Я. Гордин. — О Шекспире. И если уж говорить о вымысле, то здесь его сколько угодно. Главным образом — вымысел. И это нисколько не коробит... Книга Ю. Домбровского отнюдь не воспринимается как книга биографических повестей. Она воспринимается как один из вариантов мифа... Домбровский честен по отношению к читателю. Он доказывает именно у б е д и т е л ь н о с т ь м и ф а, а не его историческую истинность. Тонкая, умная и жестокая проза Ю. Домбровского никого не мистифицирует''.

Сознаюсь, такая оценка меня заставила крепко задуматься. Вариант мифа — что же это такое? И можно ли вообще говорить об убедительности мифического? Убедительны ли, скажем, путешествие Гул-

ливера в Лилипутию или военные приключения Мюнхгаузена, или история господина К. в ''Процессе'' Кафки? В какой-то мере — безусловно. Иначе бы их просто не читали: недостоверность всегда невыносимо скучна. Да, но эти герои возможны только в том фантасмагорическом мире, который построили для них авторы. Шекспир же живет в мире людей. Он очень крепкий и хороший современник своей эпохи, — его весомый, грубый, зримый след проходит по нотариальным и судебным актам, по купчим крепостям и регистрам книгопродавцов (вот тут мы благодарны Уилсону). Он запечатлен в отзывах друзей и недругов, в списке ролей, в скорбном и таком человечном документе — завещании и, наконец, в тихой книге мертвых — в метриках собора св. Троицы, где он был сначала крещен, а потом похоронен. Но самое главное, он нам оставил около сорока больших произведений, и каждое из них мог написать только человек с его биографией. Вчитываясь в них, мы узнаем, как с годами менялся автор, как, пылкий и быстрый в юности, он взрослел, мужал, мудрел, как восторженность сменялась степенностью, разочарованием, осторожностью и как все под конец сменилось страшной усталостью.

Словом, весь жизненный путь Шекспира прослеживается по его книгам. И этот путь настолько прост и достоверен, что любой миф, самый убедительный и расчетливо построенный, неизбежно разлетается при столкновении с этой горькой действительностью. Мастера Шекспира не смешаешь ни с одним из его сиятельных двойников. Они все, выражаясь словами самого же Шекспира, сделаны из того вещества, из которого состоят сны.

''Ретлендбэконсоутгемптоншекспир'' — попробуйте-ка произнести вслух! — это жуткое гипотетическое существо, похожее, вероятно, на Франкенштейна, выдумал писатель Джойс.

”— Роберт Грин назвал его палачом души, — сказал Стивен, — не зря он был сыном мясника, орудовавшего остро отточенным резаком. Девять жизней он принес в жертву за одну жизнь своего отца. Гамлеты в хаки стреляют без колебаний. Кровавая бойня пятого акта — прообраз концентрационного лагеря, воспетого Суинберном... Он вытащил Шейлока из собственного вместительного кармана: сын хмелеторговца и ростовщика, он сам был хлеботорговцем и ростовщиком. Десять возов хлеба хранилось у него в амбарах во время голодных бунтов... Фальстаф, похваляющийся честностью в делах, он упек одного из своих собратьев-актеров за несколько мешков солода и за каждый ссуженный в долг грош требовал фунт мяса в виде процентов”.

Стивен в ”Улиссе” и есть сам Джойс.

Ему возражает другой собеседник (весь девятый эпизод романа, страниц эдак 50, посвящен ”загадке” Шекспира).

”— В ”Гамлете” много личного, — вступился мистер Бест, — я хочу сказать, что это своего рода интимный дневник. Понимаете, об интимной жизни”.

”— Разумеется, — сказал задумчиво Джон Энглинтон, — из всех великих людей он самый загадочный. Единственно, что мы о нем знаем, это то, что он жил и страдал. Собственно, даже и этого толком мы не знаем”.

”— Но я должен вам сказать: если хотите поколебать мою веру в то, что Гамлет — сам Шекспир, вам предстоит нелегкая задача”.

И вот заключение:

”Пробыв в отсутствии всю жизнь, он возвращается на тот самый клочок земли, где родился. И там, в конце своего жизненного пути, сажает свое тутовое дерево... Потом умирает. Спектакль окончен. Могильщики хоронят Гамлета-отца и Гамлета-сына, возведенного наконец смертью в сан короля и принца. Пусть убитого и обманутого, но зато оплакиваемого хрупкими и нежными сердцами датчан. И скорбь о

покойном — вот единственный супруг, с которым они не хотят расстаться".

Это опять тот же Стивен. Позвольте, ну а куда же девались его мальчики в хаки? Те самые, что стреляют без колебаний? Где палач души? Где Шейлок? Где Фальстаф? Сын мясника? Ростовщик? Нет их. Остался одинокий и умудренный человек, сажающий тутовое дерево в своем стратфордском саду. Миф и антимиф уничтожили друг друга. Это ведь их главное качество — быть взаимоуничтожаемыми. Проверку жизнью они никак не выдерживают, их, как гомункулов, взращивают только на искусственных средах.

Джойс (Стивен) слишком умен, чтобы этого не понять. Поэтому и не живут долго мифы о Шекспире, сегодня они одни, завтра другие, а великий и мудрый мастер жив уже добрые полтысячелетия.

Да иначе и быть не может.

Ни миф (то есть "Ретлендбэконсоутгемптоншекспир"), ни антимиф (то есть слухи и ведомственные записи) не могут быть взяты писателем за основу его работы. Их надо учитывать — и все (об этом дальше). Тут требуется творческое постижение, даже больше — личное приобщение к своему герою, проявление его всем опытом твоей жизни. Надо понять, какие встречи, разговоры, характеры всплывают у тебя в памяти, когда ты о нем думаешь. Короче, если я пишу, скажем, о Шекспире, то это должна быть повесть о моем Шекспире. Это несколько странное сочетание слов, однако не ново для советского читателя. В 20-х годах вышла книга Брюсова о Пушкине "Мой Пушкин", а последняя книга Чуковского называлась "Мой Уитмен". Короче говоря, "мой" — это Пушкин, Уитмен, Шекспир в таком-то и таком-то индивидуальном творческом прочтении и истолковании. Это то, как я понимаю и принимаю такого-то писателя, за что я его люблю и как о нем думаю.

10–2280

Великий человек умирает. Помимо его книг от него остаются дела, портреты, воспоминания и часто документы, остаются анекдоты и сплетни о нем — короче, остается модель человека, как ее воспроизвели современники и соглядатаи его жизни, его нравственный костяк. Эту модель можно признать примерно точной или не признать совсем, но вовсе отмахнуться от нее нельзя. Она существует, и все. Это, собственно говоря, не человек и даже не представление о человеке — это посмертный суд над ним.

Очень мало великих людей оказалось вне этого суда, — это те, о которых вообще ничего не известно — ни истории, ни сплетникам.

Шекспир как раз такой. Это тот нечастый случай, когда писатель оставляет биографа наедине с самим собой. Опереться не на что, документы двусмысленны, а все — даже, казалось бы, самые интимные и личные — произведения при ближайшем рассмотрении очень мало дают для разгадки личности автора.

Образ простого, работящего, неутомимого, скромного труженика оказался непостижимым и недостижимым для исследователей и литераторов, как одна из величайших загадок человеческого бытия, и горе, поистине горе тому биографу, который не поверит в простоту и неисчерпаемое богатство обыкновенной человеческой души. Он так никогда ничего и не поймет в Шекспире, не свяжет гения с его произведениями.

Биография Шекспира — во всяком случае, бесспорная часть ее — намечена редким крупным пунктиром: это с десяток высокоофициальных документов и примерно такое же количество прижизненных и посмертных упоминаний. Что породила эта скудность сведений? Легенду о Фрэнсисе Бэконе, легенды о Ретленде, графе Дарби и т. д. Впрочем, легендами они становились немного погодя, постарев и поизносившись, а вначале-то они возникали как чуть ли не бесспорные истины. Я не против них, так коротко

живущих, как я вообще не против тайны. "Этот безумный, безумный мир" с какой-то своей стороны чрезвычайно трезв, и жизнь страшно бы поскучнела, если бы мы лишили ее вдруг таких вот блестящих фейерверков. Кроме того, наше реальное познание Шекспира углубляется именно в результате столкновения легенд и мифов с настоящей наукой. Ведь как ни мало надо сил для их разрушения, но все-таки надо, и это заставляет еще раз обсуждать старые вопросы, находить их новые аспекты, услышать пропущенные мимо ушей акценты. Одним словом, думать и работать.

Но, кроме того, во всех этих коронованиях и развенчаниях меня привлекает другое — их свод и разбор дал бы великолепный пример того, как подчас трудно ответить на вопрос Пилата: что же такое истина? Ведь в том-то и дело, что для того, чтобы приписать Ретленду или Бэкону произведения Шекспира, ничего не приходится открывать сызнова: все документы уже найдены, факты выявлены, книги прочитаны. Дело только в новом подборе, в другом освещении, — стоит только чуть-чуть (подчеркиваю — чуть-чуть) сопоставить по-иному факты, одно осветить, другое затенить, что-то выделить, мимо чего-то пройти, не заметив, — и Шекспир будет обвинен в плагиате. Честное слово, будь я ректором юридического института, я обязательно бы ввел в курс теории доказательств вот эти примеры, разбирал бы их на особом семинаре и ясно показал бы на более чем вековом материале, какова цена косвенным уликам, даже если они приведены в очень стройную систему. Как, право, хорошо, что мы только литературоведы, и все это не суд, а спор "реалистов" с "романтиками". Что поделать? Человечество изобретательно, ложь богата и разнообразна, истина скудна и непритязательна, у нее, бедной, всего-навсего один лик и одна правда.

"Это вещь без фантазии и вымысла", — говорят о произведении сыром и скучном. Для меня вопрос о

вымысле не стоит вовсе. В моих трех маленьких повестях заключено много вымысла о том, как выглядела бы жизнь Шекспира, если бы она была такой, как я ее себе представляю.

Мне кажется, она была тяжелой и безрадостной, вернее, это была жизнь с радостным началом и тяжелым, вялым исходом. В моей книге я пытался обосновать это, исходя из того бесспорного, что наука о Шекспире дала за более чем четверть тысячелетия своего существования. Фактов, собственно говоря, не так уж мало. О Марло их меньше, о Бен Джонсоне ни в коем случае не больше. Правда, эти факты говорят почти исключительно сухим и бесспорным языком нотариатов, но тем они ценнее и даже выразительнее. Если же отойти от них в область творчества, то станет ясным другое: Шекспир не верил в свой гений, и он ему не доставлял никакой радости. О своей посмертной славе он не подозревал, да и нужна ли она ему была? Судьба и природа ремесла обрекали его быть автором исключительно ненапечатанных произведений, и он принимал это с большой готовностью. Причина понятна. Для елизаветинца напечатанная пьеса — это вещь, утратившая всякий коммерческий интерес. Она всеобщее достояние. Только безнадежно устаревшая пьеса могла "принадлежать автору", но, кажется, Шекспир и этим правом не пользовался, на свое творчество он смотрел как пайщик театрального коллектива и не более, а не в интересах пайщика давать доходную пьесу в руки конкурентов. Таким образом, если Шекспир и знал радость творчества, то совсем по-иному, чем это представляем себе мы.

Но в сонетах, несмотря на условности, подражательность и традиционность, есть что-то и личное. Это гневные инвективы о ремесле фигляра, это жесткие насмешки над собой, это беспомощно опущенные руки. Но ведь и драматург тоже актер, а в особенности если он пайщик труппы; в елизаветинском театре, как во времена Эсхила, не всегда можно было отде-

лить автора от актера. Впрочем, и это справедливо. Спасли Шекспира от забвения именно актеры. Ученые и критики пришли значительно позже, лет этак через сто. А до этого Шекспира знали только бродячие труппы. Они проваливались сквозь землю во время очередного гонения и сразу воскресали, когда времена менялись. И тогда вытаскивали со дна каких-то сундуков старый, исчерканный и зачитанный том хроник, комедий и трагедий давным-давно умершего мастера Шекспира, составляли сценарий и распределяли роли. И вот снова на сцене возникали "печальный Мавр" и "задумчивый Принц", как было написано — или должно было быть написано — на могиле Бербеджа. В оправдание ученым и просто читателям можно привести только одно, но зато, по-моему, очень основательное, соображение. "Взять" Шекспира просто с листа, при первом знакомстве с текстом, свежему человеку — не актеру, не театралу — совершенно невозможно. Для этого требуется традиция и освоение. Шекспир не писал для чтения — он требует проявления сценой, хотя бы эта сцена сводилась к трем доскам, положенным поверх двух бочонков (как писал Гете Клейсту: на них я сыграю все трагедии Шекспира).

Для меня одним из главных доказательств художественной чуткости человечества и бесспорности основных эстетических истин является то, что люди, несмотря на тысячи затруднений текста, варварский синтаксис, длинноты, признали и поняли Шекспира.

Без актера и сцены это было бы положительно невозможно. (Только не надо, не надо раздвигать действие его трагедий морями, горами и чуть ли не космическим пространством: Шекспир все это выдерживает очень плохо — теряется и глохнет. Он мыслит своих героев в достаточно тесной коробке сцены, в непосредственном контакте друг с другом — замки, сады и фонтаны тут ни при чем.)

Итак, в свою славу Шекспир не верил и не ожидал ее. Оставалась работа и семья. Очевидно, здоровья он

был не крепкого, заболел рано (может быть, бронхиальной астмой) и сцену покинул тоже совсем не старым. И как бы предчувствуя этот конец, он всю жизнь к нему готовился: покупал, продавал, давал в рост — одним словом, делал все, чтоб не повторить участи отца, этот урок у него всегда стоял перед глазами. Жизни и нищеты он боялся. И все те тридцать лет, которые провел на сцене, он неторопливо, но неустанно возводил свою крепость, — и вот час настал, и она ему действительно потребовалась. Как он жил в этой угрюмой твердыне еще четыре года, которые ему отмерила милостивая и ироническая судьба, с кем встречался, о чем разговаривал, кого любил, кого плохо терпел или даже не терпел вовсе — об этом мы ровно ничего не знаем. Но кое-какие предположения сделать можно. Вот я их и изложил в этой книге.

Так что же, собственно говоря, она представляет, моя книга? Собрание мифов или все-таки биографическая повесть в новеллах? Как видно из всего мной сказанного, я склоняюсь ко второму определению. Повесть моя достоверна так, как может быть достоверна повесть о человеке, про жизнь которого нам, к сожалению, меньше известно, чем хотелось бы. Но опорные пункты — документы, редкие достоверные воспоминания, посвятительные надписи, рассказы безымянных старожилов городка Стратфорда-на-Эйвоне, последние биографические изыскания, наконец, те редчайшие случаи, когда можно считать, что то или иное место из произведений поэта имеют личный характер, — учтены мною с возможной полнотой. Этого, конечно, мало для строго научной, доказательной теории, но для гипотезы этого хватает вполне. Впрочем, не мне объяснять разницу между обоснованной догадкой (гипотезой) и мифом, хотя бы потому, что мне кажется — каждое произведение о некогда действительно жившем человеке будет в той или иной степени биографической гипотезой. ”Каждая эпоха искала и находила своего Пушки-

на"[1] — прочитал я в недавно вышедшем ученом сборнике, в статье об иконографии поэта.

Воистину так! И литературы это касается не меньше, а больше. А ведь это написано о Пушкине — о человеке, жизнь которого мы изучаем придирчиво и досконально. Для Шекспира, конечно, градус достоверности будет иной, и это не может не родить некоторую неуверенность, победить которую все-таки необходимо. Это чувство не покидало меня, пока я писал, а впоследствии перечитывал, правил и сдавал мою книгу в печать. Ведь сказано же, что совершенная любовь побеждает страх, — и это есть одно из главных оснований для появления подобных книг на свет.

---

[1] Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. — Наука, М., 1975, стр. 314.

ИТАЛЬЯНЦАМ О ШЕКСПИРЕ — ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕГО ЖИЗНИ

Первый раз, когда я услышал и увидел Шекспира, я был уверен, что он итальянский писатель. Вот буквально так. Шел "Венецианский купец", и на сцене цвела Италия, стояли розовые дворцы, росли голубые кипарисы, звучала арфа, ходили мужчины и женщины в бархатных костюмах (почему-то бархат был только синий и малиновый) с этакими-разэтакими высокими стоячими воротниками. А происходило это в маленьком дачном местечке, под самой Москвой. Давала спектакль какая-то развеселая бродячая труппа, без имени и звания. Таких тогда (а дело относится не то к 15-му, не то к 16-му году) в России было сколько угодно.

Я ничего определенного не вынес из этого спектакля. Все шекспировское — и мудрую прекрасную Порцию, и благороднейшего Антонио, и страшного, кровожадного Шейлока (с рыжей козлиной бородой) — я уже узнал много-много позже. Тогда я просто сидел, смотрел и слушал, даже не слушал, а впитывал то, что происходило на сцене, всеми порами тела. А на трясучих досках летнего театре, похожего на большую купальню, был юг, Венеция — там ходили раскованные красивые люди, которые любили, дрались, убивали и умирали. И все это свободно, без всякого принуждения. Сейчас я-то, конечно, хорошо понимаю, что актеры были плохие, да и спектакль много не стоил, но вот ощущение свободы и красоты я унес тогда с собой и сохранил его на всю жизнь. Именно так: блеск, красота, южная ночь, смутная лунная тишина — далекая, таинственная Италия.

"Да, вот это люди жили, — удивленно и даже как-то подавленно сказал около меня какой-то на-

сквозь прокуренный дядька в костюме табачного цвета. — Ничегошеньки не боялись, отважно жили!". Он сказал самое главное: эти люди были свободны от страха и унижения. А их в то время уже было предостаточно. И хотя в пьесе Шекспира люди тоже боялись очень многого, я как-то всем своим существом понял и почувствовал, что дядька-то прав. Прав, по существу, в том высшем для меня смысле, что все вещи Шекспира об Италии — это вещи о человеческой легкости, пластичности, раскованности — словом, о той свободе в выборе добра, зла, красоты, которой сам автор никогда у себя дома не пользовался.

И вот прошло много-много лет. И первая мировая война кончилась, и вторая началась, и вторая уже кончилась, и о третьей уже заговорили, я поседел и постарел, прочитал, наверное, почти все главное, что написано о Шекспире на пяти языках... И все-таки, сколько бы я ни узнавал о нем нового и что бы и как бы ни придумывал сам, ничто никогда не вытеснит у меня из памяти того неповторимого, что я унес с собой в холодный осенний вечер незапамятно далекого года (обстреливали Реймсский собор, и пала Бельгия).

Я уже сказал, это было только первое знакомство. За годы, которые отделяют меня от той бродячей труппы и летнего театрика, я много раз перечитал в подлиннике все вещи Шекспира. Могу уверить, что это очень тяжелое дело, к нему так просто не подойдешь. Оно обставлено, обусловлено и, если хотите, даже заставлено специальными словарями, всякими штудиями и толкованиями. Ведь что ни говори, Шекспир — один из самых трудных писателей мира. Не для понимания трудный, а для приятия. Ведь вот другой гений, и может быть, не меньший, Лев Толстой, так и не сумел ни принять, ни помириться с ним.

(Но и тут все-таки маленькая оговорка. В истории с Толстым все совершенно не так просто, как мы к этому привыкли. Конечно, Шекспир с его види-

мым безразличием к вопросам учительской морали Толстого никак не устраивал. Это ясно само собой. Но вот в 1937 году в журнале "Иностранная литература" были опубликованы заметки молодого Толстого на полях "Гамлета". Оказалось, что Лев Николаевич очень высоко оценивал эту трагедию и особенно все сцены с Офелией.)

Так вот, для меня самая верная оценка объективности эстетического вкуса человечества заключается в том, что мир все-таки сумел признать Шекспира. И это была, конечно, победа зрителя. Ученые приплелись только много-много позже — так, лет через сто. А на пути приятия стояло очень многое: и все-таки почти средневековая мораль (вера в ведьм!), и пренебрежение к внешнему правдоподобию, и чудовищность метафор, и немыслимые сейчас длинноты, и то угождение низменному вкусу конюхов, матросов и дворни, который нам не только понять, но и принять очень трудно, — все эти отрезанные руки, выколотые глаза, лужи крови. Словом, очень многое стоит между нами и Шекспиром. И надо сознаться, дело тут отнюдь не только в годах. И все-таки мир сумел нащупать и ухватиться за самое главное звено — за ту вот свободу человека, за то понятие о его самостийности, которая из всех елизаветинцев присуща только Шекспиру. Она-то и побеждает все. Человек абсолютно свободен и ничем не обременен. Вот одна из главных мыслей Шекспира. Он знал и чувствовал это всем существом, когда садился писать свои невероятные кровавые истории. Его любовь к Италии идет именно отсюда. И Меркуцио, и Ромео, и Джульетта, и Антонио, и Порция абсолютно свободны. А вот Шейлок — нет! Был у нас такой очень крупный театральный критик — Кугель. Вот он как-то написал о Шейлоке, что его трагедия состоит совсем не в том, что он не знает, идти или не идти ему на карнавал, а в том, что он просто немыслим на этом карнавале. У него единственного из всех действующих лиц нет свободы выбора. Он обречен.

Он может что угодно, пожалуй, сделать с Антонио, но с собой он уже ничего не сделает, он неприемлем для этой жизни. Его друзья и враги находятся по ту ее сторону. Значит, он обречен и внешне, и внутренне. Это ужасные слова "немыслим на карнавале", и Шекспир его понимал полностью. Вот почему он любил Италию. В ней, казалось ему, все мыслимо, все раскованно и свободно: чувства, слова, стихи, сонеты.

Был ли Шекспир в Италии? Это часть вопроса куда более обширного. Покидал ли он вообще свой остров? Это проблема чрезвычайной трудности, которую мы, пожалуй, никогда не сможем разрешить полностью. Ведь ничего подобного кумранским находкам в шекспироведении не предвидится. Вероятно, мы навсегда останемся при том, что мы знаем сегодня. Во всяком случае, ясно, что, когда писалась "Ромео и Джульетта", автор ее Италии не видел. И тем не менее итальянский колорит передан с поразительной верностью. Нет, не тот колорит реальный, раздираемый мелкими и крупными шакалами и хищниками Италии, о которой мы прочли бесчисленное количество трудов, а Италии "моей мечты", Италии романтической, волшебной, феерической, которую каждый носит в себе и неосознанно вспоминает, когда произносятся такие слова, как Боттичелли, Леонардо, храм Петра, замок Ангела и, наконец, Ромео и Джульетта. Да, я утверждаю, что в наше представление об Италии эти двуединые имена вошли как один из основных компонентов, как нечто Италии химически сродное. Без них наше представление об этой стране не то что не полное, а совсем иное.

Но Италия того времени была мистична. Это была не только страна политиков-тиранов, не только родина Макиавелли, не только рай обетованный купцов и изобретателей бухгалтерии, но и страна Франциска Ассизского и Савонаролы. Понимал ли это Шекспир? Мне кажется, да. Во всяком случае, в уста Джульет-

ты вложено то представление о жизни, смерти и жизни после смерти, которое Шекспир с такой силой и полнотой до конца развил в "Гамлете". Вы помните знаменитый монолог принца? Его "Быть или не быть?" Вот отрывок в моем подстрочном переводе:

"Умереть, уснуть? Быть может, видеть сны — вот в чем вопрос! Какие же сны могут грезиться во время этого мертвого сна, когда мы уже сбросили с себя все тревоги? Тут есть перед чем остановиться! Изза такого вопроса мы себя обрекаем на долгие-долгие годы земного существования? Кто в самом деле захотел бы сносить бичевание и презрение времени, гнет притеснителей, оскорбления гордецов, наглость власти, медлительность в исполнении законов и все удары, получаемые с терпеливым достоинством, когда он сам бы мог избавиться от всего одним ударом кинжала?.. Если бы не боязнь чего-то после смерти, страха перед неизвестной страной, из которой путники не возвращаются. Так совесть нас превращает в трусов".

Ну, конечно, это мысль самого Шекспира. И ручательством этого для меня служит не только то, что великий 66-й сонет написан именно на эту же тему, и не то даже, что эти слова невозможны в устах принца (критика мирового неустройства дана здесь снизу кверху), а как бы ни чувствовал себя одиноким в зале Эльсинора принц Датский, он может не бояться "медлительности законов и бичевания времени" — все эти соображения, конечно, очень важны. Но для меня важнее еще то, что первый раз эти мысли с такой грозной образностью и реальностью приходят в голову Джульетте, когда она остается одна в спальне. И вот что ее сейчас мучает:

"О, Боже, Боже! Разве невозможно, что раньше времени меня разбудят возгласы тлена, подобные стону мандрагоры, сводящие с ума и убивающие всякого, кто их слышит. Что, если я проснусь, окруженная всеми этими отвратительными ужасами, и

в безумии начну играть костями моих предков. Что если я, подобно волку, размозжу себе голову этими костями".

Да, вероятно, это был тот единственный довод, который молодой Шекспир мог в ту пору привести против самоубийства. Как ты, не зная природу смерти, смеешь к ней стремиться? А он ведь стремился. Для меня это стало совершенно ясно, когда я прочитал в подлиннике 74-й сонет. Почти все критики относят его ко времени, очень близкому написанию "Ромео". Тут разница может быть в одном или двух годах. Мне хочется его привести тут почти полностью и буквально:

"Когда жестокий приговор удалит меня, не допуская никого взять меня на поруки, — моя жизнь будет находиться в этих стихах. Они навсегда останутся при тебе, как мое напоминание. Вот когда ты на них взглянешь, ты снова и снова увидишь то самое главное, что было посвящено тебе. Земля может забрать себе лишь мой прах, принадлежащий ей. Но дух мой — он у тебя. А это моя лучшая часть. Поэтому ты утратишь лишь подонки жизни, добычу червей, мой труп, подлую жертву разбойничьего ножа, слишком низкую, чтобы ее еще вспоминать. Единственно драгоценным было то, что содержалось во мне. И вот оно с тобой".

Для меня это звучит поистине как записка, оставленная на столе в утро самоубийства. Но опять-таки тот же неразрешимый биографический вопрос: все ли сонеты были написаны в одно время? Мы знаем, что первое издание появилось в 1609 году, значит, уже после выхода в свет всех великих трагедий Шекспира. Ну а когда они сами-то были написаны? Каждый сонет по отдельности — когда? Это неизвестно. И тут мы подходим к знаменитому вопросу о том, что же из себя представляют эти 154 поэтические миниатюры? Ключ ли это, которым поэт открыл свое сердце, как думает Вордсворт, или просто дань литературной моде, совер-

шенно необязательная для нас? Об этом до сих пор идут нескончаемые споры, и мы не ближе к разгадке сейчас, чем двести лет тому назад. Тогда один из отцов шекспироведения написал, что даже закон парламента не заставит его соотечественников читать сборник этих бездарных пустячков. С тех пор наука о Шекспире сделала очень много для уяснения этого вопроса.

Совершенно точно установлены итальянские корни поэтической части творчества Шекспира, высчитано, сколько поэтов в XVI веке упражнялось в сочинении сонетов в Италии (700) и сколько в Англии (300), сколько сонетов появилось за шесть лет на Британских островах (1200). Но вопрос о том, какое место занимают эти стихотворения в биографии автора, так и остается открытым.

Когда я впервые подошел к этому вопросу и только тронул ту поистине необъятную литературу, которая скопилась за двести лет научного шекспироведения, меня сразу же поразило одно: мы толкуем об условностях формы, о зависимости от литературной моды, о традиции Петрарки, еще Бог знает о чем и совсем не видим, что это действительно та связка ключей, которыми Шекспир открыл нам свое сердце, разум, совесть, понятие о себе.

Биографичность 66-го сонета сейчас принята безусловно всеми. Никаких как будто споров не вызывают и те потрясающие слова, которыми Шекспир определил отношение к своей профессии:

"О, спорь с моей фортуной — этой богиней, властвующей в моих жалких делах. Она распорядилась моей жизнью так, что я имею лишь средства, собранные с публичных привычек (то есть за угождение толпе). Вот почему мое имя заклеймено, и самое существо мое как бы отмечено моим ремеслом, как рукой нищего. Пожалей же меня и пожелай же мне обновления" (сонет 111-й).

Все эти чувства так неразрывно связаны с тем, что мы знаем о Шекспире, что иным этого человека мы себе и представить не можем.

Тут мы подходим к самому зерну проблемы. К вопросу о так называемой "смуглой леди". Жила ли на самом деле та, которую так любил, так порочил и воспевал Шекспир? Жил ли рядом тот молодой друг, который увел эту черную, некрасивую, худую женщину — "вылитую цыганку", как однажды сгоряча выругал ее Шекспир? Что это — мода ли на кровь или действительно сама кровь?

Пусть тот, кто ставит перед собой этот вопрос, прочтет прежде всего стихи Катулла: цикл, обращенный к Лесбии. Ведь и там то же самое, и если он признает душераздирающую искренность этих строк римского юноши, если он поверит в это "люблю и ненавижу", он уже не посмеет сомневаться в подлинности чувств Шекспира. Вот именно тогда он и подумал, очевидно, в первый раз о самоубийстве. Первый, повторяю, но, конечно, не последний. О последнем мы этого не знаем.

Когда я это понял, я написал "Смуглую леди", вещь, с которой я надеюсь когда-нибудь познакомить и иностранного читателя. И тогда же я понял и другое: какая это была великая, трудная и несчастная жизнь, как ничто не удавалось Шекспиру, как ничего его не радовало — ни доходные дома, которые он покупал, ни старая жена, которую он не любил, мало видел, но к которой приехал все-таки умирать (они похоронены в одной могиле), ни дочки, которые даже не знали грамоты, ни театр, в котором его принимали, но не понимали, с некоторых пор даже стали вытеснять и под конец-таки вытеснили. Так что же у него осталось к закату? Пожалуй, только прекрасная трактирщица в маленьком городишке Стратфорде. К ней он заезжал по дороге в Лондон. Говорят, что у него был от нее ребенок — сын; говорят, что этот сын стал потом знаменитым поэтом, тоже Вильямом, но не Шекпиром, а Давенантом.

Шекспир его крестил. Так ли это или не так — неизвестно. Но кое-какие основания для этой сплетни, очевидно, были. Слишком уж единодушны об этом рассказы старых антикваров, да и сам Вильям под старость любил кое-что порассказать.

Если это действительно так, то мы знаем последнее прибежище Шекспира — комнату в трактире по дороге в Стратфорд.

Вот почему любовь Шекспира к Италии была особенно сильна, действенна и сопровождала его всю жизнь. В этой стране он находил ту легкость и раскованность, которой так не хватало ему в его 52-летней жизни, жизни сына перчаточника, потом актера, затем режиссера и, кажется, меньше всего писателя и драматурга. Подмостки он не любил и покинул их при первой же возможности. А между тем театр дал очень много Шекспиру, ровно столько же, сколько и Шекспир дал театру. Я совершенно уверен, что сразу понять и, так сказать, поднять Шекспира со страницы, с печатной строчки невозможно. Он меньше всего автор для чтения про себя, его обязательно нужно видеть. Только после того, как ты войдешь в волшебный мир театра, в этот лунный рай заштопанных кулис, услышишь перезвон рапир, увидишь череп в руках Гамлета и ночник в руках леди Макбет, у тебя вдруг раскроется внутреннее зрение, орлино обострится слух, и ты, придя со спектакля, будешь читать и читать, читать и перечитывать самого великого, мудрого, человечного драматурга христианской эпохи. Ты найдешь в нем такие глубины, о которых ты знал всю жизнь, но никогда не догадывался, что знаешь. Но это все потом, потом! Мне посчастливилось увидеть его много, много лет тому назад в летнем скрипучем театрике маленькой подмосковной станции, сыгранным плохими бродячими актерами.

Вот и все, что мне хотелось очень наскоро, не раскрывая никаких источников, сказать о Шекспире. И еще одно, чтоб закончить эту статью. Мне ка-

жется, итальянцы должны особенно любить Шекспира. Ведь он сам так любил их. И тогда эта взаимная любовь оплодотворит все жанры искусства — нынешнего, будущего и того далекого, далекого грядущего, которого мы сегодня ни представить, ни предвидеть не можем и о котором даже и гадать-то бесплодно!

Это будет та поистине богатая и плодотворная любовь, которая принесет настоящие плоды.

Да будет же так.

РАССКАЗЫ ОБ ОГНЕ И ГЛИНЕ

Главы из романа

Прежде всего о тех трудностях, которые ожидают каждого, кто захочет создать беллетристическое произведение о Добролюбове. Задача эта не равнозначна для литературоведа и писателя. Написать монографию или хорошее исследование о литературной и общественной деятельности великого критика — задача отнюдь не из самых трудных: таких книг уже существует с полсотни, и количество их стремительно растет от юбилея к юбилею. Написал Добролюбов достаточно, в своих сочинениях выложился почти исчерпывающе, а так как обходить цензуру он умел и что хотел провести, то так или иначе проводил всегда, то и спорить о его взглядах не приходится. Тут действительно литературоведы поработали хорошо, и общественно-политические взгляды Добролюбова тайны не оставляют. Но совсем иначе будет обстоять дело, как только захочешь коснуться его реальной биографии. Тут все время придется двигаться по сплошным белым пятнам, и захватывают эти белые пятна не мелочи, какие-нибудь окраины биографии, а именно наиболее важные, этапные моменты жизни. Короче, мы отлично знаем, что Добролюбов писал, но что он кроме этого делал, это мы знаем и угадываем крайне плохо. И вот тут идут вопросы, вопросы, вопросы.

Самый первый и, пожалуй, самый важный для нас вопрос (ведь книга входит-то в серию "Пламенные революционеры") : участвовал ли Николай Александрович непосредственно в революционном движении 60-х годов? Что участвовал, то об этом спору нет, — но как, где, в качестве кого? Входил ли в подполье,

писал ли революционные прокламации, выполнял ли отдельные поручения? Об этом можно только догадываться.

И вот исследователи догадываются.

"Многочисленные косвенные данные позволяют утверждать, что на рубеже 60-х годов в России начинала складываться такая организация. Ее ядром был руководящий кружок "Современника" во главе с Добролюбовым и Чернышевским" (В. Жданов).

Сказано, конечно, очень категорично, но ведь это все-таки не больше, чем общий, логический вывод из ряда мелких косвенных данных. Ни одного прямого факта у нас нет. Члены редакции "Современника" были очень осторожные люди.

Далее. Один из наиболее близких друзей Добролюбова и видный сотрудник "Современника" поэт М. Л. Михайлов напечатал и распространил две прокламации с прямым призывом к революции. А что же Добролюбов? "Конечно, Добролюбов не мог не знать об этой стороне деятельности Михайлова", — замечает тот же В. Жданов, но тут же в скобках и оговаривается: "Прямых сведений об их подпольной связи не сохранилось". И так повсюду. Нет, не сохранилось, надо полагать, не мог не участвовать, не мог не знать — эти оговорки и в скобках и без них сопровождают всю жизнь Добролюбова вплоть до могилы.

Последняя страница дошедшего до нас фрагмента дневника 1859 года обрывается фразой: "Мало нас... Если и семеро, то составляет одну миллионную часть русского народонаселения. Но я убежден, что скоро нас прибудет..." И все. Остальное уничтожено. Опять приходится гадать. Впрочем, тут уже расшифровка трех заглавных букв строчкой выше сразу объясняет все. Оказывается, в семерку эту входят "Ч, О да С" — Чернышевский, Обручев, Сераковский. Обручева арестовали через два года, Чернышевского еще через год, Сераковский погиб позже всех, в 1863 году. Итак, из четырех названных Добролюбовым ушел только один он, и то только потому, что смерть

поторопилась. И, конечно, совершенно недаром Добролюбов еще за год до этого писал:"Уж я хотел было обратиться из явной полиции в тайную, которая должна меня знать несколько лучше". И тут опять же те же таинственные скобки, заполнить которые мы при нашем теперешнем состоянии знания о революционном подполье не можем. И вот новая. странность: никаких материалов о Добролюбове в архиве III отделения не обнаружено: уничтожить их было некому — так неужели же он и впрямь был таким гениальным конспиратором? И еще новые вопросы. Вопрос о знаменитом "письме из провинции", появившемся 1 марта 1860 года в "Колоколе". Оно, конечно, безымянное. Его автора искали М. К. Лемке, М. Н. Покровский, Г. О. Берлинер, Ю. М. Стеклов, а в последнее время — С. А. Рейсер, М. В. Нечкина, Б. Л. Козьмин, Э. Л. Ефименко: сначала авторство Чернышевского считалось почти доказанным, потом оно сильно заколебалось, и сейчас в наиболее сильном "подозрении" оказывается Добролюбов. Да, это, видимо, он наставлял Герцена: "К топору зовите Русь!" Это голос его дневников и писем.

Вопрос о том, как следует понять такие строки, произнесенные над свежей могилой: "Там (в Италии)... он весь погрузился в ту кипучую деятельность, которой тогда жила соединившаяся Италия, познакомился со всеми тамошними деятелями, принимал живое участие в их делах и прениях, несколько раз проезжал Италию из конца в конец". Это из некролога, помещенного в журнале "Время" Ф. Достоевского и приписываемого ему самому. За этими строками скрывается, видимо, чрезвычайно многое. И снова приходится гадать и гадать. Не по собственному же только побуждению (от своего же имени) Добролюбов несколько раз пересекал Италию (кому бы в Риме в то время вдруг понадобился этот неизвестный больной русский?). И в какую "кипучую деятельность" он, никому не известный чужестранец,

мог погрузиться? Это было по плечу профессиональному революционеру Оводу, но больному литератору, автору критических статей... Или он имел какие-то чрезвычайные полномочия? Так от кого же? Вот мы опять видим самый кончик нитки из клубка, который никак не разматывается. А он, верно, и полномочия имел и поручения какие-то выполнял. Это снова подтвердил через сорок лет один из вспоминателей (Д. П. Сильчевский). ”Его политическая деятельность в Италии в 1861 году (когда итальянцы, руководимые Мадзини и Гарибальди, стремились к окончательному объединению и захвату Рима и Италии) у нас и доныне остается неизвестной”. ”У нас” — не следует ли из этого, что в Италии знали больше? Это написано в 1901 году, но скобки, в которые заключены имена двух великих республиканцев Италии, и до сих пор не раскрыты. Но не значат ли они, что Добролюбов был знаком с обоими вождями объединенной Италии? Этого нельзя исключить, но и доказать пока тоже невозможно.

И еще вопрос не менее важный. Что значит такая беглая фраза Н. Серно-Соловьевича, адресованная Герцену: ”А поездка Добролюбова и ваши взаимные отношения во время его пребывания?” Об этой поездке к Герцену мы ровно ничего не знаем, как и о дальнейших встречах. Так неужели это просто риторический вопрос? Думается, что безусловно нет.

Сотрудник ”Современника”, один из организаторов ”Земли и воли”, арестованный в один день с Чернышевским и погибший через четыре года в Сибири, — Николай Александрович Серно-Соловьевич знал чрезвычайно много и слов на ветер, конечно, не бросал. Так, значит, были такие отношения? (Вспомним ”К топору зовите Русь”.) Но как, где, в какую форму они вылились? К чему привели? Что значит слово ”взаимные”? Не является ли это ключом к последующему, итальянскому периоду жизни Добролюбова, и не от Герцена ли он приехал к Гарибальди? Тогда становится ясным многое.

Все эти вопросы касаются той части, которая входит в понятие ”Пламенный революционер Н. А. Добролюбов”.

Однако и личная жизнь Николая Александровича в огромной части утаена от нас точно так же, хотя и по другим причинам.

”Жизнь Добролюбова внешними событиями не богата. В ней нет ничего такого, что бросалось бы в глаза своей яркостью, что привлекало бы внимание необычностью событий и положений. Учился, четыре года сотрудничал в ”Современнике” и умер. Умер в такие молодые годы, когда многие только еще начинают жить” — так начинается вступительная статья В. Полянского к первому полному изданию ”Дневника” (1931 г.). А о самом этом ”Дневнике” говорится так: ”Дневник”, как и письма Добролюбова, не затрагивает многих, даже основных моментов его жизни”. К сожалению, с этим не поспоришь; это действительно так. В том виде, в каком ”Дневник” дошел до нас, он представляет из себя груду обрывков, разрозненных листков, тетрадок с выдранными листами. Над ним, видимо, поработало много рук. Кое-что слишком уж интимное уничтожил еще Чернышевский. Но ведь странным образом пропали даже те части дневника, которые как будто пропасть никак не могли. Ведь только совершенно случайно, из донесения полицейского агента, мы узнаем, что дневник Добролюбов вел всю жизнь. Вот что сообщает агент: ”Чернышевский вынул из кармана тетрадку и сказал: ”Вот, господа, дневник покойного, найденный мной в числе его бумаг. Он разделяется на две части... до отъезда за границу и на записанное после его возвращения. Из этого дневника я прочту вам некоторые заметки, из которых вы ясно увидите причину его смерти”. И вот эта ”душераздирающая” тетрадка” (так назвал ее Панаев) пропала бесследно. Как это могло случиться? При каких обстоятельствах? Кто в этом повинен? Ведь даже если бы она была забрана с бумагами Чернышевского, то и то бы сохранилась в

каких-то архивах. А просто уничтожить тетрадки никто из редакции "Современника", конечно, не мог. Да если бы что-то подобное и было, Чернышевский когда-нибудь бы да обмолвился об этом в каких-нибудь своих письмах и разговорах. Итак, можно допустить, что когда-нибудь этот бесценный документ окажется в руках исследователя. И тогда все последние годы жизни Добролюбова, его встречи с Герценом, непонятный заезд в Прагу, "кипучая деятельность" в Италии выйдут из той непроницаемой тьмы, в которую они погружены по сегодняшний день.

Кроме того, существует еще одно обстоятельство. "Надо ясно представить, — пишет С. Рейсер, — что современный читатель Добролюбова не знал. Ни разу при его жизни его именем не была подписана ни одна из появившихся в печати работ... Мало кто знал, что полтора десятка псевдонимов прикрывает одно лицо". (Псевдонимов было даже значительно больше — так, Масанов[1] их насчитывает 25.) Здесь, конечно, дело не только в чисто практических соображениях, которые могли быть у редакции "Современника", но и в самом характере Добролюбова. Он болезненно ненавидел всякую публичность, и личный мир его был наглухо захлопнут для всех (вот почему еще совершенно бесценен для нас его дневник, неожиданно столь искренний и беспощадный к себе. "Я не знаю в литературе дневников ни одного столь откровенного", — написал при его публикации в 1909 году С. А. Венгеров). Добролюбов не располагал к расспросам, в этом отношении почти комически звучит такое признание Чернышевского: "Добролюбова я любил как сына. Но что делает Добролюбов, кроме того, что он пишет, я не знал. Пока... разного рода поручения не оказались слившимися в одно поручение: "Вот там-то живет такая девушка" и т. д. в этом вкусе. Я разинул рот. Ничего подобного

---

[1] М а с а н о в И. Ф. Словарь псевдонимов, т. I—V. М., 1956—1960.

в жизни Добролюбова я не предполагал". Ну, положим, таков Чернышевский. Но вот человек совсем другого темперамента — эмоциональный, горячий, впечатлительный. "Я сейчас был у Добролюбова, — корил Чернышевского Некрасов, — я не воображал, как он живет. Так жить нельзя. Положим, вы сами не умеете ни за что взяться, но хоть сказали бы вы мне". Таковы были отношения Добролюбова с наиболее близкими ему людьми, так что же говорить о других? О родственниках, с которыми он не был близок, о знакомых, которых он не любил, о друзьях, с которыми он раздружился. Читаешь их воспоминания, любовно собранные в толстый том, и видишь, что ничего эти люди в интимном Добролюбове так и не поняли. Цельного образа не складывается. И не потому, что эти воспоминания противоречивы и очень уж недостаточны (это-то само собой), а просто потому, что никто из окружающих так и не смог проникнуть в эту душу.

Остается еще примерно до шестисот печатных листов прозы и стихов. Но ведь это бесценный материал только для исследователя, а никак не для писателя. Из собрания сочинений никакого романа никогда не выкроишь, хотя оно и необходимый фон, на котором все происходит, причина того, что я обращаюсь именно к этому, а не к другому образу. Словом, оно конечная цель моего произведения, его тональность и характер, но ни в коем случае не сама художественная ткань.

Так как же тогда писать про этого человека? И вообще выполнима ли эта задача? Мне кажется, что писать можно. Надо только взять Добролюбова не самого по себе, а как один из великих характеров эпохи. Ведь при всей неясности и пунктирности добролюбовской биографии, ни в коем случае нельзя сказать, что его личность была неясна, расплывчата или противоречива. Это цельный характер, у него ясная и четкая типология — короче, это типичный шестидесятник, и тут слова "великий революцион-

ный демократ" являются очень точным определением. Добролюбов мог существовать только в тесном соприкосновении с эпохой, вне революционного движения 60-х годов и даже более узко — вне круга "Современника" его вообще представить невозможно. Просто тогда жил бы и сотрудничал в журналах молодой талантливый филолог Н. Добролюбов; ни в коем случае не (господин) Лайбов или Л-ов, произведения которого будоражили всю молодую Россию. Если посмотреть на писательскую задачу с этой стороны, то литературное наследство Добролюбова, не переставая быть памятником эпохи, обретет характер "человеческого документа", т. е. превратится в отпечаток личности и характера. А с таким документом, конечно, писателю уже есть что делать.

Итак, исходя из всего сказанного, я предложил бы редакции не просто роман, а роман-поиск. Я построил бы его так: герой открывается перед исследователем постепенно. Я даже думаю, что исследователей в романе должно быть двое — ученый старой школы, роющийся в книгохранилищах и извлекающий из архивной пыли все новые и новые документы, и его ученик, молодой историк нашей формации. Этот умеет не только найти и сопоставить документы с уже известными, но и заставить их заговорить или заспорить друг с другом. А так как речь пойдет не столько о явной, сколько о тайной жизни героя, о его подпольной деятельности, то поиски ученого будут связаны со своеобразным расследованием, с допросами давно умерших, с разработками разных версий, с выяснением психологических возможностей. Исследователь сам пишет, и у него получается целое повествование, не всегда и не по всем пунктам научно доказанное, но всегда вероятное и художественно убедительное. В некоторых случаях, перебирая разные версии, исследователь представляет читателю два или три варианта событий и подсказывает наиболее возможный.

Таким образом, получается довольно широкая картина эпохи и людей, ее населяющих.

...Когда творец создал Адама, все духи Земли склонились перед ним, кроме Демона Иблиса, созданного из чистого огня.

Изречение из Корана

Я — из огня, Адам — из мертвой глины,
И ты велишь мне пред Адамом пасть!
Что ж, сей в огонь листву
сухой
маслины.
Смиряй листвой его живую страсть!
О, не смиришь! Я только выше вскину
Свой стяг. Смотри: уж твой Адам
Охвачен мной! Я выжгу эту глину,
Я, как гончар, закал и звук ей дам.

Иван Бунин

Глава первая

ПРОПАЛА БУРАЯ КОРОВА

А была она стельная и молока давала много, хватало не только на всю их семью (а всех Добролюбовых было, не считая работницы, няньки и дворника, десять душ), но еще и оставалось на продажу жильцам. Заплатили за эту корову на базаре сорок рублей ассигнациями (тринадцать с полтиной серебром). То, что этакая корова внезапно так глупо пропала, было, конечно, большой утратой, но в конце концов не несчастьем же. И вот однако же даже тогда, когда Николай стал критиком Н. Лайбовым (это его первый псевдоним, а всего их было 37), и номера "Современника" с его статьями рвали из рук, — изо всех дней своей юности он чаще и больше всего вспоминал именно вот этот.

Об нем он и сейчас рассказывал своей собеседнице.

Она сидела рядом на стуле, он лежал на диване и говорил. Доктор разрешил ему сегодня встать, пройти по комнатам и посидеть у открытого окна. В Петербурге стояли сухие, очень ясные августовские дни. Чахоточные в эти дни, даже и столь же безнадежные, как он, оживают и чувствуют себя почти здоровыми. "Ему уже ничто не может повредить", — сказал доктор в соседней комнате Некрасову, и тот отошел и закусил губу — человек он был жесткий, малочувствительный и к слезам не склонный. А та, что сидела над умирающим критиком Лайбовым, та и не могла плакать. Она сидела, потупив голову, вышивала что-то мелкое голубым бисером и слушала. Говорил Добролюбов медленно, вдумываясь в каждое слово. И трудно было понять, отчего иногда что-то в нем содрогалось — от болезни или воспоминаний.

Итак, стоял тогда канун нового 1862 года (значит, это случилось 9 лет тому назад, поняла она). Он уже совсем собрался идти к Лаврскому и даже надел шинель, как вдруг в комнату вошла матушка и сказала:

— Сбежала со двора Буренка! — лицо у нее словно улыбалось, а глаза были красные, с воспаленными подглазьями.

Он скинул шинель. Надо было что-то сейчас же делать. Он был старшим: через несколько дней ему должно исполниться 16 лет. На нем после отца лежал ответ за дом. Таков был неписаный закон семьи, и он его принимал и выполнял свято, — но что же можно сейчас сделать? Виновата раззява работница Аксинья — позабыла закрыть хлев, а дворник тоже не запер ворота, вот корова и ушла. А когда скотина уходит на Новый год — это всегда очень, очень нехорошая примета, и отец (несмотря на свой священнический сан, был он суеверен), конечно, очень будет расстроен. Это Николай сразу понял.

Ходили, искали, кликали. Она не отзывалась. Соседи и жильцы тоже ничего не знали. Значит, уже и не придет. Он сидел и думал об этом, как вдруг во-

шел отец. Он все еще был в рясе, значит, пришел из собора.

— Пропала корова, дети будут без молока, — объявил отец.

— Я знаю, папаша, — ответил он покорно и виновато.

Отец сел против него, постукал пальцем по столу и печально, хотя и безгневно сказал:

— Да, ты знаешь и ничего не делаешь. Ты искал ее?

— Весь дом искал, — ответил он.

— А ты нет. В этом и все дело.

Отец вздохнул и как бы в каком-то тяжелом раздумье покачал головой.

— Ты что, я вижу, уже собрался куда-то?

— Да нет, я просто... — и больше у него ничего не нашлось. Перед отцом он всегда робел. А тот все сидел, все постукивал и постукивал пальцами по столу и говорил:

— ...а что это значит? Сбежала корова — это значит, что семья останется без молока, раз; пропадут сорок рублей, два; да еще сорок придется потратить на новую, три; итого восемьдесят рублей. Великие деньги! Где их взять? От жильцов чистого дохода остается в год сто тридцать рублей, остальное уходит на выплату процентов в строительную контору. Дом-то все еще не наш, но ты и об этом не думаешь.

Надо было молчать. Только молчать. Сидеть, опустив голову, и молчать. Ничем не выдать, сколь мучительны и бесполезны подобные отцовские поучения. Ведь отец просто изливал на сыне свое настроение — у него опять не сладилось что-то на службе. Утром он получил замечание от преосвященного Иеремии и пришел домой сердитый и расстроенный. Было бы, конечно, что и возразить епископу, но до этого Александр Иванович не доходил никогда. Всю горечь, весь оцет и желчь он уносил с собой и выплескивал дома на жену и сына. А потом гремел с церковного амвона. Все знали, что Александр Ивано-

вич — настоятель Верхоприходской церкви — гневлив и запальчив. А во гневе несдержан и велеречив. Проповеди в часы гнева он читал громовые. От них обмирал весь приход — так что благодарность от духовного начальства "за особые труды и тщание в сочинении проповедей" он получал не зазря.

А сейчас он был иным. Скорбным и тихим. Он взглянул на сына, который всегда был перед ним в чем-нибудь да виноват, встал, прошелся по комнате, заглянул в окно — не идет ли жена (пропала корова, а она ушла с детьми куда-то в гости, но с ней еще будет тоже хороший разговор), и, отходя от окна, сказал тихо и ровно:

— Пока я жив, и дом будет стоять, а умру, куда вы все денетесь? Вы же с голоду помрете.

Тут Николай и осмелился.

— А я, батюшка? — спросил он и сразу понял, что ляпнул страшную глупость. Он как бы уже принял смерть отца, согласился с ней, обдумал ее со всех сторон.

Отца передернуло, но сейчас же он пересилил себя. Гнев у него сегодня был не кипучий, не деятельный, а скорбный и тихий, философский. Он быстро перешел к другому стулу и осторожно опустился на него.

— А ты негодяй, — сказал он очень просто. — Я надрываюсь для вас из последних сил, а тебе и дела до этого никакого нет. Ты ж никого не любишь и отца первого, так? Вот пропала корова — значит, давай, отец, выкладывай еще восемьдесят рублей, бери где хочешь, мне до этого дела нет, так? — Николай молчал. — Ну, так?

Он не знал, что ответить. Возражать отцу было нельзя, но и согласиться с этим — не любишь отца, тебе ни до чего дела нет — тоже было невозможно, поэтому он только ниже опустил покорную и всегда виноватую голову.

— Вот видишь, ты молчишь, прячешь глаза, потому что тебе просто нечего сказать. Так?

Он опять смолчал.

— Но и это не главное. Главное, что ты дурак. Так?

Вот с этим нужно было согласиться.

— Так, — ответил он.

— Вот! Хорошо, что ты это сознаешь! Хотя нет, не сознаешь, конечно, а только опять хитришь отца. Но все равно ты дурак. Если бы не был дурак, то сейчас бегал бы и искал корову. Полиции заявил бы. Но ты дурак, и ничего путного из тебя не выйдет. Ты учен, не спорю. Сочинения всякие хорошие пишешь, но это все вздор. Ты ленивый и нерадивый. Пропала корова, а ты собрался куда-то бежать. Все вы на меня надеетесь. Я ведь уже недолго проживу. Да уж скорее бы, скорее! Надоело все, ох, как надоело! Лучше уж пятаки на глаза и в яму, чем так-то! Ну что, не так?

У него ничего не было заготовлено, и он сказал:

— Так-с.

Отца снова передернуло.

— Вот то и обидно, что все ты знаешь, а притворяешься. Вот поэтому меня ничего не свете не радует, нигде не нахожу себе никакого отдыха. Подлецы вы все. Весь мир подлец. Я умру, и никто ни в чем вам не поможет, даже пальцем не пошевельнет — зачем вы кому-то? Так?

— Так-с, — ответил он почти искренне. Это он уже научился понимать.

— Хило-гнило, хило-гнило, — сказал отец горько и насмешливо. — Считаешься умным, а тут, — он указал ему на голову, — пусто! Ветер там! Нет, надо уметь жить! Деньги надо уметь зарабатывать, а это не просто, ох, как это не просто! Вот ты пишешь о том, о сем, о ярмарке, о погоде, а Александр Иванович тебя что-то не печатает. Что же он тебя не печатает? В нашем доме живет, ты у него книги берешь, с дочками и женой на масленице катаешься, а он тебя что-то не печатает. Что же так? Или это тоже не так?

Александр Иванович Щепотьев, верно, жил в их доме, был чиновником особых поручений при губер-

наторе и редактировал ”Нижегородские губернские ведомости”. Он заказывал Николаю статьи в городскую хронику, брал их, читал, держал, но ничего не печатал. Тут отец был прав.

— Вот в этом-то и дело, хило-гнило, хило-гнило. Ты думаешь, сел за стол, сочинил какую-то там чепуху или стишок сложил, отнес их в газету, и все? И пожалуйста, пачка ассигнаций! Нет, сын, не так! Совсем не так! Надо поработать, и не перышком, нет! А вот головкой, семь потов с себя согнать, а потом и получишь. Бумажечку к бумажечке — вот так, — отец потер пальцами, — деньги он любил и счет им знал. — Вот так, а не этак, как думаешь. Так?

— Так-с, — ответил он.

— И вот тебе пример. Пропала корова, а ты... — отец встал и пошел по комнате.

Вбежала мать, как была в шубе, в снежинках, только без платка, и сказала, задыхаясь:

— Привели корову.

— Как? — отец остановился так внезапно, что даже пошатнулся на месте. У него было перекошенное лицо человека, налетевшего лбом на забор. Он постоял и вдруг покраснел, рассердился по-настоящему деятельным, порывчатым, привычным гневом, махнул рукой и вышел из комнаты.

В тот день Николай записал в дневнике:

”Когда папаша говорил, я не смел, не мог произнести ни одного слова. Я бы нашелся, что сказать, но у меня недоставало духу говорить! Не понимаю, что это такое... не так, не так надо со мной говорить и обращаться, чтобы достигнуть того, что он хочет. Нужно прежде разрушить эту робость, смирить эту недоверчивость. Впрочем, что винить папашу? Я виноват один. Я причиной этого. Должно быть, я горд и из этого источника происходит мой гадкий характер... Однако чудный денек. Все так встречают Новый год? Не правда ли? Можно повеселиться”.

Дом отца стоял высоко над городом у самой Волги на откосе Лыковой дамбы, на Дворянской улице. Это был прекрасный — один из лучших домов в городе, белый, трехэтажный, с флигелями и службами. Его ничего не заслоняло, и в ясный солнечный день он блистал так, что на него было даже больно смотреть. Строил его в начале сороковых годов архитектор Кизеветер, и Николай еще помнит, как отец за руку водил его смотреть, как строят. Там все ходило, шумело, кипело: что-то мешали заступами, загребая разом толстые сырые бурые пласты; что-то пузырилось, пучилось и вздувалось в деревянных четырехугольных корытах. Все люди были в фартуках, измазанных чем-то белым, бурым и синим. Уже стояли леса, и по ним носились вверх и вниз подносчики. Только на самом верху была тишина — там работали. Посмотреть на лихих тачечников, каменщиков, землекопов и плотников и привел его отец. Он был в новой шелковой рясе и камилавке, строгий и благостный. С ним разговаривал молодой мордастый подрядчик. Он стоял без картуза и два раза назвал отца ”Ваше высокопреподобие”. Отец был доволен. ”Вот дом будет, — сказал он по-доброму, когда они вышли со стройки обратно. — Дочкам — приданое, тебе — приют, нам с матерью под старость — теплый угол”.

А еще через какое-то время отец сказал ему: ”Ну, идем, посмотрим на наше владение. Завтра молебен”. Был праздничный день. Они прошли в дом, уже чистый и прибранный, мимо рабочих без фуражек, застывших в почтительном смирении и молчании, и поднялись по всем этажам. Он с отцом шел первым, за ним вели и несли сестер. А мать шла сзади, открывала настежь окна. Было очень сыро, откуда-то дуло и сильно несло масляной краской, землей и непросохшей известью. ”Ты уж большой, смотри, все принимай”, — сказал отец. Да, ему уже было (целых) семь лет.

Так он впервые вступил в этот родительский дом, и потом все его воспоминания — и почти мла-

денческие, и отроческие, и юношеские — были тесно связаны с ним. Он любил его и гордился им. Из своей комнаты (он жил во флигеле на втором этаже) он в тихие часы заката смотрел на Волгу, на золотую гладь ее, вспыхивающую синей искрой, серебром и чернью, — как будто шла косяком стая золотых рыбок (пасмурные дни и серую ненастную воду он не любил), и дальше на почти черную таинственную зелень их сада, на чересполосные фруктовые сады с темными куполами и светло-зелеными, а осенью оранжевыми, багровыми кустами, на мощные заросли громадных морщинистых лопухов и крапивы с змеиным запахом и желтыми сережками. Эти заросли покрывали все глинистые откосы и кончались только у заборов; на колючий лилово-красный татарник и буро-желтые скелеты пустых дудок — в осенние дни они раскачивались и гудели: здесь дули сильные ветры, смотрел вниз, на город, лежащий под ним в разноцветных крышах и белых воротах, на узкую Зеленую улицу, где он родился, крутой спуск, покрытый мелкой, частой, мягкой муравушкой, и думал: лучше, укромнее и ближе нет уголка на свете.

— Да, так порой мне тогда казалось, — повторил он задумчиво.

— Только порой? — спросила она.

Он не любил воспоминаний и редко поддавался им, это, конечно, болезнь его разговорила, подумала или поняла она.

Он промолчал, думая о чем-то своем, а потом сказал:

— В городе этот дом не любили. Не по чину, мол, берет поп! Глаза у попа завидущие, руки загребущие. Ишь, какие хоромы взбодрил.

— От трудов праведных не возведешь палат каменных, — улыбнулась она. Она знала: он любил пословицы и когда-то собирал их.

— Вот-вот! А потом ведь им часто приходилось спускаться около нас. Поднимут голову, и над ними парят эти белые хоромы, архитектура легкая, свет-

11–2280

лая, все в них точно, симметрично, просто, ничего тяжелого, лишнего. И все утопает в зелени. А ведь зеленое и белое — это очень красиво, они так оттеняют друг друга.

— Да, конечно, — сказала она, вглядываясь в эти белые хоромы его детства, и даже положила вышивку к его ногам на диван. — Да, это должно было быть очень красиво...

— И солнце, солнце, представляете, волжское солнце и ветер оттуда, с Волги. — И тоже замолчал, глядя в ту же сторону, что и она.

Дом, настоящий, каменный, в котором он жил, и тот, другой, фантастический, который она только что представила, выплыл и встал перед ними обоими. Так они сидели с минуту и смотрели на них. Потом он слегка тронул ее за руку.

— Помните, у Мерзлякова про дуб. "Один, один, бедняжечка, как рекрут на часах". Когда-то у нас в доме часто пели эту песню. Так вот, многие нас не любили за этот дом. Завидовали. И первый — преосвященный Иеремия, епископ Нижегородский и Арзамасский. Он столько попортил кро́ви моему отцу.

— А потом и вам.

— Да, и мне потом. Но это уже по наследству. Отец умер, а ему не хотелось возиться с нашим семейством. Так вот, он придумал отдать моих сестер в монастырь. Спасибо, люди помогли. Не дали.

— Таких малюток? Так он что, был изувером?

Он подумал.

— Не знаю. Может быть. А может быть, и нет. Не знаю. Был властолюбив и непреклонен. Его все боялись. Кажется, страдал сребролюбием. Но всегда производил впечатление чрезвычайное. Я до сих пор помню, как он впервые появился у нас. О, это была настоящая гроза! Гром из тучи! Я даже написал тогда об этом специальное сочинение.

Вошел Некрасов, не глядя на них, подошел к окну и закрыл его.

— Хватит, Николай Александрович, — сказал он мягко и твердо. — Сейчас вам принесут обед. Идемте, Авдотья Яковлевна.[1] Мне сегодня доктор сказал, что дело идет на поправку. Только не надо мешать.

— Мне этим не помешаешь, — сказал Николай. — Авдотья Яковлевна для меня всегда...

— Луч света в темном царстве, — полуулыбнулся Некрасов. — Нельзя, отец Ника, нельзя. Попадет мне, а не вам обоим. Идемте, Авдотья Яковлевна. Я уж про епископа Нижегородского и Арзамасского утром послушаю сам.

Глава вторая

ЗИМА И ЛЕТО 1851 г. ПОЖАР 1853 г.

И вот что на утро он рассказал ей и Некрасову. В городе владыку ждали давно. В церкви уж провозглашали многие лета — а он все не ехал и не ехал. Говорили, наверное, прибудет только летом: болеет грудью и боится сырой нижегородской осени. А осень и верно в тот год выпала затяжная и дождливая. Отец, возвращаясь из собора, отдавал прислуге заляпанные сапоги и строго предупреждал: "Не ставь к самому огню". Потом надевал туфли и грозил пальцем: "Ну, посмотрим, как вы, господа хорошие, в саночках-то нынче покатаетесь". Мой отец говаривал: "Если до ноября снега нет, то и масленой не будет. Такие метели закрутит, что носа не высунешь. Вот так-с, судари мои, вот так-с. Деревенские старики все знают, их слушать надо". Но однажды перед самым праздником ночью вдруг повалил снег и шел до утра, мягкий, пушистый. На первый день масленой Николай взглянул в окно и увидел, что зима легла плотно и широко. Сверкали высокие, по грудь,

---

[1] А. Я. Панаева, на руках которой Добролюбов скончался в ночь с 16 на 17 ноября 1861 г. — *Прим. автора.*

сугробы. И несмотря на ранний час, дворники уже вовсю шаркали белыми лопатами: готовили масленичную дорогу.

За завтраком Николай сказал отцу, что сегодня он поедет кататься — пригласили. Александр Иванович отставил тарелку, встал, перекрестился на свой именинный образ и спросил:

— Со Щепотьевыми?

Николай кивнул головой.

— И сам будет?

— Нет, только Анна Федоровна.

— А-а, с Фенечкой, значит, — усмехнулся отец, полез в карман, достал бурый кожаный кошелек, щелкнул запором, вынул серебряный рубль и протянул сыну.

— На сласти, — сказал он.

Сын поцеловал руку.

— Только возвращайся пораньше, я тебя тоже прокачу. Я сегодня на Орловскую поеду служить. Не моя, правда, очередь, но я сговорился, не хочу на великий пост покидать паству. Так что ты с саней сразу домой, слышишь?

— Слушаюсь, папенька, — ответил Николай.

Чтобы не пропустить епископа, члены консистории по очереди дежурили на ближайшей к городу Орловской станции.

Разные слухи ходили о новом владыке. Говорили, например: строг, но справедлив и каждому доступен; взбалмошен и неуемен, предупреждали другие, привержен к вину и сребролюбив, улыбались чему-то третьи. Рассказывали, например, такое: едет в карете владыка и попадается ему навстречу семинарист. Он сейчас служке: "Ну-ка, кликни!" Семинарист, конечно, ни жив ни мертв, а владыка ему и дверцу настежь. "Садись, садись, милый, подвезу, да ты не смущайся, что голову-то повесил! Иерей должен голову и глаза только перед господом Богом да святыми угодниками потуплять. А хорошие у тебя глаза — голубые, чистые — такие не лгут. И ты мне не лги; я этого не

терплю, понял? Как фамилия-то? Чьих ты? Вот и все".

А через неделю ревизия: два учителя полетели за пьянство, один за распутство и сам отец ректор зашатался. Кто донес? Неизвестно. Самое осведомленное лицо из духовенства протоиерей кафедрального собора профессор и ректор семинарии отец Лебединский — взяточник и подхалим — был актером отменным, и такие сценки он показывал в лицах. За это да еще за язык острый Александр Иванович терпеть его не мог. "Протоиерей, — говорил он зло, — профессор! Не протоиерей, а паяц масленичный, — вот из тех, что в балаганах выламываются".(Отец выговаривал по-старому: не паяц, а паяс.) Но сын-то понимал: дело не в паясе. Александр Иванович был членом консистории, настоятелем Верхнепосадского собора, имел доходный дом, преподавал греческий язык и математику в семинарии, но до протоиерея и профессора ему было еще ох как далеко! А через день Лебединский показывал уже совсем другое. "Собрал владыка, — говорил он, — на светлое воскресенье гостей и засиделся с ними до ночи, вино кончилось, лавки закрыты, что делать?

Служка и говорит владыке: "Ну что же, Ваше преосвященство, наверное, следует гостям уже читать "Исход".

"Ну зачем же так? — отвечает владыка, — лучше уж "Послание к евреям".

При этом рассказе отец Лебединский благостно улыбался и хитро щурился.

— Шут гороховый, — качал головой отец. — Да у него и в соборе все такие. Вот правду говорят — каков поп, таков и приход.

Анекдот этот был старый-престарый, чуть ли не "времен Очакова и покоренья Крыма", и его знали все семинаристы. Однако утешало то, что не к каждому владыке он приложим, поэтому слушатели подоброму посмеивались. И отец тоже смеялся, а Николай смотрел на него и думал: "Ну вот, к нам едет

питуха, мздоимец, любитель наушничества и доносчиков, хуже ведь не придумаешь! А чего же они все радуются?" И вдруг перед ним блеснуло — давно ведь всем им и отцу первому — бессребренника-трезвенника и на дух не надо, им грешника подавай такого, чтоб брал, такого, чтоб врал, такого, чтоб глаза закрывал. Вот и сейчас отец бросил дом, семью, гостей и поехал вне очереди. Почему? Но говорил тот же Лебединский, что его преосвященство паче всех жалует почитающих его.

Отец взглянул на сына, и какая-то тень прошла по его лицу:

— Ну, ты тогда иди, иди, — махнул он рукой, — иди и скорей возвращайся! И слышь... того... Язык-то держи покороче, а то скажешь курице, а она всей улице. Скажешь Анне Федоровне, а господин Щепотьев наутро тиснет в своих"Ведомостях": "Встречал его преосвященство настоятель Никольской церкви отец Александр". А прочим будет обидно. Они зло затаят в душе. Зависть. Нехорошо!

Ничего господин Щепотьев тиснуть в "Ведомостях", конечно, не мог, и отец это отлично понимал, но вот язычок почесать — это да, это он обязательно почесал бы. И другие бы тоже не отстали. Прыток, мол, отец Александр, куда как прыток, от этого у него и дом двухэтажный появился!

— Слушаюсь, папенька, — сказал Николай и поднялся из-за стола.

Фенечка Щепотьева! Душа моя! Любовь моя! Тонюсенькая-претонюсенькая, беленькая-пребеленькая, пожмешь твою всегда холодную ручку и чувствуешь, как бьется в ней сердечко!

Извозчики занимали всю площадь, они стояли в ряд, не экипажи, как всегда, а черные розвальни. И лошади в них были что сущие львы гривастые, крутобокие, в яблоках лоском и желобками на богатырских спинах. Все они были в бубенцах, в голубых и красных бумажных розах, с веерами из белых перьев

на потряхивающих гривах. За облучками восседали извозчики, праздничные и важные, и ждали. Время от времени они подергивали вожжами, и тогда кони фыркали, прядали острыми чуткими ушами, косили горячим цыганским глазом...

Человеческое бестолковое множество, хмелек хозяев, масленичное раздолье, пестрота и суета передавались им — и они — чуткие твари! — только и ждали! "Ну, милые! Ну, мои залетные! Эх, прокатим!" И лягали наст так, что летели снежные брызги.

Госпожа Щепотьева прошла весь ряд, осмотрела все, сделала какой-то знак одному, и предстал пред ней лихач: дремучая медвежья полость распахнулась, пахнуло зверьем. "Садитесь", — пригласила госпожа Щепотьева, — они сели, и их понесло!

Извозчик был ладный, толстомордый, губастый, толстозадый, в синей поддевке с красным махрастым кушаком у бедер и с глазастым павлиньим пером на шапке. "Ну, мертвые! — крикнул он грозно и ласково выстрелил вожжами. — Я вас, каторжные!" И каторжные стронулись и полетели по воздуху. Острый ветер срывал шапку и бил в лицо. Все бежало, все гудело, все струилось и рушилось.

А на повороте все перевернулось. Николай сидел с Фенечкой тесно-тесно, и когда Фенечка вскрикнула и закрыла глаза, он больно сжал ее пальцы и притиснул к себе. И тут смешалось все — и запах медвежьего меха и острое чистое дыхание Фенечки, и неразборчивый вскрик Анны Федоровны, его шепот, небо, сугробы, ели. Весь мир вздыбился, встал белой стеной. Пахнуло снегом.

Но опять выстрельнули вожжи, и все оказалось на том же месте. Лошади стояли среди дороги, ямщик, улыбаясь, смотрел на господ, господа тяжело дышали. Николай сжимал руку Фенечки и чувствовал на лице ее дыхание. Но эту кратчайшую долю секунды, равную блеску молний, он выхватил и оставил у себя на всю жизнь.

А затем Анна Федоровна закудахтала, коренник ласково ржанул — он, очевидно, знал и уважал эти штучки, и тройка плавно и спокойно покатила к городу. Николай разжал пальцы, рука Фенечки упала. Он смотрел только на Фенечку, но вместе с тем замечал и санный путь, и красные стволы сосен, и черную шершавую кору елей. В одном месте горел костер, пламя в нем стреляло смолистыми иглами, голубыми дымками и люди теснились к огню. И вот уже версты повернули вбок, они въехали в парк, и древние дубы распахнулись им навстречу.

Мимо проносились из усадьбы господские тройки — одна, другая, третья, а в них сидели веселые баре и что-то орали, смеялись, пели, размахивали бутылками и штофами. В третьей тройке он приметил толстую даму в оранжевой шляпе, обвитой ленточками и с огромным страусовым пером, и отдал ей поклон. Она ответила. Это была хозяйка усадьбы — дама строгая и напористая, но сейчас она походила на разукрашенную лошадь, но только не на эту, масленичную, живую, веселую, а на мертвую карусельную деревяшку с голубыми обводами возле глаз. Он поскорее посмотрел на Фенечку и стиснул ей руку.

И опять поворот, опять летят и ложатся в снег полосатые версты, усадьба уже позади, уже город и матушка говорит дочери: "Ну, друзья мои, все! Едем домой! Уже и гости небось собираются! Фенечка, подбери волосы, на мой платок, вытри личико!"

Вернулся домой он возбужденный, красный и пьяный, но увидел прихожую, отца в праздничной рясе, простоволосую босую Феклу и рядом с ней грязную тряпку, ведро и мокрый пол и сразу же притих.

Отец усмехнулся и сказал:

— Покатался, значит! Ну, ну! Иди оденься. Сейчас гости придут. Поедем уж, видно, завтра чуть свет, уж не знаю, сколько мне придется там куковать. Масленица!

Вот что он написал в дневнике:

"Нынешний вечер я пожалел, что я так дурен лицом, а это со мной не часто бывает. (Надобно заметить, что я написал статейку для газеты, которой редактор — ее отец; кажется, это помогает его благосклонности ко мне и доставляет мне случай чаще с ними видеться, потому что он уверен, что одной статьей не кончится.)

Одной действительно не кончилось, всех статей было три: другие две, кажется, сгибли у редактора, по крайней мере, я доселе остаюсь для них, т. е. они для меня — во мраке неизвестности". И прибавил: "Это пока все вздор".

Но это не было вздором. Это было всем — Фенечкой, ее милым домом, его надеждами, так тогда и не оправдавшимися.

И вот теперь он едет встречать преосвященного.

— От него теперь зависит все наше благосостояние, — сказал ему отец. — Он человек своенравный. На него управы нет.

На станции они застали профессора и отца Крылова. Оба сидели за накрытым столом и о чем-то тихо беседовали.

— Ну как кстати подгадали, — сказал Лебединский, увидев отца. — Владыка-то будет не то завтра чуть свет, не то сегодня под вечер. Маркыч, — крикнул он, — еще два чая!

Отец разделся, перекрестился и сел к столу.

— Ну, слава Богу, — спокойно сказал он и покосился на лик пророка Иеремеи. Ну и шустры! Уже, значит, успели раздобыть именинный образ. А икона редкая, ее, конечно, пришлось поискать. — Вот чаю горячего хорошо с дороги, это точно. Значит, масленую проведем дома? Неплохо... Ну а вы как будете, ждать или?.. — обратился он к Лебединскому.

— Что ж теперь, похоже, уж дождались, — слегка развел руками протоиерей и, как показалось Николаю, насмешливо посмотрел на отца. Не успел, мол, обогнали тебя, батюшка, обогнали.

— Дождемся, дождемся, — подтвердил Крылов.

Вошел смотритель с самоваром, за ним девка с подносом, а на подносе фарфоровый чайничек для заварки, чашки, деревянный бочоночек с медом, бублики.

— Хороший мед у вас, Маркыч, — ласково кивнул ему головой Лебединский, — небось, от своих пчелок?

Смотритель что-то почтительно шикнул ("так-с точно-с"), водрузил самовар, очистил поднос и по-военному выпрямился над столом. Мундир был на нем парадный, жесткий, прямой, с медалями и сверкающими пуговицами. Фарфоровые чашки были с золотыми орлами по голубому полю и портретами царствующих особ.

— Так что? — спросил Александр Иванович. — Правда, что владыка с покойным Иаковом в семинарии за одной партой сидел?

— Не знаю, — покачал головой Лебединский, — тогда невдомек было спросить покойного, а вот видишь, пригодилось бы.

— Преосвященный Иаков старше на семь лет нынешнего владыки, — сказал Николай.

Все уставились на него.

— Нет, правда? — протоиерей засмеялся. — И все-то он у вас знает, все-то помнит. Вы его, отец Александр, обязательно свезите в Петербург и в духовную академию определите. Будет, будет толк! Может, еще к его ручке прикладываться придется.

— Да-да, — задумчиво и печально согласился Крылов, — четыре года — это срок, конечно.

Был он многодетным, болезненным и не больно счастливым в детях. О дочери он даже не упоминал, а сыновья бросили стариков, разъехались по городам и пошли по штатской. Служил же отец Крылов хорошо и душевно, лазал на звонницу и показывал пономарям и мальчишкам, как надо звонить и что такое тяжелый звон погребальный. А дома, говорят, иногда пил мертвую и плакал — тогда за него служил другой.

— Нет, в Академию, обязательно только в Академию, — решительно отрезал Лебединский и даже краем ладони ударил по столу. — А то теперь наши молодые все в университеты да еще в какой-то Педагогический институт норовят, чтобы, значит, от отцов подальше. В попы никто что-то не хочет. Суеверие, мол.

Отец покосился на сына. Сын уперся глазами в чашку и тихонечко позванивал ложечкой. Однако отец о нем знал все. Сын тоже спал и видел Петербург, Неву, университет, а насчет денег как-то сказал матери: "Я на стихах проживу".

— А что же университет, — пожал плечами Александр Иванович,— университет не беда, в нем тоже богословию учат. А то беда, что денег нет и взять их негде. С каких я доходов буду сына в столице держать? Это ведь тысяча в год!

— Да-да, доходы... — как-то неопределенно протянул Лебединский и поглядел на Крылова (тот ответно опустил веки). — Ныне христиане стали скупы, деньгу любят, деньги прячут, мало Богу дают. Пушкин это понимал, пил мертвую, без водки, говорят, перо в руки не брал, но все понимал. Оскудела вера — это точно.

Крылов согласно покивал головой, а Николая передернуло. Он все время ловил себя на том, что когда отец заговаривает о деньгах (вот-де он платит-платит в строительную контору, а долг не уменьшается, все идет на проценты), он постоянно подмечал в глазах слушающих мелких лукавых бесенят с высунутыми языками: что это, мол, поп так расплакался — вон небось какой дворец себе взбодрил! И жильцы у него как на подбор — князья, генералы, помещики! И все-то денег у него нет, все-то он бедный!

— Так, — сказал отец, — и отодвинул чашку. — Спасибо за угощение. А теперь надо бы пойти соснуть с дороги. А?

— Я вас провожу, — услужливо вскочил отец Крылов.

Не верят, подлецы, рожи всякие корчат. Эх, отцы, отцы! А вы-то прикинули, что как ни день, то десятка, т. е. три с полтиной серебром, летят из кармана! А где их взять-то? Вот и приходится ютиться во флигелечке. Мы же с женой сами десятые, не считая прислуги. И сын тоже норовит из дома прочь, разве он чувствует, что стоило, например, выделить ему отдельную комнату? Да что он вообще чувствует! Одно только — вот кончу семинарию и махну в Петербург. Здесь злой отец, больная мать, сестры, братья один другого меньше, а там-то — опера, балет, стеклярусы (почему-то отец больше всего ненавидел это слово), журналы, журфиксы, студенты, девицы. Шик! Сиди себе да знай катай стихи. Вот что у него на уме! Я такое, мол, там сотворю, что у меня весь мир ахнет! И вся у него эта завирательность от гордости! Только не застенчив он, а заносчив — вон что! Ну как же, я вот Горация по-гречески читаю, Вергилия наизусть знаю! А спросить бы — откуда все это у тебя? От отца! А ведь отец-то твой на медные грошики воспитывался, у него-то родитель был сельский дьячок, а не настоятель собора. Да-с! Кокочка! Вот ты о Петербурге, об университете, о разных разностях мечтаешь, а отец твой как кончил семинарию, так и полгода не погулял, сразу пошел в женихи, взял за себя дочку покойного настоятеля Никольского собора — твою маменьку, дорогой, твою родную маменьку-с. Потому что за ней это место было записано. И с тех пор сидит твой отец на месте и не курит. Где же ему об университетах да столичных разностях было мечтать? Ему детей надо на ноги ставить! Вот так, дражайший сынок!

Он взглянул на сына. Сын сидел за столом и смотрел в какой-то учебник, но зоркий отчий глаз сразу приметил дрожь, мгновенно прохватившую его. И Александр Иванович понял: сын не читает, он только загородился книгой от отца как щитом. И Александр Иванович подумал: да не о чем ему

говорить-то с сыном. Не о чем его спрашивать и нечему учить — он ни учений, ни поучений отца уже не примет.

А сын тоже все время смотрел на отца. Он знал его мысли и понимал, что они правильные. Два года назад он отобрал и отправил в редакцию "Москвитянина" профессору Погодину десяток своих стихотворений, обещал прислать и еще тридцать, если эти пригодятся. И просил сто рублей. "Не как плату, — писал он, — а как вспомоществование, потому что я, сказать правду, очень беден".

Профессор ничего не ответил. Ну, хорошо, это Москва. Но и в Нижнем то же самое. Их жилец Александр Иванович статьи-то заказывает, а печатать не печатает, точно не то-с! Нюх и хватка у него собачьи.

И то, что он, Николай, понимает о себе слишком много, это тоже точно. Иногда в такое занесет, что самому становится противно. Вот с Фенечкой, например. Что он там себе навоображал? Разве они пара? Разве ее отдадут за него? Он закрыл учебник, встал, опустился перед иконой на колени, быстро прочитал "Царю небесному", пожелал отцу доброй ночи, разделся, лег и сразу же заснул.

И вчерашний день возвратился к нему. Свистел ямщик, и буланые кони-львы несли их — его и Фенечку — по заметям и сугробам, по дорогам и перелескам, мимо высоких пылающих костров и елей. За ними гнались страшные синие, красные рожи, и Фенечка обмирала и прижималась к нему. Он метался во сне, стонал, вздыхал — по его лицу проходили тучи, огни костра, тени дубрав, и отец, глядя на него с другой кровати, хмурился и думал, что не в дьячковского внука, не в поповского сына, а в какого-то проезжего молодца выдался его первенец. Нет ему дела ни до родного гнезда, ни до семьи, ни до отца-матери, ни до сестер-братьев. Только бы крылья у него окрепли, и тогда только его и видели. Прощай, город на Волге! Здравствуй, город на Неве!

Впрочем, до этого еще четыре года — всякое за это время может случиться. Посмотреть бы с того света, что будет с ним через 20-30-40 лет! Да, посмотреть бы! Подивиться или порадоваться. Но вот беда — того-то света, кажется, нет. Пустота там. Яма. Очень сомнительное это дело — смерть! Ох, какое же оно сомнительное!

Отворилась дверь и просунулась голова Лебединского. Было розовое, снежное и серебристое утро.

— Преосвященный! — шепнул он.

Николай слышал, но не двинулся, а отец сразу вскочил, распахнул шкаф, достал рясу, камилавку, сапоги.

— Где? — спросил он, одеваясь.

— Разоблачаются.

Возле двери стояли жена смотрителя, два тихих мальчика ее и пономарь, его зачем-то захватил с собой Лебединский.

— Скорее, скорее, — повторял протоиерей.

За дверью уже слышались голоса и шаги. Преосвященный о чем-то спрашивал, а ему отвечали.

— Выходим, — почти панически шепнул Лебединский. — Сударыня, возьмите детей.

Они вышли, а Николай остался и прильнул к дверной щели.

По коридору уже двигалась целая процессия. Первым бежал рысцой смотритель, за ним шествовал преосвященный, сбоку преосвященного трусил Лебединский, за Лебединским шагал отец, за отцом плелся Крылов, за Крыловым же, ко всему равнодушный, ничем не встревоженный, шел пономарь, за пономарем жена смотрителя. Смотритель, как царские врата, пышно распахнул двери гостевой. Владыка вошел, остановился перед образом Владимирской Богоматери. Крестился он широко и размашисто — так, что чувствовалось: это обращается к Богу Персона! Простые иереи так крестятся только во время службы. Был владыка высок, строен, худощав и не

так чтобы уж очень стар, вряд ли ему намного перевалило за полсотни — покойный Иона был куда старше. Лицо же Преосвященного Николаю запомнилось сразу (он поглядывал в дверную щель). Прямой нос, мощный, но гладкие черные брови, холодные светлые глаза — такие глаза все подмечают и все удерживают в себе. В общем, красивое и значительное лицо. Неприятны были только его неподвижность и замкнутость да еще оливковая желтизна, такая тонкая и светлая, что она напоминала лак старинных портретов хищных неблагожелательных стариков с недобрым ястребиным огнем в глазах. Но владыка вдруг выпрямился, отошел от образа, поглядел на всех и улыбнулся. И сразу все его лицо осветилось.

— Который теперь час? — спросил он у Лебединского.

Голос был мелодичный, мягкий, глубокий.

"Ну, слава Богу, — подумал Николай, — ничего, переживем!"

Лебединский вынул из кармана часы. Преосвященный тоже.

— А я вам сейчас скажу, который сейчас час в Москве, — сказал он весело. — В Москве сейчас семь часов десять минут утра.

— И у нас столько же, — сказал Лебединский обрадованно, — мы же на одной долготе с Москвой живем.

— Да, долгота-то одинаковая, — согласился владыка.

"Я уже люблю его", — быстро подумал Николай.

— Может, чайку с дороги, ваше преосвященство, — осмелился отец.

Он стоял вспотевший, красный от волнения и напряжения, и было видно, как ему хочется вставить хоть одно слово. Но протоиерей не давал и заговорить. На все вопросы отвечал он один. Крылов же вообще стоял в углу и молчал.

— Да нет, подождем уж до города, — ответил владыка, — садитесь, отцы! А там у вас кто? — легким,

почти юношеским шагом он подошел к двери и распахнул ее. — Ну-ка, господин, пожалуйте сюда, — сказел он весело, взял за плечи Николая и провел в гостевую. — Да там еще кто-то стоит. Идите, идите все сюда! Я всех хочу видеть!

Вошли ямщики — обратный, подменный и курьерский — тот, кого специально держали для казенной надобности.

— Ты кто же такой? — спросил владыка Николая.

— Сын этого священника, — опять опередил отца Лебединский, — семинарист.

Владыка положил руки на плечи Николая и заглянул в его глаза. Взгляд был глубокий и неподвижный. И тут Николай понял, что владыка может быть совсем иным — язвительным, непреклонным и даже жестоким. И не дай Бог сделать что-нибудь не по его. Или даже просто с чем-нибудь не согласиться.

— Фамилия? — спросил владыка. — Добролюбов? Хорошая фамилия. Хорошо, если бы у вас все были Добролюбовы. Так?

Он спрашивал мягко, но настойчиво и все давил и давил Николаю на плечи.

— Так, — ответил Николай.

— Но не только одним именем, — поднял палец владыка, — но еще и... Чем?

— Делами, ваше преосвященство, — быстро ответил Николай. Владыка отпустил его плечи.

— Да, и делами, семинарист, — и уже по-простому, мирскому перекрестил Николая и поднес к его губам наперстный крест. Потом повернулся к отцу и задал ему несколько быстрых определительных вопросов — в какой церкви он служит? Давно ли? Велика ли семья? Велик ли его приход? На ком женат? Каковы доходы? — Так, — сказал он, выслушав все, и взглянул вопросительно на Лебединского.

Тот понял, сделал знак, и ямщики потянулись за благословением. Но им крест владыка уже не давал. Потом он резко отвернулся, махнул рукой, и опять Лебединский сразу понял и что-то негромко сказал.

И комната сразу очистилась, осталось только духовенство и Николай.

— Указы для меня есть? — спросил владыка, усаживаясь в кресло и поглаживая подлокотники.

— Целых три, ваше преосвященство, — ответил Лебединский.

— В одном будет манифест о бракосочетании великого князя, — сказал владыка. — Когда же нам его огласить? Наверное, уже в субботу или даже в воскресенье. Как полагаете?

И тут из угла раздался голос отца Крылова:

— Ваше преосвященство, в субботу и воскресенье никак нельзя.

Владыка повернулся всем телом к Крылову. А тот уже ошалел от своей смелости, лицо и губы у него подрагивали, он улыбался, а руки тельтешили.

— Что же так, отец? — спросил владыка добродушно. — Почему нельзя?

— Так ведь, — тут Крылов даже позволил себе улыбнуться, — так ведь в понедельник, ваше преосвященство, трехдневный звон.

— Ах, да, да, — вспомнил владыка и улыбнулся тоже, — в самом деле, чистый понедельник! Так, значит, отслужим в пятницу, так, что ли? — Он словно советовался.

— Так, ваше преосвященство, — проблеял Крылов.

Поговорили еще о положении дел в епархии, о семинарии и даже каким-то образом коснулись журналиста Николая Надеждина.

— Это наш ученый муж, — сказал преосвященный и повернулся к Николаю. — Пойди-ка ты, господин, скажи моим, чтобы лошади были готовы.

Лошади давно уже были готовы, и вместе с Николаем в гостевую вошел служка.

— Ну, что ж, поедем, — сказал владыка и поглядел на духовенство. — Ну вот только расставаться-то с вами больно не хочется, может, разместимся как-нибудь?

Ему никто не ответил, да он и не ждал, конечно, ответа. Перекрестил присутствующих еще раз и пошел к выходу, а в коридоре уже стоял протоиерей с шубой наготове.

Тут владыка что-то вспомнил и нахмурился.

— Поезжайте за мной, — приказал он. — Только никого не оповещайте. Шума не терплю. — Он взглянул на Николая. — А семинарист как, тут остается?

— С нами едет, — наконец-то смог ответить отец.

Владыка кивнул головой и вышел. Николай тоже вышел, но во двор не пошел. А оттуда слышались голоса. Что-то говорил кучер, что-то ему отвечал владыка, что-то елейное не проговорил, а пропел Лебединский. "Паяс", "шут гороховый", — словами отца подумал Николай.

Звякнула сбруя, хлопнула дверца кареты, ржанули упрямые, и вдруг дверь опять стремительно распахнулась и влетел побледневший Лебединский, а за ним отец и Крылов. Все они бросились к Николаю, схватили, завертели, затолкали, вытащили в прихожую и стали поспешно одевать. Лебединский надел ему калоши, Крылов фуфайку, отец держал пальто.

— Владыка тебя зовет, скорей, скорей, — шептал Лебединский. — Скорей. — И они почти вынесли его на улицу.

Из дневника:

"...Вероятно, им представилось, что он хочет посадить с собой меня! Лебединский раз двадцать повторил мне: "Смотри же, ничего не говорить — ни худого, ни хорошего!.. Молчание — первое условие, иначе беда всем будет!.. Смотри же, молчать, говорить как можно осторожнее". Страшный испуг выражался в его лице и голосе. Да и я сам испугался почти так же, как он. Бегом прибежали мы к коляске, и так как мне было сказано, что мне нужно ехать с преосвященством, то я хотел было уже влезть в карету. Но мой отец счел за нужное сказать сначала: "Мой сын здесь, ваше преосвященство. Что изволите

приказать?" Преосвященный нагнулся немного ко мне и сказал:

"Чтобы быть истинно Добролюбовым, надобно молиться Богу... Вот тебе молитвенник!.." — и он благословил меня им. Я поцеловал его руку и поклонился. Он прибавил: "Только за этим я призывал". Я поклонился еще раз, дверцы кареты захлопнулись и он поехал, а за ним и мы...

...Прямо от преосвященного протоиерей Лебединский заехал к нам, чтобы посмотреть, что подарил мне преосвященный. Но он не застал меня, потому что я пошел показать и рассказать все к моей матушке и к одному из учителей моих — Л. И. Сахарову".

Преподавателя естественной истории и сельского хозяйства Леонида Ивановича Сахарова за глаза в семинарии звали Бюффоном. Это была фамилия великого зоолога и директора королевского зоологического сада в Париже. Самая большая комната в доме Леонида Ивановича называлась коллекционной. В шкафах, на полках и тумбочках стояли "страсти". Так называла молодая прислуга Бюффона Калерия чучела волка, филина, орлов и ястребов, банки с заспиртованными летучими мышами, змеями и гадами, ощеренный скелет рыси, костяк человека и коробки с бабочками и рогатыми жуками. Все летние каникулы Сахаров пропадал с ружьем, сачком и ботанизиркой в заволжских просторах. Жег там костер, варил уху в дочерна обгорелом котелке и возвращался усталый, голодный, грязный и счастливый. А помогали ему четыре семинариста, в том числе Валерьян Лаврский и Николай Добролюбов. И какие же чудесные прогулки совершали они тогда — то пешком, то в лодках, то по заводям, то по холмам! В эти дни Николай впервые полюбил природу — то грустное счастье, тот покой и светлую печаль, которая всегда посещает тебя после свидания с тихими полями, холмами и безмолвной рекой. Он научился понимать и ценить ущербную красоту осени, когда сентябрь

гонит по траве и дорожкам желтые, оранжевые, красные и фиолетовые с каким-то даже металлическим окалом стаи листьев, а мокрые рога и рогатки веток качаются и гудят под сырым волжским ветром; яркую и броскую красоту тяжелых тугих красных и оранжевых кистей бузины и рябины, а на них стайки по-осеннему сытых медлительных и солидных дроздов. Полюбил он также прозрачную лунную тишь ночи, когда все словно застыло, все зелено и сине, река течет бесшумно, лист не шелохнется, дорога не пылит и, насколько хватает глаза, пустота и свобода. Ни прохожего, ни проезжего, только разве пролетит летучая мышь, петух прокричит что-то со сна, и снова тишина, тишина.

А лето он не любил — оно его раздражало.

В коллекционной что-то горело и кипело. Дверь в нее была полуоткрыта. Он вошел. Валерьян Лаврский и Леонид Иванович без пиджаков, в одних сорочках сидели за столом, а перед ними на листе аккуратными рядами лежали распятые бабочки. Стол был некрашеный, широкий, из разряда кухольных. Горела огнем 25-линейная лампа, Лаврский и Сахаров осторожно брали за булавку одну за другой бабочек, осматривали их и то натыкали на пробку и переносили в коллекционный ящик, то просто вытаскивали булавку, а бабочку выбрасывали.

Когда Николай вошел, Леонид Иванович посмотрел и покачал головой:

— Что же запоздали-то? Ну садитесь, садитесь. Я Калерии яишенку с луком заказал, вот сейчас кончим, а то с полдня сидим, не разгибаясь.

— А что такое? — спросил Николай.

— Да вот пожинаем плоды своего небрежения, как говорит наш Паисий. Поленился как следует протравить ящик да заклеил его неплотно, ну и завелась всякая дрянь. Половину теперь приходится выкидывать, а то все пропадет. А жаль! Такие красавицы есть! Вот, например... — Он осторожно за булавку поднял оранжевого мотылька. Это был великолеп-

ный экземпляр махаона с распущенными узорчатыми крылышками, выкроенными так точно и остро, что, казалось, об них можно обрезаться, с черными пиками на концах их.

Под лампой мотылек сверкал и переливался, как дорогая мозаика, то багрянцем, то темно-синими зеркальцами, такими насыщенными, что синева их ударяла в чернь, то чистой желтизной, и вообще был он таким ворсистым, что по нему, как по вышивке, хотелось провести пальцем.

— Ну, хоть этот красавец цел, — сказал Сахаров, передавая бабочку Лаврскому. — Наколите ее посредине. Рядом придется поместить аврору или кофейницу. Иначе не поместятся. Так что же вы так припоздали, Николай Александрович?

— А Николай Александрович сегодня с папенькой ездили-с его преосвященство встречать, — усмехнулся Лаврский.

Тон был не злой, но с легкой подковырочкой.

— Ах, так, значит, все-таки наконец приехал владыка. Ну, ну, каков он? — спросил Сахаров заинтересованно. — Рассказывайте!

Рассказывать под насмешливым взглядом Лаврского не хотелось. Насмешек его Николай боялся по-настоящему. Поэтому он только пожал плечами.

— Человек.

— Ну, конечно, не архангел Гавриил, — ржанул Лаврский. — Хотя ангельский чин, кажется, имеет.

Николай опять пожал плечами.

— А при чем тут это?

— А при том. Помните у Пушкина: "Я телом ангел, муж душой — но что ты делаешь со мной — я тело в душу превращаю". Вот и про этого святителя тоже кое-что говорят подобное.

К такому тону Лаврского Николай привык давно — но сейчас он ему не понравился.

— Во-первых, у Пушкина не ангел, а евнух, — сказал он сухо, — а во-вторых...

— А неважно, неважно, — отмахнулся Валерьян, — это по-разному в разных списках читается. А потом: разве ангел не евнух? Ведь Паисий объяснял нам, что у ангелов нет пола́, значит...

Паисий, профессор богословия, был анекдотически глуп, самонадеян и невежествен. Про него по семинарии ходили сотни анекдотов. Но, кажется, пол ангелов он все-таки не выяснял.

— Не знаю, не слышал, — поморщился Николай. — Но как же, не зная человека, вы беретесь судить о нем? А ведь, кроме того, он наш владыка.

— Ну вот и пошла, полезла наша родная нижегородская семинария, — махнул рукой Лаврский, — он — владыка! Да что-то уж больно много владык развелось у нас! Человек должен быть сам себе владыка, а он обязательно какого-то еще себе на шею сажает.

Николаю вдруг стало по-настоящему жарко. Он вынул из кармана молитвенник и протянул Лаврскому.

— А к чему это мне, — пожал плечами Лаврский, — я эти штуки... — И вдруг понял и вскрикнул: — Ах, значит, вы им взысканы лично? Увидел и отметил? Ну, тогда другое дело. Да, это уж не за бабочек благодарность получать.

Николай быстро взглянул на Сахарова. Стрела метила в двух, даже в трех человек. Леонид Иванович, жертвуя свою коллекцию правлению семинарии, приложил к ней письменно благодарность четырем своим помощникам — Лаврский и Николай были в их числе. Однако Сахаров как будто ничего не расслышал или не понял. Он взял из рук Николая молитвенник и стал его листать.

— А вы, Леонид Иванович, хорошенько посмотрите, — сказал Лаврский, — может, там через каждые десять листиков по синенькой. А что? Очень может быть. Вы знаете историю станционного смотрителя и его императорского величества, ныне благополучно царствующего?

— Валерьян Викторович, — с мягким укором покачал головой Сахаров.

— Да нет-нет, я не какой-нибудь там пасквилянт, — засмеялся Лаврский. — Это анекдот самый что ни есть патриотический, с верноподданнической слезой. Можно?

— Ну, к чему?

— А для примера и поучения. Так вот. Следует ныне благополучно царствующий император Николай I по проселочной дороге, и попадается ему станция, такая милая, захудалая, но все равно изволил остановиться и милостиво проследовать в комнаты. А на пороге смотритель ни жив ни мертв:

— Ва-ва-ва...

— Ну, ну, не обмирай, что я, волк, что ли? Вот принимай гостя, показывай, как живешь, как служишь.

Ну, все кругом беленькое, чистенькое, везде иконы с лампадками, а на столе в хозяйских покоях — Библия.

— Что, Священное Писание читаешь? — спрашивает государь.

— Так точно.

— И часто?

— Каждый день после работы, ва-ва-ва...

— Похвально. И доколе же дочитал?

— Четвертую книгу судей кончаю, ва-ва-ва...

— Молодец, хвалю! Пришли ко мне адъютанта.

Вошла прислуга с шипящей сковородой.

— Ну, что же, — сказал хозяин, снимая фанерный лист со стола и засучивая рукава, — закусим, господа, после трудов праведных. А мне по грехам и по человеческой слабости, кроме того, еще положено... — И он щелкнул по запотевшему со слезой графинчику. Рядом с ним стояла рюмка. Одна.

— Вас, господа, не угощаю, ибо еще успеете. Это уж мне по старости лет.

Про старость он говорил всегда. И когда, бывало, с сачком и ботанизиркой выходил на охоту за бабоч-

ками, то обязательно надевал мундир. "А то захватят и высекут, — подмигивал он своим ученикам, — это на старости-то лет! Опозорю семинарию!" И верно, если бы его без мундира захватили в чужом саду, когда он, забыв все, топтал грядки, ломал кусты, то доставили бы в часть. Нижний Новгород был грязный, сонный, пьяный городишко. Весною и осенью по нему ни проехать ни пройти. Будочника не докличешься, околоточного не найдешь, но нравы в нем были строгие, а полиция суровая. И если невзначай без чинов и бумажек попадешь ей в руки, то не обессудь — и в холодной насидишься, а то еще и так спину распишут для памяти, что неделю будешь ходить и почесываться.

Сахаров сел за стол, налил себе полную рюмку, опрокинул ее, кивнул, зажевал хлебной корочкой, налил и опрокинул сразу же вторую, отставил рюмку и взглянул на своих учеников.

— А впрочем, господа... — начал он неуверенно.

— Нет, Леонид Иванович, благодарствуем, — достойно и строго отрезал Лаврский, — я уж лучше про государя императора доскажу. Значит, через какое-то время едет его величество обратно. Останавливается на той же станции. Смотритель опять на крыльце.

— Здравствуй, служба!

— Здравия! Желаем! Ваше! Императорское! Величество! — значит, уже осмелел.

— Ну как, читаешь Библию-то?

— Так точно! Ваше! Императорское! Величество!

— А до коего места дошел?

— "Притчи Соломоновы" кончаю.

А это, как вы знаете, еще этак 400 страниц!

— А молодец! Молодец! Пойдем-ка!

Прошел, взял Библию, стал листать, а там через каждую главу по красненькой, по красненькой!

— Вот видишь, служба, как государя-то обманывать, — покачал головой государь. — Не врал бы мне, все они твои были бы, а теперь они опять мои! Я их

нищим по дороге раздам. Они хоть праздно живут, Христа помнят, каждую минуту его поминают.

С тем и уехал государь. А смотритель так и остался с Библией, но без красненьких.

Сахаров вздохнул, налил третью рюмку, опрокинул, зажевал и сказал:

— Ну, то государь император, у него и ум государев... государственный.

— Да, а у наших владык за нас, молитвенников и печальников, мозг консисторский, сиречь канцелярский, впрочем, и с царем Николаем, наверное, тоже байка, — вздохнул Лаврский.

— Почему? — спросил Николай взрывчато.

— А не любит, говорят, наш помазанник божий деньги-то бросать на ветер. У него копейка на счету. Ну ладно, анекдот анекдотом, то ли был, то ли не был, а вот вы про молитвенник расскажите. Как он у вас все-таки оказался? Такие награды спроста не даются. А? Леонид Иванович?

— Да, — протянул Сахаров, — да, любопытно. Молитвенник. Очень любопытно.

Пришлось рассказать все. Лаврский слушал, опустив голову, а потом спросил:

— А вы все это не записали? Ну как же, писатель и упустили эдакое. Ведь готовая сценка из "Ревизора" или "Мертвых душ". Как это вас Лебединский учил? А? Повторите-ка, я забыл.

Николай промолчал.

Сахаров усмехнулся и сказал:

— "Ничего не говорить. Ни худого, ни хорошего. Молчание — первое условие, иначе пропали". Ах ты...

— Видите, даже хорошего тоже нельзя сказать, — зло улыбнулся Лаврский, — знает профессор, какое у нас хорошее. Говорите, с лица спал? Так что же тогда о нас-то, грешных, говорить?

— Вот так вы никому и не верите, — сказал Николай невпопад, но больно его уж взрывал тон Валерьяна.

— Нет, почему же, — пожал плечами Лаврский, — я вам, например, или Леониду Ивановичу очень даже верю.

”Да, — подумал Николай тяжело, — остер и злоязычен. Над всем смеется, а вот сочинения по богословию пишет образцовые, на пятерку. Перед всем классом читают. Как это связать?”

Он молча посмотрел на Валерьяна. А Валерьян вдруг что-то понял — подошел, обнял его за плечи, вернее, только дотронулся до них и сразу же опустил руку.

— А вы не кипятитесь, Николай, — сказал он мирно, — я ведь это сам над собой смеюсь. Помните: ”Жена и дети, друг, поверь, большое зло. От них все скверное у нас произошло”. И ничего не попишешь, такова жизнь, дорогой! Вот выйду на место, женюсь, пойдут дети, дом для них начну строить, — он подмигнул Николаю. — Дом в два этажа. А! — да что там говорить, сам такой же — ”се предел, его не перейдеши”. — Он махнул рукой и отошел.

”Всегда играет, — подумал Николай. — Актер! Передо мной играет, перед Леонидом Ивановичем играет, а больше всего перед самим собой. И самое главное, каждую минуту верит в то, что говорит. И потому верит, что уж ни во что не верит. Поэтому и за богословские сочинения у него пятерка”. Он взглянул на Сахарова.

А тот хмыкнул да и налил себе еще одну рюмку.

— По слабости, — объяснил он, — исключительно только по старческой слабости.

Ему недавно исполнилось 25 лет. И был он еще холост, отсюда и бабочки, и Калерия, и эти его ученики.

Владыка в дела правления не входил, а вползал. Недели две он объезжал церкви и скиты, еще неделю знакомился с архивами и текущими делами консистории и семинарии, и вдруг в одно утро все заходило и загремело в его тонких и хватких руках. Туда и

сюда полетели ревизоры — духовные и светские. И направляла их рука точная и неукоснительная. Владыка многое знал и еще о большем догадывался. Черное и белое духовенство — монахи и иереи зашумели, заметались. У них заходил ум за разум от острых вопросов и неожиданных ударов. Все сходились на том, что где-то затаилось два шпиона, один консисторский, другой семинарский — но кто же? кто? Профессор догматики иеромонах Паисий — старик глупый и самонадеянный однажды остановил Николая на улице и спросил: а правда ли, что он вместе с отцом ездил встречать преосвященного аж, аж на Орловскую?

Он ответил, что правда.

И что владыка наградил его требником?

Николай ответил, что и это правда и что владыка довез его до дому в своей карете.

А иереев, других почему-то с собой не посадил?

Николай ответил, что вот это уж совсем неправда, и хотел объяснить почему, но Паисий тоном "не ври, я все и так знаю", вдруг остро в упор спросил:

— Как, и остальные иереи ехали с вами?

— Нет, они не ехали, но и я-то...

— А-а! — сухо сказал и кивнул головой Паисий и прошел мимо.

Ну что ему можно было доказать — глупому и упрямому? Николай объясняться не стал.

(Через тридцать с лишним лет Чернышевский об этом Паисии напишет так: "Стоявший ниже всех других профессоров... одаренный способностью сбиваться в выражениях так, что конец фразы противоречил ее началу... отвлекавшийся в бесконечные рассуждения глупые о всем на свете... он служил предметом смеха и для товарищей своих и для учеников".)

А через несколько дней владыка крупно поговорил с его отцом.

— Нельзя так, сударь, — кричал и стучал владыка (сударь, а не отец Александр). — Непорядок это! Небрежение! Исправьте и доложите! Я проверю.

А когда отец уже шел к выходу, вдруг крикнул:

— А в воскресенье прошу служить со мною в соборе по случаю баллотировки дворянства.

Служить с владыкой в кафедральном соборе да еще по такому случаю, было большой честью, и отец пришел домой возбужденный и просветленный.

— Вот тут-то, — сказал он сыну, — и постигается разница между властью духовной — отеческой и святой. Владыка прогневался, накричал, но тут же обласкал и приблизил. А губернские, те только орать горазды. У них небось вон какие глотки.

В тот же день отец послал за парикмахером — подправить волосы и бороду, вынул из шкафа и осмотрел недавно сшитую тонкую фиолетовую рясу из настоящего китайского шелка, отдал Фекле и приказал вычистить и погладить через тонкую тряпку бархатную скуфейку — и после, облаченный во все это, долго и величественно поворачивался перед зеркалом. И Николай через приоткрытую дверь любовался отцом — высоким, плечистым, с львиной гривой и истинно святительской бородой. Послали по знакомым — пригласить их на торжественную епископскую обедню. Монахиням, в течение трех месяцев кропотливо вышивающим новый Орлец — коврик с орлом, взмывающим над городом (его всегда стелют в церкви, если служит владыка), — строго приказали кончить все за два дня.

Отец Крылов полез на звонницу. Один из малых колоколов — тарелочек — дребезжал и вроде был с трещинкой.

Отец зачем-то послал к нелюбимому им протоиерею Лебединскому пономаря Авксентия Васильевича, а сам надел широкую поповскую шляпу из соломки и, опираясь на пасторскую трость, отправился в собор послушать спевку хора. Словом, все готовились и кипели.

А затем вдруг что-то произошло. Быстро, какимто чуть не воровским шагом вернулся Авксентий Васильевич, но не пошел в комнаты, а зашел на кух-

ню, спросил Феклу, где хозяин, и тут же как провалился сквозь пол. А через полчаса вернулся, прошел в кабинет и щелкнул ключом. Дом замер в предчувствии и ожиданиях. Отец сидел в кабинете долго и безмолвно. Потом вышел, встретил в коридоре Николая и сказал горько:

— Я ж всегда говорил, что он тиран.

Николай промолчал, потому что не знал, о ком это, стоящая же сзади с тарелками Фекла быстро и охотно подтвердила:

— Так точно, батюшка Александр Иванович.

Отец сверкнул на нее глазом и объяснил:

— Лебединский тиран. Нерон и Калигула древних! — ("Калигула никогда не спал более трех часов. Злые и честолюбцы спят мало" — было напечатано недавно в "Нижегородских ведомостях". Лебединский и верно страдал бессонницей.) — Я послал за ним — не хочет ли, мол, служить на заутренне — а он: "Скажите настоятелю, пусть он с обедней пока не беспокоится. Владыка все переменил. Я повещу, если надо. А не повещу, так и беспокоиться не о чем". Вот так, с кондачка, и поступают наши Нероны и Калигулы. И ведь не спросишь! Владыка приказал, вот и весь их сказ.

— Так, может, еще повестит, — робко предположил Николай.

— Да, жди! — фыркнул отец и прошел вслед за Феклой в столовую.

На выборах в предводители дворянства отец не служил. Служил какой-то А. А. В. — а кто он, (ученым) неизвестно (и по сю пору).

А еще через несколько месяцев, в мае 1853 года, Николай увидел преосвященного совсем в ином виде и качестве, и это было поистине как бы явление владыки народу. Он сразу же подал записку, но она не пошла, и "Нижегородские ведомости" об этом событии ничего не написали.

В этот день Щепотьев срочно, через посыльного, вызвал к себе Николая на дом. Когда Николай вошел, редактор сидел за огромным письменным столом и просматривал какие-то листки. И стол, и хозяин, и вместительное кресло, в котором он сидел, — все было словно вырублено из одного куска мореного дуба. Все было дубовое, квадратное, черное, топорное и тупое, тупое, нетленное. ("Это был субъект,— напишет потом Николай, — сокрушивший все мои логические построения".)

— Здравствуйте, Николай Александрович, — сказал Щепотьев. — Присаживайтесь. Ну, у вас, я слышал, все здоровы? Слава Богу! — он положил листки на стол. — Голос у него был глухой, но отчетливый. Каждое слово вылетало отдельно ("Голос его напоминал звук обуха, вбивающего долото в дерево"). Значит, вот что. Надо срочно дать статейку о спектакле в Благородном собрании.

"Ах, вот как! — понял Николай. — Значит, все-таки дать надо! Прекрасно!" Такую статью он уже раз написал, но она бесследно исчезла в объемистых кожаных папках редактора, — и с тех пор о ней Щепотьев не упоминал ни разу.

— Но ведь я... — начал Николай.

Щепотьев закрыл на какую-то долю секунды глаза, потом открыл их и уставил на Николая свой обычный неподвижный и незрячий взгляд.

— Да, вы уже однажды написали статью, — согласился он, — вот она, — он протянул Николаю листки, — но ведь ее сегодня не напечатаешь — там другой репертуар, так ведь?

— Так, — согласился Николай.

— Ну вот, а княгиня Марья Алексеевна, наша бывшая милая соседка, настаивает, чтобы статью написали именно вы, Николай Александрович. Он, мол, все у нас знает, несколько раз был на наших репетициях... Я ответил — ну и прекрасно, сейчас посылаю за Николаем Александровичем. И вот...

Загадочные глаза Щепотьева были по-прежнему мертвы и застойны, но Николай знал их необычайную приметливость и зоркость. И восковая неподвижность лица его тоже была одной видимостью. В мозгу чиновника особых поручений непрерывно вращались и скрещивались круги необычайной машины схоластика XIII века Реймонда Луллия. ”Значит, вот в чем дело, — понял он, — княгиня Марья Алексеевна Трубецкая и с ней сиятельные участники благородных спектаклей навалились скопом на Александра Ивановича”.

Так оно и было. К редактору пришли любители. Все шкиперские трубки — неважно то, что они никогда не видели моря (Волга тоже ведь не маленькая), все белейшие, ломкие от крахмала и свежести воротнички, — все благоуханные, словно облитые солнцем золотые флеры и вуали, — словом, резкая мужественность и тончайшая женственность, напор и кокетство, мужская сила и женская слабость, — все пошло на приступ стола редактора. Недоумевали, негодовали, спрашивали и иронизировали.

— Для чего же тогда вы выдаете свои ведомости? — спрашивала одна.

— Что же, Москве, что ли, прикажете о нас писать? — спрашивал один.

— Да, если бы это было в Москве, давно бы все газеты...

Александр Иванович смотрел на них из своей дубовой крепости и спокойно отвечал:

— Ну, что вы, месье, мадам, разве я против? Я не враг родного города. Вот все руки не доходили, а раз так, то сегодня же пошлю к вам одного профессора словесности.

— Не надо нам вашего профессора, — отрезали ему, — только Николая Александровича Добролюбова.

Тут Александр Иванович, верно, несколько не то что заколебался, а просто немного посомневался: можно ли?

— Господа, — сказал он, — но это же дело важное, нужно авторитетное слово ученого, а Николай Александрович все-таки семинарист.

— Ну что ж, — сказали ему (господа и дамы, князья и княгини, помещики и помещицы), — хоть и семинарист, но нам никого, кроме него, не нужно.

— Но, господа, господа, — продолжал вбивать свои деревянные гвозди редактор, и тогда вдруг затрясся и забрызгал слюной над ним некто очень видный и сановитый, весь в орденах, и хотя за солидностью, параличом и полной неспособностью в спектаклях не участвовавший, но имеющий в них, видимо, все-таки какой-то свой сокровенный интерес.

— Ведь бесплатно, бескорыстно, безвозмездно, исключительно в пользу неимущих, по закону христолюбия, — орал он. — Вон когда у вас на ярмарке этот галах чумазый сабли глотал да угли пожирал — вы о нем писали, а тут, когда участвуют, и кто? кто? Ее сиятельство, его сиятельство, его высокопревосходительство г-н Улыбышев...

И сизомордый редактор, с коком на гладко вылизанном черепе — если не сам Собакевич, то уж безусловно родной брат его ("От вашего жильца так и разит Полканом", — сказал как-то Лаврский и сморщил нос), вызвал через посыльного Николая и сказал ему:

— Полтораста строк в ближайший номер. И хвалить. Обязательно всех хвалить! А опять такое будет, хоть святых вон выноси. А о княгине Марье Алексеевне особенно напишите, чтоб не говорила после.

— Понятно, — сказал Николай и вышел.

До площади он дошел в самый нужный час. Благородное собрание горело. Оно было окутано сырым, едким дымом. Огонь не показался еще, только внутри происходила начальная черновая работа пожара. Какие-то серые существа, то ли великаны, то ли карлы, расчищали место для огня — крушили перекрытия ломами, вздымали паркет, расшатывали балки. Работа шла по всем комнатам и этажам. И вот

дым уплотнился и набух бурым багрянцем. Затрещали, застреляли доски. Из окон вылетела стая черных нетопырей. Они взмыли вверх и медленно, ястребиными кругами заплавали над толпой.

Это пожар добрался до библиотеки и стал листать книги и газеты. Кто-то огромный, веселый, рыжий устроился возле окна и, грохоча, швырял в толпу охапки огня и метал головни. Волга вдруг помрачнела, почернела, забеспокоилась и подернулась сначала барашками, а затем белоголовыми волнами. Небо и вода набрякли и потяжелели. Над толпой же и площадью стояло все то же изжелта-бледное и белое небо.

А затем появилось пламя. Огненные звери просовывали сквозь ниши и пазы когтистые лапы, ощеренные морды, закрученные языки, грызли дерево и выли от ярости. От них пахло горелой краской, угаром, смолой. Что-то рухнуло. Взметнулся и тут же рассыпался букет белых, угарно-желтых, огненно-красных, медно-зеленых искр. Лиловые и синие прозрачные угарные мотыльки запорхали и заползали вверх и вниз по бревнам. Обнажилась на миг внутренность здания — горящие лаковые столики, по-лебединому выгнутые позолоченные кресла, пылающие клочки штофных ободьев, — так ураган на миг иногда вырывает со дна океана затонувший корабль.

В углу тихо и упорно горел дубовый шкаф с гирляндами, девами и амурами. Все это простояло минуту и исчезло в дыму. И вдруг пламя зашумело, загремело и закрутилось. Оно поднялось над площадью — нестерпимо для глаза снаружи — с бурой дымной сердцевиной. Здание хрустнуло, пошатнулось и стало рушиться в волны уже чистого огня.

Кто-то закричал. У кого-то зашлась и задымилась одежда. Сыпались раскаленные балки (так и сыпались на толпу), потом их подбирали за версту. Небо совсем стало черным. Несколько голосов заорало: "А пожарные опять спят?" Но пожарные не спали, они со своими обозами, машинами, насосами, топо-

12–2280

рами, баграми, ломами застряли в дороге — ведь приходилось ехать в объезд, потому что, как писали "Нижегородские ведомости", "очаг пожара и угрожаемое строение были совершенно недоступны по крутизне горы и тесноте для действий пожарной команды. Для переезда должно было перевезти трубы на расстояние почти двух верст".

Пожарные приехали только тогда, когда спасать уже было нечего. На Волге между тем началась настоящая буря. Несколько судов сорвало с якоря, смыло и унесло мостки, ларьки, лодки и купальни. Ветер и жар слепил, жег, закладывал уши. Стараясь перекричать огонь и ветер, что-то орал бравый брандмейстер.

А народ стал напирать. Пожарные вытянули канат, но он сейчас же и повис. Многие из глазеющих понимали "пожар" как "пожива". Ломай, хватай, тащи!

И тут над толпой взлетел мощный и в то же время нежный звонкий вскрик или возглас. Так певуче и горестно могли воскликнуть только ангелы или дивы этого дома, покидая свое обиталище. А вслед за ним зазвенели, затренькали, забились сотни фарфоровых колокольчиков. Кто-то рядом с Николаем объяснил: это рухнула световая пирамида — стеклянная крыша здания.

На минуту огонь притих, а потом сразу охватил все. Теперь посреди площади стоял четко очерченный, обведенный оранжевым тусклым сиянием огненный куб. Сам он был почти неподвижен, только слегка помаргивал, но вокруг него все дрожало и струилось, предметы растекались и теряли форму. Николай стоял и смотрел, какие-то силы не давали ему стронуться с места. И тут на толпу обрушился с Волги ливень.

Огонь сразу зашипел, стал по-змеиному пресмыкаться, сворачиваться и уползать вовнутрь. С неба полетел мокрый пепел. И снова предстал черный скелет обглоданного начисто здания. Пламя пожелтело,

сделалось вялым и утомленным. И хотя ливень так же внезапно прекратился, — огонь, сбитый дождем, уже только ворочался и вздыхал среди черных развалин. Да и не огонь это уже был, а дым, с огнем и искрами. Солдаты снова натянули канат. Прикатило несколько повозок и карет. Они, впрочем, понаехали, но стояли поодаль. Какой-то щетинистый, неприятный барин в черных высоких сапогах и сам черный и усатый, как грач, стоял с кучером, тыкал тростью стека в догорающие развалины и хлестко говорил: "Нет, хитро! Очень хитро! А теперь, пожалуйста, гони им страховку. Ничего, общество "Саламандра" все заплатит — оно богатое! На сто тысяч застраховали, черти зеленые!"

— Это еще как поглянется, — отвечал солидно кучер, — как то есть вышнее начальство посмотрит, а то...

Оба были пьяные.

И опять в толпе что-то произошло. Раздвинулись пожарные, отшатнулись от каната солдаты, вытянулись полицейские. Брандмейстер: "Р-р-разойдисс!"

Через толпу медленно ехала высокая черная карета с красными спицами и рессорами. Кони в траурных надглазниках ступали ровно и спокойно. Огонь их не пугал — они ехали на него.

Кто-то сзади сжал Николаю локоть. Он оглянулся — Лаврский.

Карета остановилась. Служка выскочил и распахнул дверцу. И, опираясь на плечо, вышел преосвященный. На нем была черная ряса, наперстный крест-ковчежец с частицей и высокий клобук с херувимом. Он сделал несколько шагов и остановился у самого каната.

И, словно приветствуя его преосвященство, пламя вспыхнуло снова, но уже не то страшное, а малое, веселое, ручное. Закивало, запрыгало не по стенам, а по ступенькам (они походили на обгоревшие позвонки), заюлило по недоломанным столикам и стульям.

С минуту владыка молчал и смотрел на пламя, а потом поднял сложенные крестом персты и величественно, по-святительски осенил и благословил пожар.

Один раз, второй и третий взлетел и опал его широкий рукав. Настала нестерпимо долгая тишина, и вдруг ахнула, закричала, закатилась какая-то женщина.

Толпа шарахнулась.

Владыка подошел к карете, дотронулся пальцем до подставленного плеча, взлетел на подножку и рванул ручку дверцы. И тут в толпе кто-то безумно, неудержимо, по-юродивому закричал:

— Благослови, святой отче, на страдание, на крест тяжелый, бла-а-слови мя, владыка!

Но толпа молчала... И карета медленно прошла через нее.

— Пошли, — сказал Валерьян и взял Николая под руку. Они выбрались из толпы и, не сговариваясь, повернули к крутому волжскому откосу.

— Видели, а? Народ, как всегда, безмолвствует... — усмехнулся Валерьян.

Николай промолчал. У него ухало в висках и перед глазами висела колеблющаяся вуаль из черных точек и мушек. Очевидно, он здорово перегрелся.

— Так что же это было? — спросил Валерьян. — Мракобесие? Изуверство? Кто это был — православный батюшка или великий инквизитор?

Николай молчал.

— А впрямь, если рассудить по-православному, то почему непременно изуверство? Есть и другие слова, например, "святительство". Ведь, согласно кормчей книге, духовные лица не могут посещать театры и подобные заведения. Они ведь в старину у нас назывались "позорище". Помните, как наши отцы иереи при Алексее Михайловиче проклинали и гнали скоморохов. Это мы уж конец — "последняя у попа жена!" Ну вот, владыка как истый православный пастырь и благословил священный огонь сей, сошед-

ший с небеси и пожравший соблазн и позорище наше! Все правильно! Все по чину и уставу, — разве не находите?

— Но ведь это пожар, — сказал Николай, — вон сколько людей остается без крова. Зачем это?

— Зачем? Ну это, пожалуй, вообще не христианское, во всяком случае, не православное рассуждение, — покачал головой Лаврский. — Бога не спрашивают: "Зачем?". Потом, огонь очищает. Недаром от глубокой древности до 1626 года в православном чине на водосвятии читалось: "Освяти воду сию Духом твоим святым и огнем".

— Так что же тут очищается? — спросил Николай, только чтоб что-нибудь спросить.

— Ну, то, что уничтожается.

— Так что же очищается, то, что уничтожено?

— А душу, — любезно ответил Валерьян, — она бессмертна и нетленна. Вот вы писали об Августине Блаженном и Франциске Ассизском, ну, в своем сочинении об отцах церкви... писали?

— О них нет.

— А почему? Надо было, надо было писать. Они ведь, собственно, и обосновали инквизицию и костры покаяния. Вы слышите — покаяния! Понимаете — костры!

— Слушайте, — Николай остановился. — Так вы что ж? Оправдываете это благословение огня? Я не могу вас понять.

Лаврский покачал головой.

— Да просто вы не хотите понять. С некоторого времени это за вами водится. Потому что тут надо ставить все точки над "i". Я же хочу только сказать, что поступил владыка догматически целесообразно и литургически оправданно. Но вот другое дело. Княгиня Марья Алексеевна живет в вашем доме, а ей такая шутка едва ли придется по вкусу. Обязательно она спросит ваше мнение. Так что вы ответите? Осудите владыку?

Николай молча повернулся и пошел в другую сторону.

— Куда вы? — крикнул Лаврский. — Ну ладно, ладно, я не требую ответа.

— Да нет, просто мне надо зайти к Щепотьеву, — ответил Николай.

Александр Иванович встретил Николая как всегда угрюмо и добродушно. Очевидно, пожар Благородного собрания его почему-то очень устраивал.

— Знаю, знаю, — сказал он, — про пожар уже знаю все. Имел уже донесение. Полиция, говорят, действовала отлично и грабежей и бесчинств не было.

— А что же там грабить? — слегка улыбнулся Николай.— Все ведь сгорело.

— Ну, положим, — резонно ответил Щепотьев, — были бы воры, а грабить всегда найдется что. И пожарные, говорят, были на высоте?

— Там им уже было просто нечего делать. Они отстаивали соседние дома.

— И отстояли! Так вот, Николай Александрович, сейчас вторник, до воскресенья осталось четыре дня. Спешите! Опишите, как действовали наши молодцы. Как народ помогал. Как выносили юноши престарелых на руках с их скарбом. Покартиннее.

— Александр Иванович, там и преосвященный был.

— Да? Вот не знал. Обязательно напишите об этом. Можно всего несколько слов. Но, знаете, таких, значительных. Со ссылкой на писание. Пасторские слова, обращенные к пострадавшим... — он сделал какое-то движение рукой. — Ну да что вас учить.

— Александр Иванович, владыка благословил пожар.

— То есть не пожар, а погорельцев, — поправил Щепотьев.

— Да нет, именно пожар. Огонь! Я сам видел.

— Огонь? Сами видели? — глаза Щепотьева и его восковое лицо были по-прежнему мертвы, но он

опустил веки и какое-то время сидел так. — Нет, это что-то не так, — продолжал он, открывая глаза, тем же глухим голосом, — как же владыка мог благословить стихию, уничтожающую казенное имущество? Ни на что это не похоже. Вы что-то совсем не то увидели.

— Александр Иванович...

— Нет, вы меня послушайте. О благородном почине Нижегородского общества докладывали государю, и он собственноручно изволил начертать "считаю весьма уместным". А во время приезда государь осматривал в доме его превосходительства план строения и остался весьма доволен. Сказал даже "молодцы", так как же при этих условиях можно столь кощунственно утверждать...

— А почему кощунственно? Есть верующие, оправдывающие поступок владыки.

— Значит, дурачье — и все! Вы хотя бы то взяли в соображение, что в столице и в резиденции есть императорские театры. Так что же, скажем, они загорелись бы, а его преосвященство приехал и благословлял бы огонь? Огонь, пожирающий достояние помазанника Божьего? Притом государь посещает театры и тем самым показывает пример всем своим верноподданным. Да если бы что-то подобное и действительно случилось, владыка отвечал бы не перед нами, а только перед Господом и государем. Кроме того, лица духовные судятся только святым синодом. Вот пусть синод и толкует, как и что.

— Но я же сам видел...

— Да в том-то и дело, что вы пока не сам, а батюшкин, — любезно улыбнулся Щепотьев. — А батюшка ваш священник и домовладелец, и дом его построен на казенную ссуду.

— Александр Иванович...

— Ну да, я Александр Иванович, это точно так. А вы вот про другого Александра Ивановича, это точно так — про вашего родного батюшку хорошо ли подумали? А? Я же чиновник особых поручений при

его превосходительстве господине губернаторе, и все-с! И точка-с! А вам советую не повторять того, что вам привиделось с пылу и жару. Конечно, от дыма в угаре голова закружится и привидится Бог знает что — это так, но вот дойдут ваши слова до владыки... Ведь вы же семинарист, он что, будет вас благодарить? Удивляюсь вам!

В передней Николай на секунду задержался. На вешалке висел голубой шарфик и еще рядом что-то такое же легкое, воздушное, девичье. Из комнат слышался ее голос. Она смеялась. Фенечка, Фенечка, любовь моя, беленькая-пребеленькая, тоненькая-претоненькая, — это же твой отец.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

Здесь приходится покаяться перед читателем, критиками и литературоведами. Автор использовал свое право, которым испокон веков пользуются писатели и художники, и допустил несколько вольностей.

Первая.

Театр горел не в 1853 году, а на год позже.

Вторая.

Добролюбов был в это время уже в Петербурге. О том, что произошло, он узнал из писем друзей.

Все же остальное, относящееся к пожару, почерпнуто из "Нижегородских ведомостей". Полагаю, что в описании пожара редактор использовал материалы Николая Александровича.

Приезд же владыки, благословение им огня основаны на документальных или мемуарных данных.

Впрочем, вряд ли эти отступления значительны. Город на Волге горел часто. В 1853 году "Нижегородские ведомости" поместили накоторые статистические данные о пожарах. В течение 5 лет город и окрестности горели 963 раза — погибло 7715 строений. Пожары происходили от ветхости, от поджогов,

от удара молнии и еще неизвестно отчего (таких больше половины). Так что один пожар тут уж никак не в счет. Истреблено же в городе в тот пожар было каменных домов 17, один общественный, городской; деревянных — 16, причем один питейный, и повреждена церковь Казанской Божьей Матери.

В интересном деревянном городе, освещаемом по ночам чуть ли не ежедневными пожарами, с размытыми мостовыми и застойными озерами грязи на проезжей части улиц жил юный Добролюбов.

"Большая площадь против Кремля, — писал он в статье "О погоде", — превращается в обширный пруд, в котором могут плавать утки и тонуть калоши, и где чуть-чуть виднеются только небольшие островки, к которым по отмелям пробираются отважные, но тем не менее утомленные путники".

Статья эта в "Нижегородских ведомостях" не появилась. Добролюбов объяснил в дневнике: "Цензор не пропустил". Почему? Наверное, решил, что в Нижнем Новгороде не бывает плохой погоды, а может быть, и достопочтенный Александр Иванович сам напугался да свалил на цензора? Кто же его знает?

Николая, во всяком случае, это уже не интересовало. У него было другое на уме. Он думал об университете и готовился к нему.

Из дневника.

"Во мне происходила борьба тем более тяжелая, что ни один человек не знал о ней во всей силе. Конечно, я не проводил ночей без сна, не проливал ведрами слез, не стонал и не жаловался, даже не молился — подобные выходки не в моем характере, — а молиться — сердце мое черство и холодно к религии. А я тогда даже и не заботился согреть его теплотой молитвы... А между тем дело было очень просто, причины такого состояния очень нехитрые: мне непременно хотелось поступить в университет. Папенька не хотел этого, потому что при его средствах это было невозможно... При всем том я не мог поми-

риться с мыслью — остаться еще на два года в семинарии. Благородный отзыв Ивана Максимовича о Петербургской Академии решил дело: ему первому сообщил я мысль отправиться туда. Он сказал: "хорошо" и его одобрения было для меня очень довольно, чтоб начать дело. На это дело папенька согласился легче... пошел к архиерею и спросил также его благословения на это дело. Преосвященный Иеремия принял даже участие в этом деле... До отъезда еще Ивана Максимовича я мог уже... сообщить,что я решился непременно ехать в Петербургскую Академию. Превосходный этот человек с участием принял мои слова..."

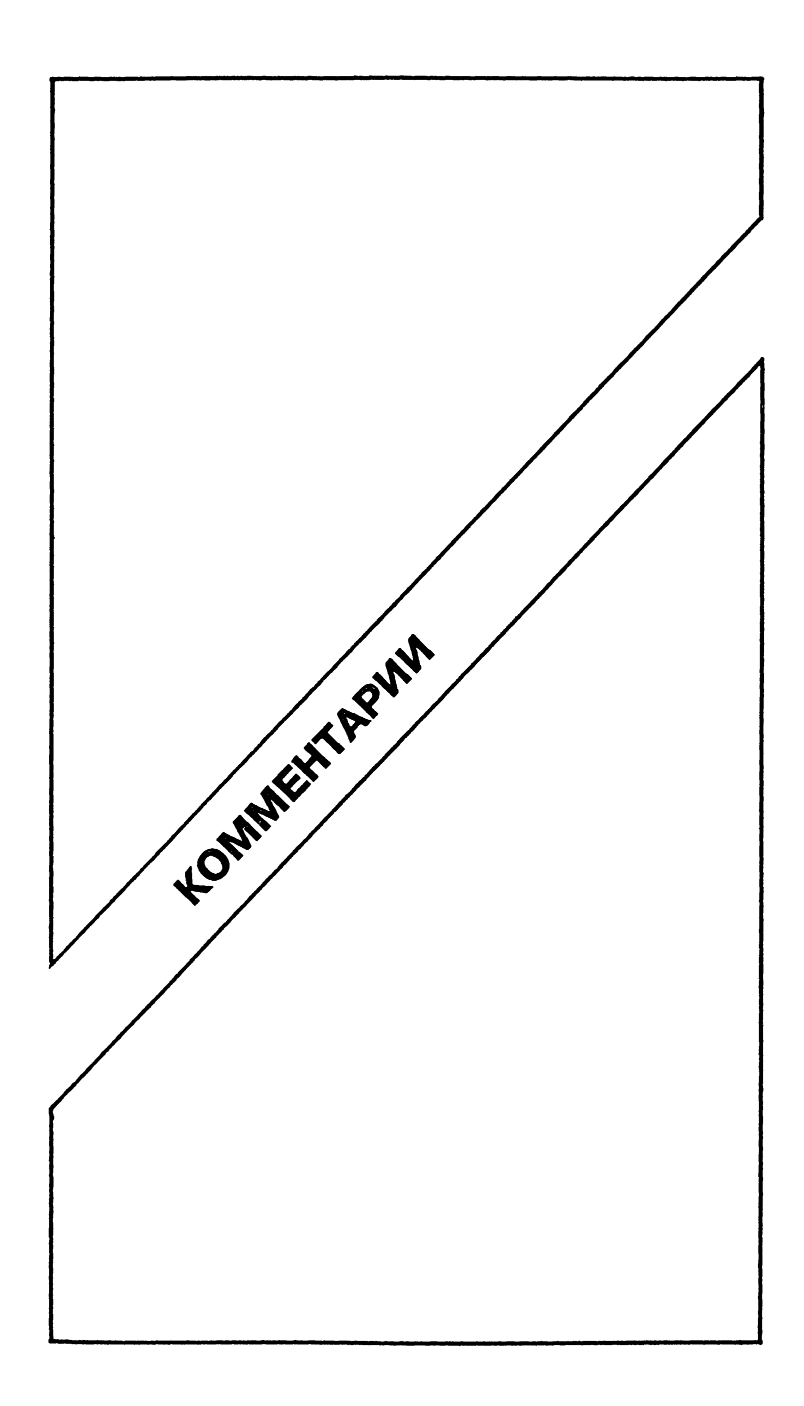
Из другой рукописи того же времени, озаглавленной "Психоториум". "Господи, спаси мя, не оставь меня погибающа!.. Я забочусь... только исписать страницу и, оставляя добрую цель в стороне, отягощаюсь и чувствую уже, что не могу долго еще продолжать свою исповедь..."

Были и еще страницы этого страннного сочинения (комментаторы объясняют: "Психоториум" — это углубление в душу, самокритические и самоаналитические записи"), но из 32 страниц до нас дошло только шесть. На последней из них такая надпись: "Остальные листы этого вздора я бросил как ненужные. Довольно этого образца. Н. Чернышевский". Так они и пропали.

А ведь жаль! Жаль!

"Милые мои папаша и мамаша... я благополучно прибыл в Москву. Так же точно благополучно переехал я от Москвы до Петербурга по пресловутой в наших краях железной дороге... На моей квартире нашел я поселившегося в одной комнате со мной студента Педагогического института... Мне бы так хотелось поступить в институт..."

(Письмо от 10 августа 1853 года)


КОММЕНТАРИИ

Только одна смерть

Рассказ впервые опубликован в журнале "Простор", 1986 г., № 6.

В основу рассказа положены действительные события, происходившие в "коммуналке", в которой жил писатель. У героя рассказа Женьки был прототип — Генка.

Царевна-Лебедь

Впервые рассказ увидел свет в журнале "Сельская молодежь" в 1973 году, № 4.

Леди Макбет

Первая публикация рассказа — журнал "Сельская молодежь", 1974 г., № 1.

Как и предыдущий рассказ "Леди Макбет" написана задолго до первой публикации. Ю. Домбровский считал эти рассказы излишне мелодраматичными и поэтому не печатал раньше.

Ручка, ножка, огуречик...

Последний рассказ Ю. Домбровского. Впервые опубликован в журнале "Новый мир" в 1990 году, № 1. В нем нашли отражение переживания писателя, связанные с публикацией в Париже романа "Факультет ненужных вещей".

Смуглая леди

Новеллы написаны в Алма-Ате в 1946 году. Несмотря на поддержку А. Фадеева и М. Шагинян, впервые опубликованы почти через четверть века, в 1969 году в издательстве "Советский писатель".

Неизданные главы книги

Написаны в том же 1946 году. Перед сдачей книги в издательство заменены Ю. Домбровским новеллой "Королевский рескрипт".

Впервые опубликованы в № 67 журнала "Континент".

Ретлендбэконсоутгемптоншекспир

Статья опубликована в журнале "Вопросы литературы", 1977 г., № 1

Итальянцам о Шекспире

Статья написана в 1969 году по заказу АПН. В нашей стране впервые опубликована в журнале "Юность" в 1988 году, № 2.

Рассказы об огне и глине

Повествование о Добролюбове

Последний, неоконченный роман Ю. Домбровского. Писался для серии "Пламенные революционеры". Впервые напечатан в 1991 году в юбилейном сборнике "В мире Добролюбова".

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Осипович
Домбровский

Собрание сочинений

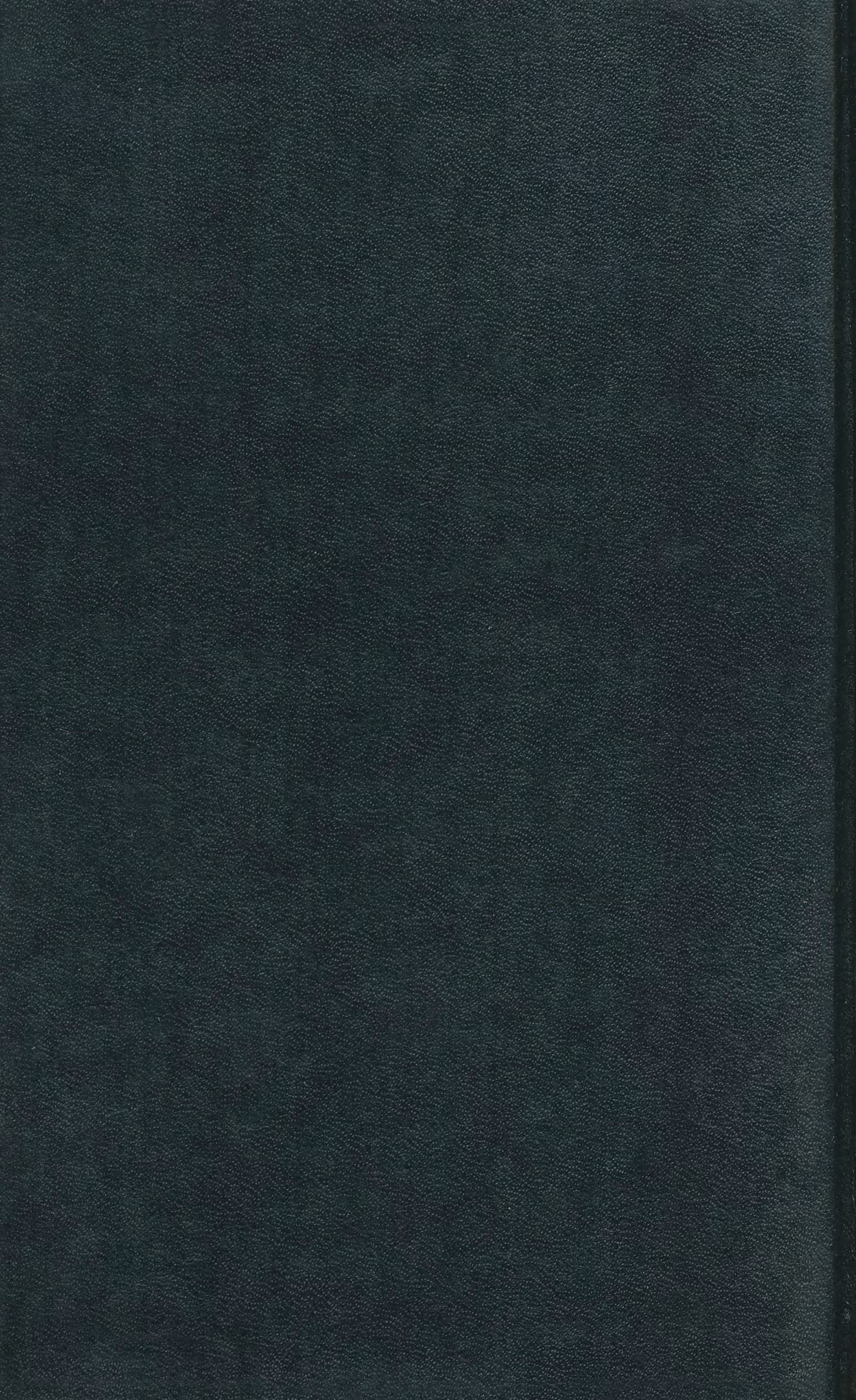
Том третий

Редактор *М. Т. Латышев*
Художественный редактор *И. Е. Сайко*
Технический редактор *З. А. Прусакова*
Корректор *А. В. Пятковская*
Набор выполнен МП "Зодиак"
Операторы набора *Н. Н. Калинина, О. А. Шеховцова*

Подписано в печать 26.10.92. Формат 84x108 1/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 19,32. Усл. кр.-отт. 19,74. Уч.-изд. л. 18,3.
Тираж 25 000 экз. Заказ 2280.

Ассоциация совместных предприятий, международных объединений и организаций. Издательский центр "ТЕРРА".
109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано с оригинал-макета на Можайском полиграфкомбинате Министерства печати и информации Российской Федерации,
143200, Можайск, ул. Мира, 93.





издательский центр
«Терра»

издательский центр
«Терра»



Юрий Домбровский

собрание сочинений
в шести томах

том третий

4 5 6 * *

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

НОВЕЛЛЫ О ШЕКСПИРЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

издательский центр
«Терра»



"Мы будем знакомиться
с Шекспиром"...
И началось чудо.

*Из воспоминаний
Г.Е.Плотниковой
об Ю.О.Домбровском*